

Владимир Набоков

Под знаком незаконнорожденных

Copyright © 1947, Vladimir Nabokov

All rights reserved

Introduction copyright © 1964 by Vladimir Nabokov

© А. Бабинов, перевод, составление, статья, комментарии, 2025

© Д. Черногаев, художественное оформление, макет, 2025

© ООО «Издательство Аст», 2025

Издательство CORPUS ®

* * *

Перевод посвящается памяти

Дмитрия Владимировича Набокова

Под знаком незаконнорожденных

Посвящаю моей жене

Предисловие

«Под знаком незаконнорожденных» стал моим первым романом, написанным в Америке, а произошло это спустя полдюжины лет после того, как мы приняли друг друга. Большая часть книги сочинялась в середине 1940-х годов, в особенно безоблачный и деятельный период моей жизни. Мое

здоровье было отменным. Я выкуривал по четыре пачки папирос в день. Спал не меньше четырех–пяти часов, остаток ночи расхаживая с карандашом в руке по обшарпанной квартирке на Крейги–Сёркл, Кембридж (Массачусетс), где я жил этажом ниже старой леди с каменными ногами и выше молодой женщины со сверхчутким слухом. Ежедневно, не исключая воскресных дней, я проводил до десяти часов за изучением строения некоторых видов бабочек в лабораторном раю Гарвардского музея сравнительной зоологии, но трижды в неделю я оставался там лишь до полудня, а затем отрывал себя от микроскопа и камеры–люциды, чтобы отправиться в колледж Уэллсли (на трамвае и автобусе или на метро и поезде), где я преподавал студенткам русскую грамматику и литературу.

Роман был закончен теплой дождливой ночью, более или менее так, как описано в конце восемнадцатой главы. Мой добрый друг Эдмунд Уилсон прочитал машинописный текст и порекомендовал книгу Аллену Тейту, издавшему ее в «Holt'e» в 1947 году. Несмотря на то, что я был с головой погружен в другие труды, мне удалось расслышать глухой шлепок, произведенный ею. Похвалы, насколько я помню, прозвучали, кажется, только в двух еженедельниках – «Time» и «The New Yorker».

Термином «bend sinister» («левая перевязь») в геральдике называется полоса, проведенная с левой стороны герба (и по распространенному, но ложному представлению, отмечающая внебрачность происхождения). Такой выбор названия диктовался стремлением обратить внимание на абрис, нарушенный преломлением, на искажение в зеркале бытия, неверный поворот жизни, на левеющий (sinistral) и зловещий (sinister) мир. Недостаток названия в том, что оно может побудить серьезного читателя, ищущего в романах «общие идеи» и «человеческие ценности» (что во многом одно и то же), искать их в настоящей книге.

Немного найдется вещей более скучных, чем обсуждение общих идей, навязанных автором или читателем художественному произведению. Цель этого предисловия не в том, чтобы показать, что «Под знаком незаконнорожденных» относится или не относится к «серьезной литературе» (эвфемизм для обозначения мнимой глубины и всегда желанной банальности). Меня никогда не привлекало то, что зовется литературой социальных комментариев («великие книги» на журналистском и коммерческом жаргоне). Я не «искренний», я не «провокационный», я не «сатирический». Я не дидактик и не аллегорист. Политика и экономика, атомные бомбы, примитивные и абстрактные формы искусства, весь Восток целиком, симптомы «оттепели» в Советской России, Будущее Человечества и все такое прочее оставляют меня в высшей степени равнодушным. Как и в случае с моим «Приглашением на казнь», с которым у этой книги есть очевидное сходство, автоматическое сопоставление «Под знаком незаконнорожденных» с оригинальными сочинениями Кафки или с клишированными опусами Оруэлла доказывает лишь, что автомат не смог прочитать ни великого немецкого писателя, ни посредственного английского.

Схожим образом влияние моей эпохи на эту книгу столь же незначительно, как влияние моих книг, или, по крайней мере, настоящей книги, на мою эпоху. Конечно, легко различить некоторые

отражения в стекле, непосредственно вызванные идиотскими и подлыми режимами, которые мы хорошо знаем и которые досаждали мне на протяжении моей жизни: миры насилия и репрессий, фашистов и большевиков, мещанских мыслителей и бабуинов в ботфортах. Нет сомнений также и в том, что без этих печально известных образцов, находившихся передо мной, я не смог бы наполнить эту фантазию фрагментами речей Ленина, ломтем советской конституции и ошметками фальшивой нацистской эффективности.

Хотя система удержания людей в заложниках так же стара, как самая древняя война, более свежая нота вносится в том случае, когда тираническое государство пребывает в состоянии войны с собственными подданными и способно, при полном попустительстве законов, держать в заложниках любого своего гражданина. Еще более недавним усовершенствованием является тонкое использование того, что я бы называл «рычагом любви», — дьявольский прием (с таким успехом применяемый Советами) связывания мятежника с его несчастной страной перекрученными нитями его же собственных сокровенных чувств. Примечательно, однако, что описанное в романе еще молодое полицейское государство Падука — где некоторая туповатость является национальной особенностью (увеличивая тем самым возможности путаницы и халатности, столь характерных, к счастью, для всех тираний) — отстает от реально существующих режимов в успешном использовании этого рычага любви, к которому оно сперва стремится довольно бессистемно, теряя время на излишнее преследование друзей Круга и только случайно открывая (в пятнадцатой главе), что достаточно схватить его маленького сына, чтобы склонить его к чему угодно.

На самом деле рассказ в этой книге ведется не о жизни и смерти в гротескном полицейском государстве. Мои персонажи — не «типы», не носители той или иной «идеи». Падук, презренный диктатор и бывший одноклассник Круга (регулярно мучимый мальчиками и регулярно ласкаемый школьным дворником); д-р Александер, правительственный агент; неописуемый Густав; ледяной Кристалсен и горемычный Колокололитейщиков; три сестры Бахофен; фарсовый полицейский Мак; жестокие и слабоумные солдаты — все они лишь абсурдные миражи, иллюзии, угнетающие Круга в течение всего срока его недолгого существования, но безвредно исчезающие, едва я распускаю труппу.

Следовательно, главная тема романа — это биение любящего сердца Круга, то мучение, которому подвергается глубокая нежность, — и эта книга была написана именно ради страниц о Давиде и его отце, и ради этого ее следует читать. Две другие темы сопутствуют главной: тема полоумной жестокости, которая мешает исполнению своей собственной цели, уничтожая того ребенка, которого следовало беречь, и сохраняя другого, от которого нет никакого прока, и тема благословенного безумия Круга, когда он внезапно осознает простую реальность вещей и понимает, но не может выразить в терминах своего мира, что он сам, его сын, его жена и все остальные — всего лишь мои грезы и мигрени.

Вынесено ли какое-либо решение с моей стороны, объявлен ли приговор, дано ли какое-либо удовлетворение моральному чувству? Если идиоты и скоты могут наказывать других скотов и идиотов и если преступление все еще сохраняет объективный смысл в бессмысленном мире Падука (все

это сомнительно), то мы можем утверждать, что злодеяние наказано в конце книги, когда восковые фигуры в униформе действительно страдают, и манекены, наконец, испытывают жестокую боль, и хорошенькая Мариетта тихо истекает кровью, пронзенная и разорванная похотью сорока солдат.

Сюжет начинает зарождаться в ярком бульоне дождевой лужи. Круг обзирает ее из окна госпиталя, где умирает его жена. Продолговатая лужа, по форме напоминающая клетку, которая готоваделиться, подтематически возникает снова и снова на протяжении всего романа – как чернильная слеза в четвертой главе и клякса в пятой, пролитое молоко в одиннадцатой главе, похожий на инфузорию образ реснитчатой мысли в двенадцатой главе, след ноги фосфоресцирующего островитянина в восемнадцатой и, в заключительном абзаце, как отпечаток, который всякий человек оставляет в личной текстуре пространства. Лужица, вспыхнувшая в начале и затем вот так вновь и вновь возникающая в сознании Круга, остается связанной с образом его жены не только потому, что он созерцал вправленный в нее закат, находясь у смертного одра Ольги, но и потому, что эта лужа смутно вызывает в нем ощущение моей с ним связи: расселина в его мире ведет в иной мир нежности, яркости и красоты.

И сопутствующий образ, еще более красноречиво указывающий на Ольгу, – это видение того, как она перед сверкающим зеркалом снимает саму себя, будто одежду, – свои драгоценности, ожерелье и диадему земной жизни. Именно эта картина возникает шесть раз во время сна среди текучих, преломленных сновидением воспоминаний о детстве Круга (гл. 5).

Парономазия – это своего рода словесная чума, заразная болезнь в мире слов; не удивительно, что они чудовищно и неумело искажены в Падукграде, где каждый является всего только анаграммой всех остальных. Книга изобилует стилистическими искажениями, вроде скрещенных с анаграммами каламбуров (во второй главе русский «круг» превращается в тевтонский «огурец», *krug* – *gurk*, с дополнительным намеком на смену Кругом направления своего путешествия через мост); двусмысленными неологизмами (аморандола – местная гитара); пародиями на повествовательные клише («до которого донеслись последние сказанные слова» и «бывший, похоже, у них за главного», гл. 2); спунеризмами («анука» – «наука» – «а ну-ка», играющие в чехарду в гл. 17); и, конечно, примерами смешения языков.

Язык страны, на котором говорят в Падукграде и Омибоге, а также в долине Кура, Сакрских горах и в том краю, где лежит озеро Малёр, представляет собой славянско-германскую смесь с явными следами древнего куранианского языка (особенно заметными в причитаниях); однако разговорный русский и немецкий тоже в ходу у представителей всех слоев общества, от простого солдата-эквилиста до рафинированного интеллектуала. К примеру, Эмбер в седьмой главе делится со своим другом образчиком первых трех строк монолога Гамлета (акт III, сц. 1) в переводе на родной язык (с псевдоученым истолкованием первой фразы, отнесенной к будто бы замышляемому убийству Клавдия, т. е. «убить [его] или не убить?»). Затем он приводит русскую версию отрывка из речи Королевы в акте IV, сц. 7

(вновь не без внедренной схолии) и великолепный русский перевод прозаического фрагмента из акта III, сц. 2, начинающегося словами: «Would not this, Sir, and a forest of feathers...» («Не думаете ли вы, сударь, что вот это, да лес перьев...»). Проблемы перевода, плавные переходы от одного языка к другому, семантическая прозрачность, образующая наслоения иссякающего или хлещущего смысла, так же характерны для Синистербада, как валютные проблемы для более привычных тираний.

В этом кривом зеркале ужаса и искусства псевдоцитата, составленная из темных шекспиризов (гл. 3), несмотря на отсутствие в ней буквального смысла, каким-то образом создает размытый уменьшенный образ акробатического представления, которым так дивно замещается бравурная концовка следующей главы. Случайная подборка ямбических строк, взятых из прозаических частей «Моби Дика», предстает в виде «знаменитой американской поэмы» (гл. 12). Если «адмирал» и его «флот» в банальной официальной речи (гл. 4) поначалу ошибочно воспринимаются вдовцом как «эмир» и его «плот», то это потому, что сказанная перед этим ради красного словца фраза о мужчине, потерявшем жену, затемняет и искажает следующую фразу. Когда в третьей главе Эмбер упоминает четыре романа-бестселлера, внимательный пассажир, регулярно совершающий поездки из пригорода в город и обратно, не может не заметить, что названия трех из них образуют (не совсем точно) ватерклозетное предписание Не Спускать [воду] — Когда поезд проходит — По городам и деревням, в то время как в четвертом содержится отсылка к дрянной «Песни Бернадетте» Верфеля — наполовину гостия, наполовину бонбон. Схожим образом в начале шестой главы, где заходит речь о некоторых других популярных романах того времени, небольшое смещение в спектре значений приводит к замене названия «Унесенные ветром» (стянутого из «Цинары» Доусона) на «Брошенные розы» (выхваченные из того же стихотворения), а также к слиянию двух дешевых романчиков (Ремарка и Шолохова), образующих ловко скроенное «На Тихом Дону без перемен».

Стефан Малларме оставил три или четыре бессмертные вещицы, среди которых «L'Après-Midi d'un Faune»[1] (первая редакция — 1865). Круга донимает одно место из этой сладострастной эклоги, где фавн обвиняет нимфу в том, что она высвободилась из его объятий «sans pitié du sanglot dont j'étais encore ivre» («не сжалившись над рыданием, которым я все еще был пьян»). Отдельные части этой строки отзываются там и тут на протяжении всей книги, возникая, к примеру, в горестном стенании «malarme ne donje» д-ра Азуреуса (гл. 4) и в «donje te zankoriv» Круга, приносящего извинения (в той же главе) за прерывание поцелуя университетского студента и его маленькой Кармен (предвещающей Мариетту). Смерть тоже — безжалостный прерыватель; тяжелая чувственность вдовца ищет жалкого утешения в Мариетте, но, когда он жадно сжимает бедра этой случайной нимфы, которой вот-вот собирается насладиться, оглушительный стук в дверь обрывает пульсирующий ритм навсегда.

Меня могут спросить, в самом ли деле автору стоит тратить время на выдумывание и равномерное распределение этих изящных меток, сама природа которых требует, чтобы они не слишком бросались в глаза? Кто потрудится обратить внимание на то, что Панкрат Цикутин, гнусный

старик-погромистик (гл. 13), – это Сократова Отрава; что «the child is bold»[2] в намеке на иммиграцию (гл. 18) – обычная фраза, используемая для проверки способности претендента на американское гражданство читать; что Линда все-таки не крала фарфорового совенка (начало десятой главы); что уличные мальчишки во дворе (гл. 7) нарисованы Солом Стейнбергом; что «отцом другой русалки» является Джеймс Джойс, написавший «Виннипег Лейк» (там же); и что последнее слово книги («nothing») не опечатка (как в прошлом предположил по меньшей мере один корректор)? Большинство читателей даже не прочь все это пропустить; доброжелатели принесут на мою маленькую частную вечеринку собственные символы, мобили и портативные радиолы; насмешники укажут на роковую бесплодность моих пояснений в этом предисловии и посоветуют мне в другой раз использовать подстрочные сноски (людям определенного склада ума сноски всегда кажутся комичными). Однако в конце концов только личное удовлетворение автора имеет значение. Я редко перечитываю свои книги, да и то лишь с утилитарной целью проверить перевод или новое издание; но, когда я вновь открываю их, больше всего меня радует придорожный шелест той или иной скрытой темы.

Так, во втором абзаце пятой главы впервые появляется намек на то, что есть «кто-то, кто знает» – таинственный самозванец, который воспользовался сном Круга, чтобы передать свое необычное зашифрованное послание. Самозванец этот не Венский Шарлатан (на всех моих книгах должен стоять штамп: «Фрейдисты, руки прочь»), а олицетворяемое мною антропоморфное божество. В последней главе книги это божество испытывает укол жалости к своему созданию и спешит явить свое могущество. На Круга лунным лучом внезапно нисходит благодать помешательства, и он осознает, что находится в надежных руках: ничто на земле по-настоящему не имеет значения, бояться нечего, а смерть – всего лишь вопрос стиля, обычный литературный прием, музыкальное разрешение. И пока розовая душа Ольги, уже эмблематизированная в более ранней главе (девятой), вибрирует во влажном мраке у светлого окна моей комнаты, Круг благополучно возвращается в лоно своего создателя.

Владимир Набоков

9 сентября 1963

Монтрё

1

Продолговатая лужа вправлена в грубый асфальт; как диковинный след, до краев наполненный ртутью; как лопатообразная выемка, через которую проглядывает нижнее небо. Окруженная, я замечаю, щупальцами рассеянной черной влаги, в которой застряло несколько тусклых серовато-бурых мертвых листьев. Утонувших, мне стоит сказать, еще перед тем, как лужа уменьшилась до своих нынешних размеров.

Она лежит в тени, но содержит образец яркости, находящейся за ее

пределами, там, где стоят деревья и два дома. Присмотрись. Да, она отражает часть бледно-голубого неба – мягкий младенческий оттенок голубого, – вкус молока у меня во рту, потому что тридцать пять лет тому назад у меня была кружка такого цвета. Кроме того, в ней отражается короткое сплетенье голых веток и коричневая фистула более толстой ветви, обрезанной краем лужи, и еще поперечная полоса ярко-кремового цвета. Ты что-то обронил, это принадлежит тебе: кремовый дом по ту сторону, залитый солнцем.

Когда у ноябрьского ветра случается его повторяющийся ледяной спазм, зачаточный водоворот ряби заглушает яркость лужи. Два листка, два трискелиона, похожие на двух дрожащих трехногих купальщиков, бросающихся в воду, стремительностью своего порыва переносятся прямо на середину лужи, где с внезапным замедлением они начинают плыть совершенно ровно. Двадцать минут пятого. Вид из окна госпиталя.

Ноябрьские деревья, тополи, я полагаю, два из которых растут прямо из асфальта: все они озарены холодным ярким солнцем, яркая, богато изрезанная бороздами кора и замысловатый изгиб бесчисленных полированных голых веток, старое золото, – оттого что вверху им достается больше фальшиво-сочного солнца. Их неподвижность контрастирует с судорожной рябью вставного отражения, – оттого что видимая эмоция дерева – это масса его листьев, коих сбереглось, тут и там на одной стороне дерева, едва ли больше тридцати семи или около того. Они лишь слегка мерцают, неопределенного цвета, но отполированы солнцем до той же иконной смуглости, что и замысловатые мириады веток. Обморочная синева неба, пересеченная бледными неподвижными клочьями наслоенных облаков.

Операция не увенчалась успехом, моя жена умрет.

Аспидный фасад дома за низкой изгородью, залитый солнцем, ярким холодом, обрамляют два боковых пилястра кремового цвета и широкий, пустой, бездумный карниз: глазурь на залежавшемся в лавке торте. Днем окна кажутся черными. Их тринадцать; белые решетки, зеленые ставни. Все отчетливо видно, но день продлится недолго. Какое-то движение в одном из окон: нестарелая домохозяйка – открой пошире, как говаривал мой дантист, д-р Уоллисон, во времена молочных зубов – отворяет окно, что-то вытряхивает, теперь можешь прикрыть.

Другой дом (справа, за выступающим гаражом) сейчас совсем золотой. Ветвистые тополи отбрасывают на него алембики восходящих теневых полос промеж собственных раскидистых и изогнутых, до черноты отполированных ветвей. Но все это блекнет, блекнет, она любила, устроившись в поле, рисовать закат, который никогда не остановится, и крестьянский ребенок, очень маленький, тихий и робкий при всей своей мышинной настойчивости, стоял подле ее локтя и смотрел на мольберт, на краски, на ее мокрую акварельную кисть, занесенную над рисунком, как жало змеи, – но солнце уже исчезло, оставив лишь беспорядочную грудку багрянистых остатков дня, наваленных как попало, – руины, хлам.

Крапчатую поверхность того, другого дома пересекает наружная лестница, а мансардное окно, к которому она ведет, стало таким же

ярким, какой была лужа – поскольку теперь она наполнена тусклой жидкой белизной, пересеченной мертвой чернотой, и кажется монохромной копией увиденной перед этим картины.

Я, верно, никогда не забуду тусклую зелень узкой лужайки перед первым домом (к которому крапчатый дом обращен боком). Лужайка одновременно растрепанная и лысоватая, с асфальтовым пробором посередине, и вся усыпана бледно-бурыми листьями. Краски уходят. Последний отсвет горит в окне, к которому все еще ведет лестница дня. Но все уже кончено, и если бы внутри зажгли свет, он бы уничтожил то, что осталось от дня снаружи. Ключья облаков окрашиваются в телесно-розовый цвет, и мириады веточек становятся необыкновенно отчетливыми; и вот внизу больше не осталось красок: дома, лужайка, изгородь, просветы между ними – все приглушилось до рыжевато-серого. О, стекло лужи сделалось ярко-лиловым.

В здании, где я нахожусь, зажгли свет, и вид в окне померк. Снаружи все стало чернильно-черным, а небо приобрело бледно-синий чернильный цвет – «отливают синим, пишут черным», как сказано на том пузырьке чернил, – но нет, вид из окна так не пишет, и небо тоже, так пишут только деревья триллионом своих ветвей.

2

Круг замер в дверях и посмотрел вниз на ее запрокинутое лицо. Шевеление (пульсация, излучение) лицевых черт (сморщенная рябь) вызывалось ее речью, и он понял, что оно длилось уже некоторое время. Возможно, все то время, которое потребовалось, чтобы сойти по больничной лестнице. Своими выцветшими голубыми глазами и длинной морщинистой верхней губой она напоминала кого-то, кого он знал много лет, но сейчас не мог вспомнить – забавно. Побочная линия равнодушного распознавания привела к тому, что он идентифицировал ее как старшую медицинскую сестру. Продолжение ее речи вдруг зазвучало, как если бы игла попала на свою бороздку. На бороздку пластинки его сознания. Сознания, в котором закружились мысли, когда он замер в дверях и взглянул на ее запрокинутое лицо. Теперь на движение черт этого лица наложился звук.

Слово, означающее «биться», она произнесла с северо-западным акцентом: «fakhtung» вместо «fahtung». Человек (мужского пола?), на которого она походила, выглянул из дымки и исчез прежде, чем он смог опознать его – или ее.

«Они все еще бьются, – сказала она, – ...темно и опасно. В городе темно, на улицах опасно. В самом деле, вам лучше переночевать здесь... На больничной кровати – (gospitalisha kruvka – снова этот говор заболоченных окраин, и он чувствовал себя тяжелым вороном – kruv, – хлопающим крыльями на фоне заката). – Прошу вас! Или хотя бы

дождитесь доктора Круга, у него автомобиль».

«Мы не родственники, – сказал он. – Простое совпадение».

«Я знаю, – сказала она, – и все же вам не стоит не стоит не стоит –» (мир продолжал вращаться, хотя израсходовал весь свой смысл).

«У меня есть пропуск», – сказал он. И, открыв бумажник, зашел так далеко, что дрожащими пальцами развернул упомянутый листок. У него были толстые (дайте-ка подумать), нерасторопные (именно так) пальцы, всегда слегка дрожащие. Когда он что-нибудь разворачивал, внутренняя сторона его щек методично всасывалась и слегка причмокивала. Круг – а это был он – показал ей расплывчатую бумагу. Большой, усталый человек, с сутулостью в плечах.

«Какой от него прок, – прорыла она, – вас может ранить шальная пуля».

(Видите ли, добрая душа полагала, что пули все еще flukhtung по ночам, метеоритные остатки давно унявшейся пальбы.)

«Я не интересуюсь политикой, – сказал он. – И мне ведь только реку перейти. Завтра утром придет мой друг и сделает все, что требуется».

Он похлопал ее по локтю и пустился в путь.

С присущим этому акту удовольствием, он уступил мягкому и теплomu напору слез. Чувство облегчения длилось недолго, поскольку, едва он позволил им пролиться, они стали жгучими и обильными, мешая ему смотреть и дышать. Он шел в судорожном тумане по мощеному переулку Омибога к набережной. Попытался откашляться, но это привело лишь к новому припадку рыданий. Теперь он жалел, что поддался искушению, потому что уже не мог перестать поддаваться, и содрогавшийся в нем человек буквально утонул в слезах. Как обычно, он разделился на того, кто содрогался, и на того, кто наблюдал: наблюдал с тревогой, с сочувствием, со вздохом или со снисходительным недоумением. Это был последний оплот ненавистного ему дуализма. Корень квадратный из «я» равняется «я». Нотабены, незабудки. Незнакомец, спокойно наблюдающий с абстрактного берега за потоками местного горя. Привычная фигура, пусть даже безымянная и отчужденная. Он увидел, что я плачу, когда мне было десять лет, и отвел меня к зеркалу в нежилой комнате (с пустой клеткой для попугая в углу), чтобы я рассмотрел свое расплывающееся лицо. Он слушал меня, подняв брови, когда я говорил вещи, которые не должен был говорить. В каждой маске, которую я примерял, имелись прорези для его глаз. И даже в тот миг, когда меня сотрясала конвульсия, выше всего ценящая мужчиной. Мой спаситель. Мой свидетель. Тут Круг полез за носовым платком, который был тусклым белым комком где-то в глубинах его личной ночи. Выбравшись наконец из лабиринтов карманов, он протер и очистил темное небо и аморфные дома; затем он увидел, что подходит к мосту.

В другие ночи мост был чередой огней с определенным ритмом, метрическим свечением, каждый фут которого пересматривался и

продлевался отражениями в черной змеящейся воде. В эту ночь рассеянное сияние было лишь в том месте, где гранитный Нептун высился на своей квадратной скале, каковая продолжалась в виде парапета, каковой, в свою очередь, терялся в тумане. Когда мерно и тяжело ступающий Круг приблизился, ему преградили путь двое солдат-эквилистов. Рядом притаились другие люди, и в луче фонаря, ходом шахматного коня осветившего Круга, он заметил маленького человека, одетого как meshchanin [мещанин], который стоял со скрещенными руками и страдальческой улыбкой. Солдаты (у обоих, как ни странно, были щербатые лица), насколько внял им Круг, спрашивали его (Круга) документики. Пока он рылся в поисках пропуска, они велели ему поспешить и упомянули о короткой любовной связи, в которую сами вступили или могли бы вступить, или предлагали ему вступить с его матерью.

«Сомневаюсь, – сказал Круг, продолжая обшаривать карманы, – что эти фантазии, кишасие, как личинки, на древних табу, в самом деле могут воплотиться в действия – причем в силу самых разных причин. Вот он» (он едва не сбежал, пока я говорил с сиротой – то есть с сестрой).

Они схватили пропуск, как если бы он протянул им банкноту в сто крун. Пока они подвергали его всестороннему изучению, Круг высморкался и неспешно положил платок обратно в левый карман пальто, но, подумав, переложил его в правый карман брюк.

«Это еще что?» – спросил тот из двух солдат, который был толще, ногтем большого пальца отмечая на бумаге слово.

Поднеся к глазам очки для чтения, Круг посмотрел поверх его руки.

«Университет, – сказал он. – Место, где преподают разные предметы. Ничего особенно важного».

«Нет, это», – сказал толстый.

«А, “философия”. Ну вы знаете. Это когда вы пытаетесь представить себе mirok [маленькая розовая картофелина] вне всякой связи с тем, который вы съели или съедите». – Он сделал очками неопределенный жест, после чего сунул их в укромный лекционный уголок (жилетный кармашек).

«Что у тебя за дело? Почему шатаешься у моста?» – спросил толстый, пока его напарник в свою очередь пытался расшифровать пропуск.

«Всему есть объяснение, – сказал Круг. – Последние дней десять я каждое утро ходил в госпиталь Принцина. По личному делу. Вчера мои друзья вручили мне этот документ, предвидя, что мост в вечернее время станут охранять. Мой дом находится на южной стороне. Сегодня я возвращаюсь намного позже обычного».

«Пациент или доктор?» – спросил худощавый.

«Позвольте мне прочитать вам то, для сообщения чего предназначена

эта лаконичная бумага», – сказал Круг, протягивая руку помощи.

«Я буду держать, а ты читай», – сказал художавый, обратив к нему пропуск вверх ногами.

«Инверсия, – сказал Круг, – мне не помеха, но без очков не обойтись».

Он прошел через знакомый кошмар карманов – пальто – пиджака – штанов – и нашел пустой футляр для очков. Он собирался возобновить поиски.

«Руки вверх!» – с истерической внезапностью приказал толстый солдат.

Круг подчинился, устремив футляр к небесам.

Левая часть луны была так сильно затенена, что практически исчезла в заводи прозрачного, но темного неба, по которому она, казалось, быстро плыла, – иллюзия, вызванная движением к ней нескольких шиншилловых облачков; однако ее правый бок – заметно щербатый, но тщательно припудренный тальком край или щека, – напротив, был ярко освещен казавшимся искусственным светом невидимого солнца. В целом эффект был замечательный.

Солдаты обыскали его. Они нашли пустую фляжку, еще совсем недавно содержавшую пинту бренди. Круг, несмотря на свое крепкое сложение, боялся щекотки. Он тихо побрякивал и слегка извивался, пока они грубо ощупывали его ребра. Что-то выпрыгнуло и упало с щелчком кузнечика. Они нашли очки.

«Отлично, – сказал толстый. – Подними их, старый дурень».

Круг наклонился, пошарил ощупью, шагнул в сторону – и под носком его тяжелого ботинка раздался ужасный хруст.

«Боже мой, вот так положение, – сказал он. – Теперь остается только выбирать между моей физической слепотой и вашей умственной».

«А вот мы арестуем тебя, – сказал толстый. – Это положит конец твоей клоунаде, старый пьянчуга. А когда нам надоест тебя сторожить, мы бросим тебя в реку и будем стрелять, покуда не утонешь».

Тем временем, небрежно жонглируя фонариком, подошел еще один солдат, и Круг снова мельком увидел бледнолицего человечка, стоявшего в стороне с улыбкой на лице.

«Я тоже не прочь поразвлечься», – сказал этот третий солдат.

«Так-так, – сказал Круг. – Не ожидал тебя здесь увидеть. Как поживает твой двоюродный брат, садовник?»

Подошедший, неказистый и румяный деревенский парень, тупо поглядел на Круга и затем указал на толстого:

«Его брат, не мой».

«Да, само собой, — быстро сказал Круг. — О том и речь. Как он поживает, этот доблестный садовник? Вылечил ли он свою левую ногу?»

«Мы давно не виделись, — угрюмо ответил толстый. — Он живет в Бервоке».

«Славный малый, — сказал Круг. — Как же мы все жалели его, когда он свалился в гравийный карьер. Скажите ему, раз уж он существует, что профессор Круг часто вспоминает, как беседовал с ним за кувшином сидра. Всякий может сотворить будущее, но только мудрец способен сотворить прошлое. Яблоки в Бервоке преотличные».

«Вот его пропуск», — сказал угрюмый толстый румяному деревенскому, и тот опасливо взял бумагу, но тут же вернул ее.

«Лучше кликни того ved'mina syna [сына ведьмы]», — сказал он.

И тогда маленького человека вывели вперед. У него, похоже, сложилось впечатление, что Круг по какой-то причине главнее солдат, потому что он немедленно принялся жаловаться ему тонким, почти бабьим голосом, сообщая, что у него с братом бакалейная лавка на том берегу и что оба чтят Правителя с благословенного семнадцатого числа прошлого месяца. Слава Богу, повстанцы были разбиты, и теперь он мечтал присоединиться к брату, дабы Победивший Народ мог вкушать деликатесы, которыми они торговали, он и его страдающий глухотой брат.

«Кончай болтать, — сказал толстый, — и прочитай это вслух».

Бледный бакалейщик подчинился. Комитет Общественного Благополучия предоставляет профессору Кругу полную свободу передвижения в темное время суток. Для перехода из южной части города в северную. И обратно. Чтец поинтересовался, отчего он не может сопроводить профессора на ту сторону моста? Его мигом вышибли обратно во тьму. Круг продолжил свой путь через черную реку.

Эта интерлюдия отвела поток: он струился теперь, невидимый, за стеной мрака. Круг вспомнил других слабоумных, которых они с ней изучали, — исследование, проводившееся ими с каким-то злорадно-восторженным отвращением. Мужчин, наливавшихся пивом в слякотных барах — мыслительный процесс удовлетворительно заменен визгливой радиомузыкой. Убийц. Одногогородцев финансового воротилы, преклоняющихся перед ним. Литературных критиков, хвалящих книги своих друзей или сторонников. Флоберовских farceurs[3]. Участников братств и мистических орденов. Людей, которых забавляют дрессированные животные. Членов читательских клубов. Всех тех, кто существует потому, что не мыслит, опровергая тем самым картезианство. Рачительного сельчанина. Преуспевающего политика. Ее родственников — ее ужасное безыюморное семейство. Внезапно, с яркостью предморфического образа или витражной дамы в красном платье, она проплыла по его сетчатке, обращенная в профиль, несущая что-то — книгу, ребенка, или просто дающая высохнуть вишневному лаку на ногтях, — и стена растворилась, поток снова вырвался наружу. Круг

остановился, стараясь взять себя в руки, опустив голую ладонь на парапет — как в прежние времена, в подражание портретам старых мастеров, фотографировали выдающихся людей в сюртуках — рука на книге, на спинке стула, на глобусе, — но едва камера щелкнула, все пришло в движение, поток хлынул, и он продолжил идти — прерывисто, из-за рыданий, сотрясавших его голую душу. Огни противоположной стороны приближались дрожащими концентрическими игольчатыми и радужными кругами и снова сокращались до размытого свечения, если сморгнуть, после чего сразу же безмерно ширились. Он был крупным, грузным мужчиной. Он ощущал интимную связь с черной лакированной водой, плескавшейся и вздымавшейся под каменными сводами моста.

Вскоре он снова остановился. Давайте потрогаем и осмотрим это. При слабом свете (луны? его слез? тех немногих фонарей, которые умирающие отцы города зажгли из машинального чувства долга?) его рука нащупала в шероховатости определенную структуру — бороздку в камне парапета, выпуклость и выемку с влагой внутри — все это сильно увеличено, как 30 000 кратеров в коре лепной Луны на большом глянцевого снимке, который гордый селенограф показывает своей молодой жене. Сегодня ночью, сразу после того, как они попытались вручить мне ее сумочку, гребень для волос, мундштук, я обнаружил и потрогал это — выбранную комбинацию, детали барельефа. Я никогда раньше не касался именно этой выпуклости и никогда ее больше не найду. Этот момент сознательного контакта таит в себе каплю утешения. Аварийный тормоз времени. Каким бы ни был момент настоящего, я его остановил. Слишком поздно. Мне следовало за время, дайте-ка подумать, двенадцати, двенадцати лет и трех месяцев моей с ней жизни обездвижить этим простым способом миллионы мгновений, платя, возможно, чудовищные штрафы, но останавливая поезд. Скажите, зачем вы это сделали? — мог бы спросить кондуктор с выпученными глазами. Потому что мне нравится этот вид. Потому что я хотел задержать эти несущиеся деревья и петляющую между ними тропу. Наступив на ее удаляющийся хвост. То, что случилось с ней, возможно, не случилось бы, если бы у меня была привычка останавливать тот или другой отрезок нашей общей жизни, профилактически, профетически, позволяя тому или другому моменту упокоиться и вздохнуть с миром. Укрощая время. Предоставляя ее пульсу передышку. Потакая жизни, жизни — нашей больной.

Круг — поскольку это по-прежнему был он — побрел дальше, все еще ощущая на подушечке большого пальца покалывание и отпечаток грубого узора. На этом конце моста было светлее. Солдаты, приказавшие ему замереть на месте, выглядели оживленнее, были лучше выбриты, носили более опрятную форму. К тому же здесь их было больше, как и задержанных ими ночных путников: два старика вместе с их велосипедами, человек, которого можно было назвать джентльменом (бархатный воротник пальто поднят, руки засунуты в карманы), и его девушка, потрепанная райская птица.

Пьетро — или, по крайней мере, солдат, похожий на Пьетро, метрдотеля в Университетском Клубе, — Пьетро-бравый-солдат изучил пропуск Круга и сказал тоном образованного человека:

«Теряюсь в догадках, профессор, каким образом вам удалось перейти

мост. Вы не имели на то никакого права, поскольку этот пропуск не был подписан моими коллегами–постовыми с северной стороны. Боюсь, вам придется вернуться и попросить их сделать это согласно правилам чрезвычайного положения. Без этого я не могу позволить вам пройти на южную сторону города. Je regrette[4], но закон есть закон».

«Совершенно верно, – сказал Круг. – К сожалению, они не умеют читать, не говоря уже о том, чтобы писать».

«Это нас не касается, – сказал вежливый, важный и благовидный Пьетро, и его товарищи важно закивали в рассудительном согласии. – Нет, я не могу пропустить вас, пока, повторяю, ваша личность и невиновность не будут удостоверены подписью часового с противоположной стороны».

«Но не можем ли мы, так сказать, повернуть мост в обратную сторону? – терпеливо предположил Круг. – То есть совершить полную перестановку. Вы ведь подписываете пропуска тем, кто переходит с южной стороны на северную, верно? Что ж, давайте обратим процесс вспять. Подпишите эту драгоценную бумагу и позвольте мне отправиться в свою постель на улицу Перегольм».

Пьетро покачал головой:

«Я не понимаю вас, профессор. Мы уничтожили врага – так точно; мы раздавили его своими каблуками. Но одна–две головы гидры все еще целы, и мы не вправе рисковать. Через неделю или около того, уверяю вас, профессор, город вернется к обычной жизни. Это ли не зарок, парни?» – прибавил Пьетро, обернувшись к другим солдатам, которые охотно закивали, их честные интеллигентные лица просияли тем гражданским пылом, который преображает даже самого простого человека.

«Я взываю к вашему воображению, – сказал Круг. – Представьте, что я шел в другую сторону. Собственно, я действительно шел в другую сторону сегодня утром, когда мост не охранялся. Расставлять сторожевые посты только с наступлением темноты – это довольно нелепая затея, – но пусть. Пустите и вы меня».

«Нет – покуда эта бумага не будет подписана», – сказал Пьетро и отвернулся.

«Не слишком ли вы принижаете критерии, по которым принято судить о назначении человеческого мозга, если таковое имеется?» – взревел Круг.

«Тише, тише, – сказал другой солдат, приложив палец к треснувшей губе, а затем быстро указав на широкую спину Пьетро. – Тише. Пьетро совершенно прав. Ступайте».

«Да, ступайте, – сказал Пьетро, до которого донеслись последние сказанные слова. – И когда вы вернетесь с подписанным пропуском и все станет на свои места, подумайте о том внутреннем удовлетворении, которое вы испытаете, когда мы его подпишем со своей стороны. И для

нас это тоже будет удовольствием. Ночь еще только начинается, и в любом случае нам не должно отлынивать от кое-каких физических усилий, если мы хотим быть достойными нашего Правителя. Идите, профессор».

Пьетро посмотрел на двух бородатых стариков, терпеливо сжимавших рукояти велосипедных рулей побелевшими в свете фонарей костяшками пальцев; они неотрывно следили за ним глазами потерявшихся псов.

«И вы тоже ступайте», – сказал великодушный малый.

С живостью, странно контрастировавшей с их почтенным возрастом и журавлиными ногами, бородачи вмиг оседлали велосипеды, нажали на педали и, обмениваясь гортанными репликами, завияли прочь, стремясь поскорее убраться. Что они обсуждали? Родословные их велосипедов? Цену какой-то особенной модели? Состояние гоночной трассы? Быть может, они подбадривали друг друга? Или по-дружески поддразнивали? А не то смаковали шутку, почерпнутую много лет тому назад из «Симплициссимуса» или «Стрекозы»? Всегда хочется знать, о чем говорят проезжающие мимо люди.

Круг шел так быстро, как только мог. Наш кремнистый спутник скрыли облака. Где-то ближе к середине моста он обогнал седых велосипедистов. Они осматривали анальный рубин одной из машин. Другая лежала на боку, как раненая лошадь, с печально приподнятой головой. Он шел быстро, держа пропуск в кулаке. Что будет, если я брошу его в Кур? Обреку себя на вечное хождение взад-вперед по мосту, который перестанет быть таковым, поскольку ни один из берегов в действительности недостижим? Не мост, а песочные часы, которые кто-то постоянно переворачивает – со мной, мелким сыпучим песком, внутри. Или стебель травы, который срываешь вместе с муравьем, бегущим по нему вверх, и поворачиваешь, когда он достигает верхушки, так что венец превращается в конец, и бедный дурачок повторяет свое выступление. Старики, в свою очередь, обогнали его, шумно несясь во весь опор сквозь мглу, галантно галопируя, подгоняя кроваво-красными шпорами своих черных старых жеребцов.

«Снова я, – сказал Круг, когда его грязноватые друзья обступили его. – Вы забыли подписать мой пропуск. Вот он. Давайте поскорее покончим с этим. Нацарапайте крестик, или загогулину из телефонной будки, или свастику, или еще что-нибудь. Не смею надеяться, что у вас под рукой имеется что-то вроде штампа».

Еще не закончив, он сообразил, что они его не узнают. Они осмотрели его пропуск. Они пожали плечами, словно сбрасывая с себя бремя знаний. Они даже почесали в затылках – странный прием, используемый в этой стране потому, что он, как говорят, способствует притоку крови к клеткам мышления.

«Ты что, живешь на мосту?» – спросил толстый солдат.

«Нет, – сказал Круг. – Постарайтесь понять. C'est simple comme bonjour[5], как сказал бы Пьетро. Они отправили меня обратно, поскольку не имели доказательств, что вы меня пропустили. С

формальной точки зрения меня на мосту вообще нет».

«Он мог забраться с баржи», – послышался чей-то неуверенный голос.

«Нет–нет, – сказал Круг, – я не барочник. Вы все еще не понимаете. Объясню проще некуда. Они, находящиеся на солнечной стороне, видят гелиоцентрически то, что вы, теллурийцы, видите геоцентрически, и если два этих аспекта не удастся каким–нибудь образом совместить, то я, визуализируемый объект, обречен вечно курсировать во вселенской ночи».

«Да это тот, который знает двоюродного брата Гурка!» – воскликнул один из солдат в порыве узнавания.

«Вот и отлично, – сказал Круг с большим облегчением. – Совсем забыл о добром садовнике. Итак, один вопрос улажен. А теперь давайте, сделайте что–нибудь».

Бледный бакалейщик шагнул вперед и сказал:

«У меня есть предложение. Я подпишу его пропуск, а он подпишет мой, и мы оба уйдем».

Кто–то из солдат хотел было отвесить ему оплеуху, но толстый, бывший, похоже, у них за главного, вмешался, заметив, что это дельная мысль.

«Подставьте мне спину, – обратился бакалейщик к Кругу и, поспешно открутив колпачок автоматической ручки, принялся прижимать бумагу к его левой лопатке. – Чье имя указать, братья?» – спросил он солдат.

Они переминались с ноги на ногу и толкали друг друга локтями, никто не хотел раскрывать заветное инкогнито.

«Пиши Гурк», – наконец сказал храбрейший из них, указывая на толстого солдата.

«Пишу?» – спросил бакалейщик, проворно повернувшись к Гурку.

После недолгих уговоров тот согласился. Покончив с пропуском Круга, бакалейщик в свою очередь подставил спину. Чехарда или адмирал в треуголке, кладущий подзорную трубу на плечо молодого матроса (серый горизонт качается, белая чайка делает вираж, но земли не видно).

«Надеюсь, – сказал Круг, – что справлюсь так же хорошо, как если бы был в очках».

На пунктирную линию попасть не удастся. У тебя жесткое перо. У тебя мягкая спина. Гурк–огурец. Промокнуть клеймящим железом.

Обе бумаги были пущены по кругу и робко одобрены.

Круг с бакалейщиком зашагали по мосту; во всяком случае, Круг зашагал, а его маленький спутник выражал свою безумную радость,

бегая вокруг Круга расширяющимися кругами, имитируя при этом паровоз: чух-чух, локти прижаты к ребрам, ноги двигаются практически синхронно, совершая жесткие и отрывистые шажки со слегка согнутыми коленями. Пародия на ребенка – моего ребенка.

«Stoy, chort!» [Стой, чорт тебя возьми!] – крикнул Круг, впервые за эту ночь используя свой настоящий голос.

Бакалейщик завершил свои циркуляции спиралью, которая вернула его обратно на орбиту Круга, после чего он подстроился под его шаг и пошел рядом, беспечно болтая.

«Должен извиниться, – сказал он, – за свое поведение. Но я уверен, что вы чувствуете то же, что и я. Это было настоящим испытанием. Я думал, они меня никогда не отпустят – и эти намеки на удушение и утопление были немного бестактными. Милейшие парни, признаю, золотые сердца, но малокультурные – собственно, это их единственный недостаток. В остальном же, я согласен с вами, они замечательны. Пока я стоял –»

Это четвертый фонарный столб и десятая часть моста. Несколько фонарей зажжены.

«...Мой брат, который практически глух, держит магазин на проспекте Теод... простите, Эмральда. Вообще-то мы совладельцы, но у меня собственное маленькое предприятие, из-за которого я большую часть времени нахожусь в отъезде. В свете нынешних событий мой брат нуждается в помощи, как и все мы нуждаемся. Вы можете подумать –»

Десятый по счету фонарь.

«...но я вижу это так. Конечно, наш Правитель – великий человек, гений, такой рождается раз в сто лет. О таком руководителе всегда мечтали люди вроде нас с вами. Но он ожесточен. Он ожесточен потому, что последние десять лет наше так называемое либеральное правительство преследовало его, пытало его, бросало в тюрьму за каждое сказанное им слово. Я всегда буду помнить – и передам это своим внукам, – что он сказал в тот день, когда его арестовали на большом митинге в Годаоне: “Я, – сказал он, – рожден править, как птица рождена летать”. Я думаю, что это величайшая мысль, когда-либо выраженная человеческим языком, и к тому же самая поэтичная. Попробуйте назвать мне писателя, сказавшего что-либо сопоставимое с этим? Нет, я даже скажу, что –»

Этот пятнадцатый. Или шестнадцатый?

«...если мы посмотрим на это с другой стороны. Мы маленькие люди, мы хотим тихой, спокойной жизни, мы хотим, чтобы дела у нас шли гладко. Мы хотим маленьких радостей жизни. К примеру, всякий знает, что лучшая часть дня – когда приходишь домой после работы, расстегиваешь жилетку, включаешь какую-нибудь легкую музыку и усаживаешься в любимое кресло, чтобы насладиться шутками в вечерней газете или обсудить со своей малюткой соседей. Это то, что мы называем подлинной культурой, подлинной человеческой цивилизацией, вот ради

чего столько чернил и крови было пролито в Древнем Риме или Египте. Но в последнее время только и слышно болтовню болванов, что для людей вроде нас с вами такая жизнь в прошлом. Не слушайте их – это не так. И она не только не в прошлом —»

Их что же, больше сорока? Это, должно быть, по крайней мере середина моста.

«...хотите, я скажу вам, что на самом деле происходило все эти годы? Что ж, во-первых, нас обложили несусветными налогами; во-вторых, все эти члены Парламента и государственные министры, которых мы никогда не видели и не слышали, продолжали хлестать все больше и больше шампанского и спать со все более и более толстыми шлюхами. Вот что они называют свободой! И что же произошло тем временем? Где-то глубоко в лесу, в бревенчатой хижине, Правитель писал манифесты, точно загнанный зверь. А как они обращались с его сторонниками! Боже милостивый! Я слышал ужасные истории от своего шурина, с юности состоящего в партии. Он, безусловно, самый умный человек, которого я когда-либо знал. Итак, вы видите —»

Нет, меньше середины.

«...вы, как я понял, – профессор. Что ж, профессор, перед вами теперь открывается великое будущее. Теперь мы должны просветить невежественных, угрюмых, порочных, – но просветить по-новому. Только подумайте обо всей той чепухе, которой нас раньше учили... Подумайте о миллионах ненужных книг, заполняющих библиотеки. И что за книги они издают! Знаете, вы не поверите, но один заслуживающий доверия человек сказал мне, что в каком-то книжном магазине на самом деле есть книга, страниц в сто по меньшей мере, целиком посвященная анатомии клопов! Или вот еще что-то на иностранных языках, что никто не способен прочитать. И все деньги спущены на ерунду. А все эти огромные музеи – одно большое надувательство. Заставляют вас разинуть рот перед камнем, который кто-то подобрал у себя на заднем дворе. Поменьше книжек и побольше здравого смысла – вот мой девиз. Люди созданы для того, чтобы жить вместе, вести дела друг с другом, говорить о том о сем, хором петь песни, встречаться в клубах или магазинах, на перекрестках, и по воскресеньям – в церквях или на стадионах, а не сидеть в одиночестве, предаваясь опасным размышлениям. У моей жены был жилец —»

Человек в пальто с бархатным воротником и его девушка быстро обогнали их с топотком людей, спасающихся бегством, не оглядываясь.

«...изменить все это. Вы научите молодых людей считать, писать, завязывать бандероль, быть опрятными и вежливыми, каждую субботу принимать ванну, учтиво общаться с возможными покупателями – о, тысячам необходимых вещей, всем тем вещам, которые для каждого имеют один и тот же смысл. Хотел бы я сам быть учителем. Потому что я убежден, что каждый человек, пусть даже самый обычный, распоследний недотепа, самый —»

Кабы все были зажжены, я бы так не запутался.

«...за что я заплатил смехотворный штраф. А теперь? Теперь само государство будет помогать мне в моем коммерческом предприятии. Оно станет это делать, чтобы контролировать мои доходы, – а что это означает? Это означает, что мой шурин, который состоит в партии и занимает сейчас, если позволите, важную должность в крупном учреждении, сидя за большим письменным столом, накрытым стеклом, будет всячески содействовать мне в приведении моих финансов в порядок: я начну зарабатывать гораздо больше, чем когда-либо, потому что отныне мы все принадлежим к одному счастливому сообществу. Отныне мы все семья – одна великая семья, все связаны друг с другом, все уютно устроены и не задают лишних вопросов. Потому что у каждого найдется какой-нибудь родственник в партии. Моя сестра горько сетует мне, что нашего старика-отца, который так боялся кровопролития, больше нет с нами. Сильно преувеличенного кровопролития. Я скажу так: чем скорее мы прикончим умников, которые поднимают шум из-за того, что несколько грязных анти-эквилистов наконец-то получили по заслугам –»

Мост кончается. И смотрите-ка, нас никто не встречает.

Круг был совершенно прав. Стражники южной стороны покинули свой пост, и только тень брата-близнеца Нептуна, компактная тень, которая выглядела как часовая, но таковой не являлась, осталась своеобразным напоминанием о тех, кто ушел. Правда, в нескольких шагах впереди, на набережной, трое или четверо мужчин, возможно облаченных в форму, куря две или три тлеющие сигареты, расположились на скамье, и кто-то из них сдержанно, романтично пощипывал в темноте семиструнную аморандолу, но они не окликнули Круга и его приятнейшего спутника и даже не обратили на них внимания, когда эти двое проходили мимо.

3

Он вошел в кабину лифта, которая приветствовала его знакомым тихим звуком – наполовину грохоток, наполовину встряск, – и ее черты просветлели. Он нажал третью кнопку. Хрупкая, тонкостенная, старомодная комнатка перемигнула, но не тронулась с места. Он нажал снова. Вновь морганье, тревожная неподвижность, непроницаемый взгляд предмета, который не работает и знает, что уже не заработает. Он вышел из кабины. И тут же с оптическим щелчком лифт закрыл свои ярко-карие глаза. Он поднялся по запущенной, но исполненной достоинства лестнице.

На миг сделавшись горбуном, Круг вставил ключ в замок и, медленно выпрямляясь до своей нормальной вышины, шагнул в гулкую, гудящую, зудящую, кружащую, ревущую тишину своей квартиры. Только меццо-тинто чуда да Винчи – тринадцать человек за слишком узким столом (глиняная посуда предоставлена монахами-доминиканцами) – оставалось безучастным. Свет пал на принадлежавший ей короткий зонтик с

черепашковой ручкой, когда тот откачнулся от его собственного зонтика-трости, который был пощажен. Он стянул единственную перчатку, второй не было, скинул пальто и повесил на крючок черную фетровую шляпу с широкими полями. Эта широкополая черная шляпа, которая больше не чувствовала себя дома, сорвалась и осталась лежать на полу.

Он прошел по длинному коридору, на стенах которого писанные маслом черные картины, избыток из его кабинета, в слепо отраженном свете не являли ничего, кроме трещин. Резиновый мяч, размером с большой апельсин, спал на полу.

Он вошел в столовую. Его тихо дожидалась тарелка с холодным языком, украшенным огуречными кружочками, и румяная щечка сыра.

Замечательно тонкий слух у этой женщины. Она беззвучно выскользнула из своей комнаты рядом с детской и присоединилась к Кругу. Ее звали Клодиной, и всю последнюю неделю она была единственной прислугой в доме: повар уволился, не одобряя того, что он метко называл царившей в нем «подрывной атмосферой».

«Слава Богу, – сказала она, – вы вернулись живым и невредимым. Хотите горячего чаю?»

Он покачал головой, поворачиваясь к ней спиной и шаря возле буфета, как будто ища что-то.

«Как себя чувствует мадам сегодня вечером?» – спросила она.

Не отвечая, двигаясь все так же медленно и неуверенно, он направился в турецкую гостиную, которой никто не пользовался, и, пройдя через нее, достиг другого поворота коридора. Там он открыл шкаф, поднял крышку пустого кофра, оглядел его изнутри и вернулся обратно.

Клодина стояла совершенно неподвижно посреди столовой, где он ее оставил. Она прожила в его доме несколько лет и, как того требуют общие места в таких случаях, была привлекательно пухлой чувствительной особой средних лет. Она стояла, глядя на него темными и влажными глазами, ее слегка приоткрытый рот обнажал золотую пломбу, ее коралловые серьги тоже глядели на него, а одна ее рука была прижата к бесформенной, обтянутой серой шерстью груди.

«Мне нужно, чтобы вы кое-что сделали, – сказал Круг. – Завтра я увезу ребенка в деревню на несколько дней, а пока меня не будет, соберите, пожалуйста, всю ее одежду и сложите в пустой черный кофр. И еще ее личные вещи, зонтик и прочее. Положите их, пожалуйста, в шкаф и запирайте его. Все, что найдете. Кофр, возможно, слишком мал –»

Он вышел из комнаты, не глядя на нее, собираясь осмотреть другой шкаф, но передумал, повернулся на каблуках, после чего автоматически перешел на цыпочки, приближаясь к детской. У ее белой двери он остановился, и стук его сердца внезапно прервал особенный спальный голос его сына – отстраненный и учтивый, каким Давид с изящной точностью уведомлял своих родителей (когда они возвращались, скажем,

после ужина в городе), что он еще не спит и готов принять любого, кто хотел бы во второй раз пожелать ему покойной ночи.

Это должно было произойти. Всего четверть одиннадцатого. А мне казалось, что ночь на исходе. Круг на миг закрыл глаза, затем вошел.

Он различил быстрое и неясное откидывающее движение постельного белья; щелкнул выключатель ночника, и мальчик сел, прикрыв глаза рукой. Нельзя сказать, что в этом возрасте (восемь лет) дети улыбаются каким-то определенным образом, улыбка не локализована; она распространяется по всему детскому существу, – если, конечно, ребенок счастлив. Этот ребенок все еще был счастлив. Круг сказал что положено о времени и сне. Не успел он договорить, как яростный поток грубых рыданий поднялся из глубин его груди, устремился к горлу, был задержан внутренними силами и остался в засаде, маневрируя в черных закоулках и готовясь к новому нападению. *Pourvu qu'il ne pose pas la question atroce*[6]. Молю тебя, местное божество.

«Они в тебя стреляли?» – спросил Давид.

«Какой вздор, – сказал Круг. – Никто не стреляет по ночам».

«Но они стреляли. Я слышал хлопки. Смотри, вот новый способ носить пижаму».

Он проворно встал, раскинув руки, балансируя на маленьких, мелово-белых, с голубыми прожилками ступнях, которые, казалось, по-обезьяньи цеплялись за смятую простыню на скрипящем ухабистом матрасе. Синие штанишки, бледно-зеленая курточка (женщина, должно быть, страдает дальтонизмом).

«Правильную я уронил в ванну», – весело объяснил он.

Внезапно его соблазнили некоторые возможности упругости, и под аккомпанемент пружинного лязга он подпрыгнул, раз, два, три, выше, еще выше, затем после головокружительного зависания упал на колени, перекувыркнулся, снова вскочил на ходящей ходуном постели, шатаясь и удерживая равновесие.

«Ложись, ложись, – сказал Круг, – уже очень поздно. Мне нужно идти. Ну-ка, ложись. Сейчас».

(Он, возможно, и не спросит.)

На этот раз он плюхнулся на свой задок и, пошарив согнутыми пальцами ног, просунул ноги между одеялом и пододеяльником, рассмеялся, всунул их, наконец, как следует, и Круг быстро его укрыл.

«Сегодня не было сказки», – сказал Давид. Он лежал теперь совершенно неподвижно, его верхние длинные ресницы были загнуты кверху, локти подняты и раскинуты, как крылья, по обе стороны лежащей на подушке головы.

«Завтра расскажу двойную».

Склоняясь над ребенком, Круг на мгновение задержался на расстоянии вытянутой руки, оба смотрели друг другу в лицо: ребенок торопливо пытался придумать, о чем бы спросить, чтобы выиграть время, отец отчаянно молил, чтобы не был задан тот самый вопрос. Какой нежной казалась его кожа в ее ночном сиянии, с бледнейшим лиловым оттенком над глазами и золотистым тоном на лбу, под густой взъерошенной бахромой светло-русых волос. Совершенство нечеловеческих существ – птиц, щенков, спящих бабочек, жеребят – и этих маленьких млекопитающих. Сочетание трех крошечных коричневых пятнышек – родинок на слегка розовеющей щеке у носа – напомнило ему какое-то другое сочетание, которое он недавно осмотрел, потрогал, обдумал, – что же это было? Парапет.

Он быстро поцеловал их, потушил свет и вышел из комнаты. Слава Богу, не спросил, – подумал он, закрывая дверь. Но когда Круг осторожно отпустил ручку, – высоким голосом, радостно вспомнив, он его задал.

«Скоро, – ответил Круг. – Как только врачи ей разрешат. Спи. Прошу тебя».

Хорошо, что хотя бы милосердная дверь была между мальчиком и мной.

В столовой на стуле возле буфета сидела Клодина, сладостно рыдая в бумажную салфетку. Круг принялся за еду, поспешно разделался с ней, проворно орудуя ненужным перцем и солью, откашливаясь, передвигая тарелки, роняя вилку и ловя ее подъемом ноги, в то время как Клодина продолжала прерывисто всхлипывать.

«Пожалуйста, уйдите в свою комнату, – сказал он наконец. – Мальчик еще не спит. Постучите ко мне завтра утром в семь. Господин Эмбер, вероятно, займется необходимыми приготовлениями завтра. Я уеду с мальчиком настолько рано, насколько смогу».

«Но это так неожиданно, – простонала она. – Вчера вы сказали – 0, это не должно было так случиться!»

«И я сверну вам шею, – прибавил Круг, – если шепнете ребенку хоть слово».

Он отодвинул тарелку, прошел в кабинет и запер дверь.

Эмбера может не быть дома. Телефон может не работать. Но когда он снял трубку, то по ее ощущению понял, что преданный аппарат жив. Я никогда не мог запомнить номер Эмбера. Вот изнанка телефонной книги, на которой мы обычно записывали имена и цифры, наши почерки смешивались, наклоняясь и изгибаясь в противоположных направлениях. Ее вогнутость в точности соответствовала моей выпуклости. Странно – я могу разглядеть тень от ресниц на щеке ребенка, но не способен разобрать собственный почерк. Он нашел запасные очки, а затем знакомый номер с шестеркой в середине, напоминающей персидский нос Эмбера, – и Эмбер отложил перо, вынул из плотно сжатых губ длинный янтарный мундштук и прислушался.

«Я был на середине этого письма, когда позвонил Круг и сообщил мне ужасную весть. Бедной Ольги больше нет. Она умерла сегодня после операции на почке. Я навестил ее в больнице в прошлый вторник, и она была такой же милой, как всегда, и так же восхищалась действительно прекрасными орхидеями, которые я ей принес; поводов для серьезного беспокойства не было, — а если и были, доктора ему не сказали. Я испытал потрясение, но пока не в состоянии осмыслить воздействие этой новости. Вероятно, я несколько дней не смогу спать по ночам. Мои собственные невзгоды, все эти маленькие театральные интриги, которые я только что описал, боюсь, покажутся вам такими же тривиальными, какими они сейчас кажутся мне.

Сперва меня поразила непростительная мысль, что он отпускает чудовищную шутку, как в тот раз, когда он в обратном порядке, от конца к началу, прочитал лекцию о пространстве, желая проверить, отзовутся ли каким-нибудь образом на это его студенты. Они не отозвались, как и я в этот раз. Вы, вероятно, увидите его до того, как получите это сумбурное послание: завтра он уедет на Озера вместе с бедным мальчуганом. Это мудрое решение. Будущее довольно туманно, но я полагаю, что университет вскоре возобновит работу, хотя, конечно, никто не знает, какие внезапные изменения могут произойти. В последнее время циркулируют кое-какие ужасные слухи; единственная газета, которую я читаю, не выходит уже по меньшей мере две недели. Он попросил меня позаботиться о завтрашней кремации, и я задаюсь вопросом, что скажут люди, когда увидят, что он не пришел; но, конечно, принять участие в церемонии ему мешает его отношение к смерти, хотя я постараюсь, чтобы она была настолько краткой и официальной, насколько возможно, — если только не вмешается семья Ольги. Бедняжка, она была ему блестящей помощницей в его блестящей карьере. При прежних обстоятельствах я бы, пожалуй, снабдил американских репортеров ее фотографией».

Эмбер снова отложил перо и погрузился в раздумья. Он тоже сыграл свою роль в этой блестящей карьере. Малоизвестный ученый, переводчик Шекспира, в зеленой и влажной стране которого он провел свою прилежную юность, — он невинно оказался в центре внимания, когда издатель предложил ему применить обратный процесс по отношению к «Komparatiwn Stuhdar en Sophistat tuen Pekrekh», или, как несколько более лаконично было озаглавлено американское издание, — к «Философии греха» (запрещена в четырех штатах и стала бестселлером в остальных). Какая странная игра случая — этот шедевр эзотерической мысли немедленно полюбился читателям, принадлежащим к среднему классу, и в продолжение одного сезона боролся за высшие награды с «Прямым смыслом», этой грубоватой сатирой, а затем, в следующем году, — с романом Элизабет Дюшарм о Диксиленде «Когда поезд проходит»; он двадцать девять дней (високосный год) соперничал с фаворитом книжных клубов «По городам и деревням» и два года кряду — с этой занятой смесью определенного вида вафельки и леденца на палочке, — «Аннунциатой» Луи Зонтага, которая так славно начинается в Пещерах св. Варфоломея, а кончается в разделе комиксов.

Хотя он и делал вид, что поднятый шум его забавляет, Круг поначалу был сильно раздражен всей этой историей, тогда как Эмбер чувствовал смущение и вину, втайне задаваясь вопросом, а не содержал ли его

собственного сорта насыщенный и синтетический английский какого-нибудь экзотического ингредиента, какой-нибудь ужасной пряной приправы, которая могла бы объяснить это неожиданное возбуждение? Ольга же, проявив большую проницательность, чем двое озадаченных ученых, приготовилась к тому, чтобы долгие годы в полной мере наслаждаться успехом книги, очень особенные тонкости которой она понимала лучше любых ее эфемерных рецензентов. Именно она сподвигла испуганного Эмбера убедить Круга пуститься в американское лекционное турне, как будто предвидела, что вызванный им шумный прибой принесет ему на родине то признание, которого его труд в своем исконном виде не исторг у академической апатичности и не пробудил в коматозной массе аморфной читательской аудитории. Не сказать, что поездка сама по себе была неприятной. Вовсе нет. Хотя Круг, по своему обыкновению не желая разбазаривать в праздных разговорах те впечатления, которые впоследствии могли претерпеть непредсказуемые метаморфозы (если оставить их тихо окукливаться в аллювиальной почве сознания), редко вспоминал о своем туре, Ольге удалось его полностью воссоздать и радостно пересказать Эмберу, смутно предвкушавшему поток саркастического отвращения.

«Отвращение? – воскликнула Ольга. – Да что вы! Этого ему с лихвой хватило здесь. Отвращение, скажете тоже! Душевный подъем, радость, оживление воображения, очищение сознания, togliwn ochnat divodiv [ежедневный сюрприз пробуждения]!»

«Пейзажи, еще не изгаженные шаблонной литературой, и жизнь, этот застенчивый незнакомец, которого хлопают по спине и говорят: relax [расслабься]». Он написал это после возвращения, и Ольга с озорным наслаждением вклеила в шагреневый альбом туземные упоминания оригинальнейшего мыслителя нашего времени. Эмбер вызвал в памяти ее пышную фигуру, ее великолепный тридцатисемилетний возраст, яркие волосы, полные губы, тяжелый подбородок, так хорошо сочетавшийся с воркующим полусшепотом ее голоса, – в ней было что-то от чревоушательницы, непрерывный монолог, следующий в тени ивняка за поворотами ее настоящей речи. Он увидел Круга, грузного, покрытого перхотью маэстро, сидящего с довольной и лукавой улыбкой на большом смуглом лице, общим соотношением грубых черт напоминающем лицо Бетховена, – да, развалившегося в том самом розовом кресле, пока Ольга жизнерадостно вела беседу. И до чего же ясно вспомнилось, как она позволяла фразе отскочить и прокатиться, пока она трижды быстро откусывала от взятого ею пирога с изюмом, и как споро ее пухлая рука трижды хлопала по внезапно распрямившимся коленям, когда она смахивала крошки, продолжая свой рассказ. Почти экстравагантно здоровая, настоящая radabarbára [красивая женщина в цвете лет]: эти широко раскрытые лучистые глаза, эта рдяная щека, к которой она прижимала прохладную тыльную сторону ладони, этот сияющий белый лоб с еще более белым шрамом – последствием автомобильной аварии в легендарных мрачных горах Лагодана. Эмбер не мог себе представить, как можно избавиться от воспоминаний о такой жизни, отделаться от возмущения таким вдовством. Ее маленькие ступни и широкие бедра, ее девичья речь и грудь матроны, яркий ум и ручьи слез, пролитых той ночью (пока она сама обливалась кровью) над покалеченной и ревущей ланью, бросившейся в спящие фары автомобиля, – со всем этим и многим другим, чего, как сознавал Эмбер, он не мог знать, она теперь

будет покоем горсткой голубоватого праха в своем стылом колумбарии.

Она ему нравилась необыкновенно, и он любил Круга с той же страстью, какую большая лоснистая и брыластая гончая питает к охотнику в высоких сапогах, от которого сильно несет болотом, когда он склоняется над костром. Кругу достаточно было прицелиться в стаю самых расхожих и возвышенных человеческих мыслей, чтобы подстрелить дикого гуса. Но убить смерть он не мог.

Эмбер поколебался, затем быстро набрал номер. Линия была занята. Эта последовательность коротких гудков в форме планки походила на долгий вертикальный ряд наложенных друг на друга английских «I» (я) в составленном по первым строкам указателе к поэтической антологии. Я озеро. Я язык. Я дух. Я в лихорадке. Я не алчен. Я Темный Всадник. Я факел. Я проснулся. Я спрашиваю. Я дую. Я приношу. Я не могу измениться. Я не могу смотреть. Я взбираюсь на холм. Я пришел. Я мечтаю. Я завидую. Я нашел. Я слышал. Я задумал оду. Я знаю. Я люблю. Я не должен горевать, любовь моя. Я никогда. Я страстно желаю. Я помню. Я видел тебя однажды. Я странствовал. Я блуждал. Я буду. Я буду. Я буду. Я буду.

Он подумал о том, чтобы пойти отправить письмо, как это обычно делают холостяки около одиннадцати часов вечера. Он надеялся, что вовремя принятая таблетка аспирина прикончит простуду в зародыше. Неуверенно, на пробу, подкрался незавершенный перевод его любимых строк из величайшей пьесы Шекспира –

follow the perttaunt jauncing 'neath the rack

with her pale skeins-mate –

но ему не попасть в размер, потому что на его родном языке слово «rack» (дыба) требует анапеста. Все равно что протаскивать рояль в дверной проем. Разобрать его на части. Или повернуть за угол на следующую строку. Но место там уже зарезервировано, столик забронирован, линия занята.

Освободилась.

«Я подумал, что ты, возможно, захочешь, чтобы я пришел. Мы могли бы сыграть в шахматы или еще что-нибудь. Словом, скажи мне откровенно –»

«Я бы хотел, – сказал Круг, – но мне неожиданно позвонили из... в общем, неожиданный звонок. Хотят, чтобы я немедленно приехал. Называют это экстренным заседанием – не знаю, – говорят, что это важно. Все это вздор, конечно, но поскольку я не могу ни работать, ни спать, я подумал, почему бы не пойти».

«Ты вернулся сегодня домой без каких-либо осложнений?»

«Боюсь, я был пьян. Разбил очки. Они пришлют —»

«Это то, на что ты намекал на днях?»

«Нет. Да. Нет — я не помню. Ce sont mes collègues et le vieux et tout le trimbala[7]. Они пришлют за мной автомобиль с минуты на минуту».

«Понимаю. Не думаешь ли ты —»

«Ты ведь придешь в госпиталь пораньше, да? В девять, в восемь, даже раньше...»

«Да, конечно».

«Я сказал горничной — и, возможно, ты тоже сможешь позаботиться об этом, когда я уеду — я сказал ей —»

Круг весь сотрясся, не смог закончить — и бросил трубку. В его кабинете было непривычно холодно. Все они были такими размытыми и темными и висели так высоко над книжными полками, что он едва мог разглядеть потрескавшиеся черты запрокинутого лица под рудиментарным нимбом или зазубрины составной картины-головоломки пергаментной на вид рясы мученика, исчезающей в закоптелой тьме. В углу на простом сосновом столе лежало множество переплетенных номеров «Revue de Psychologie», купленных из вторых рук, неразборчивый 1879-й переходил в округлый 1880-й, их пожухлые обложки были истрепаны или измяты по краям и надрезаны переkreщивающейся бечевкой, проедающей себе путь в их пыльной толще. Результат уговора никогда не вытирать пыль, никогда не убираться в комнате. Удобный и уродливый бронзовый торшер с толстым стеклянным абажуром из бугристых гранатовых и аметистовых частей, расположенных в асимметричных промежутках между бронзовых жил, как некий невиданный сорняк, высоко вырастал из старого синего ковра рядом с полосатой софой, на которой Круг будет лежать этой ночью. Стол устилали возникшие в результате самозарождения неотвеченные письма, перепечатки, университетские бюллетени, выпотрошенные конверты, скрепки, карандаши в разных стадиях развития. Грегуар, большущий, отлитый из чугуна жук-олень, с помощью которого его дед стаскивал за каблук (жадно ухваченный этими отполированными жвалами) сначала один сапог для верховой езды, затем второй, выглядывал, нелюбимый, из-под кожаной бахромы кожаного кресла. Единственным чистым предметом в комнате была копия «Карточного домика» Шардена, которую она как-то поставила на каминную полку («чтобы озонировать твоё жуткое логово», сказала она), — хорошо видимые игральные карты, разгоряченные лица, чудный темно-коричневый фон.

Он снова прошел по коридору, прислушался к ритмичной тишине в детской, — и Клодина вновь выскользнула из соседней комнаты. Он сказал ей, что отлучится, и попросил ее постелить ему на диване в кабинете. Затем он подобрал с пола шляпу и спустился вниз дожидаться автомобиля.

На улице было холодно, и он пожалел, что не наполнил флягу тем бренди, которое помогло ему пережить этот день. Кроме того, было очень тихо, тише обычного. Фасады старомодных элегантных домов по ту сторону мощеной улочки погасили большую часть огней. Одного его знакомого, бывшего члена парламента, кроткого зануду, который обычно с наступлением темноты выводил на прогулку двух своих вежливых такс в пальтишках, несколько дней тому назад увезли из пятидесятого дома в грузовике, уже набитом другими арестантами. Жаба, очевидно, решил провести свою революцию самым трафаретным образом. Автомобиль запаздывал.

Президент университета Азуреус сказал, что за ним заедет д-р Александер, доцент кафедры биодинамики, о котором Круг слышал впервые. Этот самый Александер весь вечер свозил людей, а президент еще с полудня пытался связаться с Кругом. Живой, динамичный, ловкий господин, д-р Александер относился к тем людям, которые в пору потрясений возникают из унылой безвестности, чтобы вдруг дивно преуспеть с визами, пропусками, купонами, автомобилями, связями, списками адресов. Университетские шишки беспомощно сдались, и, конечно, никакое подобное собрание не было бы возможным, если бы на периферии их биологического вида не эволюционировал совершенный организатор – следствие счастливой мутации, едва ли обошедшейся без сдержанного содействия трансцендентной силы. В неясном свете можно было разглядеть эмблему нового правительства (разительно напоминающую раздавленного, расчлененного, но все еще продолжающего корчиться паука) на красном флажке, приделанном к капоту, когда официально разрешенный автомобиль, добытый чародеем среди нас, подкатил к бордюрному камню панели, намеренно задев его покрывкой.

Круг устроился рядом с водителем, которым оказался он самый, д-р Александер, розоволицый, очень светловолосый, очень ухоженный человек лет тридцати, с фазаньим пером на красивой зеленой шляпе и с тяжелым опаловым перстнем на безымянном пальце. Руки у него были очень белые и мягкие и легко покоились на рулевом колесе. Из двух (?) человек на заднем сиденье Круг узнал Эдмона Бёре, профессора французской литературы.

«Bonsoir, cher collègue, – сказал Бёре. – On m’a tiré du lit au grand désespoir de ma femme. Comment va la vôtre?»[8]

«На днях, – сказал Круг, – я с удовольствием прочитал вашу статью о... (он не мог вспомнить имя французского генерала, этой достойной, хотя и несколько ограниченной исторической фигуры, которую политики-клеветники довели до самоубийства).

«Да, – сказал Бёре, – это было добрым поступком написать ее. – “Les morts, les pauvres morts ont de grandes douleurs. – Et quand Octobre souffle...”»[9]

Д-р Александер очень нежно повернул руль и, не глядя на Круга, заговорил, затем бросил на него быстрый взгляд, после чего снова стал смотреть прямо перед собой:

«Полагаю, профессор, сегодня вечером вы станете нашим спасителем. Судьба нашей альма-матер в надежных руках».

Круг проворчал что-то неопределенное. Он не имел ни малейшего – или это был завуалированный намек на то, что Правитель, известный под прозвищем Жаба, был его однокашником? – но это было бы слишком глупо.

Посреди площади Скотомы (бывшей – Свободы, бывшей – Императорской) автомобиль остановили трое солдат, двое полицейских и поднятая рука бедного Теодора Третьего, все время ждущего, что его подвезут или разрешат отлучиться по нужде, учитель; но жест д-ра Александра направил их внимание на красно-черный флажок, после чего они отдали честь и удалились во тьму.

Улицы были пустынные, как обычно случается в провалах истории, в этих *terrains vagues*[10] времени. Только одна живая душа попалась им на пути – юноша, идущий восвояси с несвоевременного и, по-видимому, нехорошо оборвавшегося маскарада: он был наряжен русским мужиком – вышитая косоворотка, свободно свисающая из-под кушака с кистями, *cullotte bouffante*[11], мягкие малиново-красные сапоги и часики на запястье.

«On va lui torcher le derrière, à ce gaillard-là»[12], – мрачно заметил профессор Бёре.

Другая – анонимная – персона на заднем сиденье пробормотала что-то неразборчивое и сама себе ответила утвердительно, но столь же невнятно.

«Я не могу ехать быстрее, – сказал д-р Александер, не отрывая глаз от дороги, – потому что клапан заднего амортизатора барахлит, как они это называют. Если вы просунете руку в мой правый карман, профессор, то вы найдете сигареты».

«Я не курю, – сказал Круг. – Да и не верю, что там что-то есть».

Некоторое время они ехали молча.

«Почему?» – спросил д-р Александер, мягко поддавая, мягко сбавляя.

«Мимолетная мысль», – сказал Круг.

Деликатный водитель осторожно снял с руля сначала одну руку и пошарил ею, затем снял другую. Мгновенье спустя он снова пошарил правой.

«Должно быть, выпали, – сказал он после еще одной минуты молчания. – А вы, профессор, не только некурящий – и не только гениальный человек, как всем известно, – но и (быстрый взгляд) необыкновенно удачливый игрок».

«Правда ли [*eez eet zee verity*], – сказал Бёре, внезапно переходя на английский, который, насколько он знал, Круг понимал и на котором он

сам изъяснялся, как француз в английском романе, – правда ли, что [eez eet zee verity zat], как мне стало известно из надежных источников, низложенного chef[13] государства схватили где-то в горах вместе с несколькими другими субчиками (когда автору надоедает коверкать слова – или он забывает) и расстреляли? Но нет, я в это [ziss] не могу поверить – это слишком ужасно [eet eez too horrible] (когда автор спохватывается)».

«Вероятно, небольшое преувеличение, – заметил д-р Александер на родном языке. – Всякие уродливые слухи в наше время расходятся быстро, и, хотя, конечно, domusta barbaru kapusta [чем жена страшнее, тем она вернее], все же я не думаю, что в данном конкретном случае...» – Он умолк с приятным смехом, и вновь наступило молчание.

О мой странный родной город! Твои узкие улочки, по которым когда-то прошел римлянин, мечтают в ночи об иных вещах, в отличие от этих мимолетных существ, ступающих по твоим булыжникам. О ты, странный город! Каждый твой камень хранит столько старых воспоминаний, сколько пылинок в прахе. Каждый из твоих серых тихих камней видел, как вспыхнули длинные волосы ведьмы, как толпа черни смяла астронома, как один нищий пнул в пах другого, – и королевские кони высекали из тебя искры, а денди в коричневом и поэты в черном направлялись в кофейни, пока ты обливался помоями под веселые отголоски хозяйских «Берегись!». Город грез, изменчивый сон, о ты, каменная подмена эльфов. Лавки, все наглухо запертые в ясную ночь, мрачные стены, ниша, которую бездомный голубь делит со статуей церковника, окно-розетка, выступающая из стены горгулья, шут, ударивший Христа по щеке, – безжизненные резные фигуры и тусклая жизнь, смешавшая их перья... Не для колес опьяненных бензиновыми парами моторов были созданы твои узкие ухабистые улицы – и когда автомобиль наконец остановился и тучный Бёре выбрался наружу следом за собственной бородой, можно было видеть, как анонимный мыслитель, сидевший рядом с ним, разделился надвое, породив внезапным превращением сначала Глимана, хрупкого профессора средневековой поэзии, а затем столь же миниатюрного Яновского, преподававшего славянскую метрику, – двоицу новорожденных гомункулов, теперь обсыхавших на палеолитическом тротуаре.

«Запру автомобиль и последую за вами», – кашлянув, сказал д-р Александер.

Итальянизированный попрошайка в живописных лохмотьях, перестаравшийся по их части и проделавший особенно драматичную дыру в том единственном месте, где ее обычно никогда не бывает, – в донышке ожидающей шляпы, – старательно дрожа от озноба, стоял в свете фонаря у входной двери. Три медяка один за другим упали в шляпу – и продолжили падение. Четверо хранящих молчание профессоров, держась вместе, поднялись по богато украшенной старомодной лестнице.

Им, однако, не пришлось стучать или звонить, потому что дверь на верхней площадке была распахнута, чтобы приветствовать их изумительным д-ром Александером, который уже был там, избежавший, надо думать, по какой-то служебной задней лестнице или вознесшийся

посредством тех безостановочно движущихся механизмов, — как я обычно поднимался из двойной ночи Кивинаватина и ужасов Лаврентьевской революции через населенную упырями пермскую область, через Ранний Современный, Средний Современный, Не Столь Современный, Совсем Современный, Весьма Современный — тепло, тепло! — до номера моей отдельной комнаты на моем этаже в далекой стране, вверх, вверх, в одном из тех скоростных лифтов, управляемых деликатными руками — моими собственными в негативе — чернокожих мужчин с падающими желудками и взмывающими сердцами, никогда не достигающих Рая, который вам не сад на крыше; а из глубины украшенного оленьей головой зала быстрым шагом вышел пожилой президент университета Азуреус — руки пригласительно разведены в стороны, выцветшие голубые глаза заранее сияют, длинное морщинистое надгубье подрагивает...

«Да, конечно, как глупо с моей стороны», — подумал Круг, круг в Круге, один Круг в другом.

4

Манера старика Азуреуса приветствовать людей представляла собой беззвучную рапсодию. Восторженно сияя, он медленно и нежно принимал вашу руку в свои мягкие ладони, держа ее так, словно то была долгожданная драгоценность или воробышек, состоящий из пуха и трепета, и при этом во влажном безмолвии он лучился на вас скорее своими радушными морщинами, чем глазами, а миг спустя серебристая улыбка медленно начинала таять, нежные старые ладони постепенно разжимали хватку, отчужденность сменяла пылкий свет его бледного фарфорового лица, и он оставлял вас, как если бы совершил ошибку, как если бы вы, в конце концов, оказались не тем любимым человеком — тем любимым, которого он в следующий миг замечал в другом углу, и снова сияла улыбка, снова ладони обхватывали воробышка, и снова все это таяло.

В просторной, более или менее блистающей гостиной (не все лампы горели под зелеными кучевыми облаками и херувимами ее потолка) стояли или сидели около двадцати выдающихся представителей университета (частью недавние пассажиры д-ра Александра), и, возможно, еще с полдюжины сосуществовали в смежной *mussikisha* [музыкальной зале], поскольку пожилой господин был *à ses heures*[14] посредственным арфистом и любил составлять трио с самим собой в качестве гипотенузы или зазывать для выступления на рояле какого-нибудь очень известного музыканта, после чего две горничные и его незамужняя дочь, от которой слабо пахло туалетной водой и явственно потом, передавали по кругу очень маленькие и не слишком питательные сэндвичи и несколько треугольных *bouchées*[15], которые, как он простодушно полагал, обладали особым очарованием благодаря своей форме. Этим вечером вместо обычных яств были поданы чай и сухие бисквиты, и на темно-блестящем Бехштайне лежала черепахового окраса

кошка (ее поочередно гладили профессор химии и Гедрон, математик). От прикосновения сухонькой, как лист, электризованной руки Глимана кошка поднялась, как вскипевшее молоко, и громко заурчала; однако маленький медиевист, пребывая в задумчивости, побрел прочь. Экономика, Богословие и Современная История стояли, беседуя, у одного из обильно драпированных окон. Несмотря на драпировку, был ощутим слабый, но болезнетворный сквозняк. Д-р Александер сел за небольшой столик, аккуратно передвинул в северо-западный угол стоявшие на нем предметы (стеклянную пепельницу, фарфорового ослика с корзинками для спичек, коробку, замаскированную под книгу) и принялся просматривать список имен, вычеркивая некоторые из них необыкновенно остро отточенным карандашом. Президент навис над ним со смешанным чувством любопытства и озабоченности. Время от времени д-р Александер останавливался, чтобы поразмыслить, при этом свободной рукой он осторожно поглаживал гладкие светлые волосы на затылке.

«А что же Руфель (Политология)? – спросил президент. – Удалось ли его отыскать?»

«Недоступен, – ответил д-р Александер. – Очевидно, арестован. Ради его собственной безопасности, как мне сказали».

«Будем надеется, что так, – задумчиво сказал старик Азуреус. – Что ж, неважно. Полагаю, мы можем начинать».

Эдмон Бёре, вращая большими карими глазами, рассказывал флегматичному толстяку (Драма) о странном зрелище, свидетелем которого он стал.

«О да, – сказал Драма. – Студенты-искусствоведы. Мне об этом все известно».

«Ils ont du toupet pourtant»[16], – сказал Бёре.

«Или в обычном упрямстве. Когда молодые люди держатся за традицию, они делают это с той же страстью, какую проявляют более зрелые люди, когда ее разрушают. Они вломились в “Klumbu” [“Голубиное гнездо” – известный театр], потому что все дансинги были закрыты. Упрямство».

«Я слышал, будто Parlamint и Zud [парламент и суд] все еще горят», – сказал другой профессор.

«Вы неверно слышите, – сказал Драма, – потому что мы говорим не об этом, а о прискорбном случае вторжения истории на ежегодный бал. Они нашли запас свечей и танцевали на сцене, – продолжил он, снова поворачиваясь к Бёре, который стоял, выпятив живот и глубоко засунув обе руки в карманы штанов. – Перед пустым залом. Картина, в которой есть несколько очаровательных штрихов».

«Полагаю, мы можем начинать», – сказал президент, приблизившись к ним и затем проходя сквозь Бёре, как лунный луч, чтобы уведомить другую группу.

«В таком случае это достойно восхищения, — сказал Бёре, внезапно увидев происшествие в другом свете. — Очень надеюсь, что *rauvres gosses* [17] немного развлеклись».

«Полиция разогнала их около часа назад, — сказал Драма. — Впрочем, я допускаю, что это было увлекательно, пока не прервалось».

«Полагаю, мы можем начать сию минуту», — вновь проплывая мимо них, уверенно сказал президент. Его улыбка давно исчезла, его ботинки слегка поскрипывали. Он проскользнул между Яновским и латинистом и утвердительно кивнул дочери, которая украдкой показывала ему из двери чашу с яблоками.

«Я слышал от двух источников (одним был Бёре, другим — предполагаемый информатор Бёре)…» — сказал Яновский — и так понизил голос, что латинисту пришлось склониться и подставить обросшее белым пухом ухо.

«Я слышал другую версию, — сказал латинист, медленно выпрямляясь. — Их схватили при попытке перейти границу. Некий министр, личность которого остается невыясненной, был казнен на месте, но (имя бывшего президента страны он произнес приглушенным голосом)… привезли обратно и заключили в тюрьму».

«Нет, нет, — сказал Яновский, — не Ми Нистер. Только он один. Как король Лир».

«Да, так намного лучше», — с искренним удовлетворением сказал д-р Азуреус д-ру Александеру, который переставил часть стульев и принес еще несколько, так что комната словно по волшебству приобрела надлежащий вид.

Кошка соскользнула с рояля и медленно вышла из комнаты, по пути задержавшись на один безумный миг, чтобы потереться о полосатую штанину Глимана, поглощенного очисткой темно-красного бервовского яблока.

Зоолог Орлик стоял спиной к собравшимся, внимательно рассматривая на разных уровнях и под разными углами книги на полках за роялем, время от времени вынимая те, у которых на корешке не было названия, и быстро ставя их обратно: все они были цвибаками, все на немецком — немецкая поэзия. Ему было скучно, и дома его ждала большая шумная семья.

«Здесь я с вами не соглашусь, с вами обоими, — говорил профессор Современной Истории. — Моя клиентка никогда не повторяется, по крайней мере не тогда, когда все с нетерпением ждут повторного представления. Собственно, Клио может повторяться лишь неосознанно. Потому что у нее слишком короткая память. Как и в случае со многими феноменами времени, повторяющиеся комбинации воспринимаются как таковые только тогда, когда они больше не могут оказывать на нас влияния, — когда они, так сказать, заключены в тюрьму прошлого, которое и является прошлым только потому, что обеззаражено. Попытаться составить карту нашего завтрашнего дня с помощью данных,

представленных нашим прошлым, означает игнорировать основной элемент будущего, которым является его полное несуществование. Легкомысленное устремление настоящего в этот вакуум ошибочно принимается нами за рациональное действие».

«Чистой воды кругизм», – пробормотал профессор экономики.

«Для примера, – продолжил историк, не обращая внимания на замечание, – мы, без сомнения, можем выделить случаи в прошлом, параллельные нашему собственному периоду времени, когда снежный ком идеи катали и катали красные руки школьников, а он все рос и рос, пока не вырос в снеговика в смятом цилиндре набекрень и с кое-как приделанной ему под руку метлой. А потом вдруг глаза злого духа моргнули, снег превратился в плоть, метла – в топор, и окончательно созревший тиран отрубал мальчишкам головы. О да, парламент или сенат и раньше терпели фиаско, и это не первый случай, когда малоизвестный и малопривлекательный, но удивительно настырный человек прогрызает себе путь в нутро страны. Но тем, кто наблюдает за этими событиями и хотел бы предотвратить их, прошлое не дает никаких подсказок, никакого *modus vivendi*[18], – по той простой причине, что у него самого их не было, когда оно само переваливалось через край настоящего в вакуум, который оно постепенно заполнило».

«Если так, – сказал профессор богословия, – то мы возвращаемся к фатализму низших народов и отрицаем тысячи случаев, когда способность рассуждать и действовать соответственно рассуждениям оказывалась более полезной, чем скептицизм и покорность. Друг мой, ваше академическое отвращение к прикладной истории скорее наводит на мысль о ее вульгарной утилитарности».

«О, я не говорю о покорности или о чем-то в этом роде. Это этический вопрос, который каждый должен выносить на суд своей совести. Я лишь подверг сомнению ваше утверждение, что история способна предсказать, что Падук заявит или сделает завтра. Здесь не может быть никакой покорности – поскольку сам факт нашего обсуждения этих вопросов подразумевает любопытство, а любопытство, в свою очередь, является проявлением непокорности в ее самом чистом виде. Кстати, о любопытстве, можете ли вы объяснить странное увлечение нашего президента Азуреуса вон тем розоволицым господином – любезным господином, который привез нас сюда? Как его зовут, кто он вообще такой?»

«По-моему, это один из ассистентов Малера, – лаборант или что-то такое», – сказал экономист.

«А в прошлом семестре, – сказал историк, – мы были свидетелями того, как слабоумного заика таинственным образом направили на кафедру педологии, потому что ему как-то довелось сыграть на незаменимом контрабасе. В любом случае этот человек, должно быть, сам дьявол убеждения, раз ему удалось уговорить Круга приехать сюда».

«Разве он не использовал, – спросил профессор богословия с легким оттенком лукавства, – не использовал где-то это сравнение со снежком и метлой снеговика?»

«Кто, – спросил историк. – Кто использовал? Этот человек?»

«Нет, – сказал профессор богословия. – Тот, другой. Тот, кого было так трудно уговорить. Занятно, какими путями мысли, высказанные им десять лет тому назад –»

Их прервал президент, который вышел на середину зала, требуя внимания и похлопывая ладонями.

Человек, имя которого только что было упомянуто, профессор Адам Круг, философ, сидел на некотором отдалении от остальных, глубоко уйдя в кретоновое кресло и положив волосатые руки на подлокотники. Это был крупный грузный мужчина лет за сорок, с растрепанными, пыльными или слегка тронутыми сединой прядями и грубо высеченным лицом, наводящим на мысль о неотесанном шахматисте или угрюмом композиторе, но более интеллигентном. Его крепкий, компактный, хмурый лоб имел тот своеобразный герметичный вид (банковский сейф? тюремная стена?), который присущ челу мыслителя. Мозг состоял из воды, различных химических соединений и группы узкоспециализированных жиров. Светлые пронизывающие глаза были полуприкрыты в своих квадратных глазницах под косматыми бровями, которые когда-то защищали их от ядовитого помета вымерших птиц – гипотеза Шнайдера. Раковины больших ушей внутри обросли волосками. Две глубокие мясистые складки расходились от носа вдоль широких щек. Утро выдалось безбритвенным. На нем был сильно измятый темный костюм и галстук-бабочка, всегда один и тот же, иссопково-лиловый, с межневральными пятнышками (чисто-белыми по природе, здесь же – серовато-желтыми) и подбитым левым нижним крылом. Не слишком свежий воротничок был низкого открытого типа, то есть с удобным треугольным пространством для яблока его тезки. Отличительными признаками его ног были ботинки на толстой подошве и старомодные черные гетры. Что еще? Ах да – рассеянное постукивание его указательного пальца по подлокотнику кресла.

Под этими доступными взору покроями шелковая рубашка обтягивала его крепкий торс и усталые бедра. Она была глубоко заправлена в его длинные подштанники, которые, в свою очередь, были заправлены в носки: он знал, что ходят слухи, будто он не носит носков (отсюда гетры), но то были враки, – на самом деле носки он носил, изысканные и дорогие, бледно-лилового шелка.

Под этим была теплая белая кожа. Муравьиная дорожка, узкий капиллярный караван, тянулась из темноты посередине его живота и доходила до края его пупка; более черная и густая шерсть на груди ширилась двукрылым трофеем.

Под этим были мертвая жена и спящий ребенок.

Президент склонился над бюро из розового дерева, поставленное его помощником на видное место. Он одной рукой нацепил очки, потряхивая серебристой головой, чтобы дужки легли на место, и принялся складывать, подравнивая и постукивая, пересчитываемые им листы бумаги. Д-р Александер на цыпочках отошел в дальний угол, где сел на

приготовленный для него стул. Президент отложил толстую ровную стопку машинописных страниц, отцепил очки и, отведя их от правого уха, начал вступительную речь. Вскоре Круг осознал, что является своего рода фокусным центром по отношению к арусоглазой зале. Он знал, что кроме двух человек, Гедрона и, возможно, Орлика, никому из собравшихся он по-настоящему не был по душе. Каждому или о каждом из своих коллег он в то или иное время сказал что-то... что-то, что невозможно вспомнить при случае и трудно определить общеупотребительным образом, — какую-нибудь небрежную яркую колкость, задевшую участок саднящей плоти. Беспрепятственный и незванный, пухлый и бледный прыщавый подросток вошел в полутемную классную комнату и взглянул на Адама, который отвернулся.

«Я пригласил вас, господа, с тем, чтобы сообщить вам о некоторых весьма серьезных обстоятельствах, обстоятельствах, игнорировать которые было бы безрассудно. Как вы знаете, наш университет практически закрыт с конца прошлого месяца. Теперь мне дали понять, что если наши намерения, наша программа и наша линия поведения не будут со всей ясностью доведены до Правительства, то этот организм, этот старый и любимый организм совсем перестанет функционировать, и вместо него будет создано какое-то иное учреждение с другим штатом сотрудников. Иными словами, великолепное здание, которое эти каменщики, Наука и Администрация, по кирпичику возводили на протяжении веков, падет... Оно падет потому, что нам не хватило инициативы и такта. В самый последний момент была определена стратегия, которая, я надеюсь, позволит предотвратить катастрофу. Завтра могло бы быть уже слишком поздно.

Вы все знаете, насколько мне претит дух компромисса. Но я не считаю, что отважные усилия, которые всех нас объединят, можно заклеить этим позорным термином. Господа! Когда мужчина теряет любимую жену, когда эмир теряет плот среди кочующих морей, когда выдающийся руководитель видит, что дело всей его жизни разбито вдребезги — он крепко сожалеет. Он сожалеет слишком поздно. Так давайте не будем по собственной оплошности ставить себя в положение скорбящего возлюбленного, адмирала, потерявшего флот среди бушующих волн, выброшенного на улицу администратора — давайте возьмем нашу судьбу, как пылающий факел, обеими руками.

Прежде всего я зачитаю вам короткий меморандум — своего рода манифест, если угодно, — который должен быть представлен правительству и обычным порядком обнародован... И здесь возникает второй вопрос, который я хотел бы затронуть, — вопрос, о котором некоторые из вас уже догадались. Среди нас есть человек... великий человек, позвольте мне добавить, который по удивительному стечению обстоятельств в прежние времена был школьным товарищем другого великого человека, человека, руководящего нашей страной. Каких бы политических взглядов мы ни придерживались — а я за свою долгую жизнь разделял большинство из них, — нельзя отрицать, что правительство есть правительство, и потому не стоит ожидать, что оно станет терпеть бестактное проявление неспровоцированного противления или равнодушия. То, что казалось нам сущим пустяком, простым снежным комом преходящего политического убеждения, не обрастающего мхом, приобрело громадные размеры, превратилось в пламенеющее знамя, пока

мы блаженно и покойно дремали в наших обширных библиотеках и дорогостоящих лабораториях. Теперь мы пробудились. Пробуждение, признаю, было резким, но, возможно, виной тому не только горнист. Верю, что деликатная задача по формулированию этого... этого составленного... этого исторического документа, который мы все незамедлительно подпишем, была выполнена с глубоким осознанием ее огромной важности. Я также верю, что Адам Круг вспомнит свои счастливые школьные годы и согласится лично подать этот документ Правителю, который, я уверен, высоко оценит визит любимого и всемирно известного старого товарища по играм, благодаря чему отнесется к нашему печальному положению и добрым намерениям с большей благосклонностью, чем отнесся бы в том случае, если бы это чудесное стечение обстоятельств не было даровано нам. Адам Круг, готовы ли вы спасти нас?»

Слезы стояли в глазах старика и голос его дрожал, когда он произносил свое драматическое воззвание. Лист писчей бумаги соскользнул со стола и мягко опустился на зеленые розы ковра. Бесшумно подошел д-р Александер и вернул его на стол. Орлик, старик-зоолог, раскрыл книжечку, лежавшую рядом с ним, и обнаружил, что это пустая коробочка с одиноким розовым мятным леденцом на дне.

«Вы жертва сентиментального заблуждения, мой дорогой Азуреус, – сказал Круг. – Все, что мы с Жабой храним *en fait de souvenirs d'enfance*[19], так это мою привычку сидеть на его лице».

Раздался внезапный удар дерева о дерево. Зоолог поднял глаза и в то же время с чрезмерным усилием поставил на стол Вухим *biblioformis*[20]. Последовала тишина. Д-р Азуреус медленно сел и сказал изменившимся голосом:

«Я не совсем понимаю вас, профессор. Я не знаю, кто этот... к кому относится слово или имя, которое вы произнесли, и что вы имели в виду, вспоминая эту необычную игру, – вероятно, какую-то детскую потасовку... лоун-теннис или что-нибудь в этом роде».

«Жаба – его школьное прозвище, – сказал Круг. – И я не думаю, что это можно было бы назвать лоун-теннисом – или даже чехардой, если уж на то пошло. Он бы так не сказал. Боюсь, я был тот еще задира и обычно сбивал его с ног подсечкой, после чего садился ему на лицо – своего рода лечение покоем».

«Прошу вас, мой дорогой Круг, прошу вас, – сказал президент, морщась. – Все это крайне сомнительно с точки зрения хорошего тона. Вы были мальчишками в школе, а мальчишки есть мальчишки, и я уверен, что у вас найдется немало приятных общих воспоминаний – обсуждения уроков или разговоры о грандиозных планах на будущее, как это обычно бывает у мальчиков...»

«Я сидел на его лице, – невозмутимо сказал Круг, – каждый божий день около пяти школьных лет, – что составляет, полагаю, примерно тысячу таких сеансов».

Одни рассматривали свои ноги, другие – руки, третьи снова занялись

папиросами. Проявив мимолетный интерес к происходящему, зоолог отвернулся к новому книжному шкафу. Д-р Александер невежливо избегал бегающего взгляда старика Азуреуса, очевидно искавшего помощи с такой неожиданной стороны.

«Подробности ритуала – », – продолжил было Круг, но его прервал звон коровьего колокольчика, швейцарской безделушки, которую отчаянная рука старика нашла в бюро.

«Все это совершенно не имеет отношения к делу! – вскричал президент. – Я просто обязан призвать вас к порядку, мой дорогой коллега! Мы отклонились от главного –»

«Но постойте, – сказал Круг. – Право, я ведь не сказал ничего ужасного, не так ли? Я, например, вовсе не утверждаю, что теперешняя физиономия Жабы по прошествии двадцати пяти лет сохраняет бессмертный отпечаток моей тяжести. В те дни, хотя я и был худее, чем сейчас –»

Президент соскользнул со своего стула и буквально подбежал к Кругу.

«Я вспомнил, – сказал он прерывистым голосом, – что хотел вам сказать – крайне важно – *sub rosa*[21] – не могли бы вы, пожалуйста, пройти со мной на минуту в соседнюю комнату?»

«Хорошо», – сказал Круг, с трудом поднимаясь с кресла.

Соседней комнатой был кабинет президента. Напольные часы остановились на четверти седьмого. Круг быстро подсчитал, и чернота внутри него поглотила его сердце. Зачем я здесь? Уйти домой? Остаться?

«...Мой дорогой друг, вы хорошо знаете, с каким уважением я к вам отношусь. Но вы мечтатель, мыслитель. Вы не осознаете сложившегося положения. Вы говорите невозможные, немыслимые вещи. Что бы мы ни думали о... об этом человеке, мы должны держать это при себе. Мы в смертельной опасности. Вы ставите под угрозу всё...»

Д-р Александер, любезность, отзывчивость и *savoir vivre*[22] которого были выше всяческих похвал, тихо проскользнул в комнату с пепельницей и поставил ее у локтя Круга.

«В таком случае, – сказал Круг, не обращая внимания на лишний предмет, – вынужден с сожалением отметить, что упомянутый вами такт – всего лишь его беспомощная тень, то есть нечто вторичное. Знаете, вам следовало предупредить меня, что по причинам, которые я до сих пор не могу взять в толк, вы намереваетесь просить меня посетить –»

«Да, посетить Правителя, – поспешно вставил Азуреус. – Я уверен, что когда вы ознакомитесь с манифестом, чтение которого было так неожиданно отложено –»

Часы начали бить. Ибо д-р Александер, который знал толк в таких вещах и был человеком методичным, не смог обуздать инстинкта

заядлого починщика и теперь стоял на стуле, ощупывая свисающие гири и обнаженный циферблат. Его ухо и динамичный профиль отражались розовой пастелью в открытой стеклянной дверце часов.

«Пожалуй, я предпочитаю вернуться домой», – сказал Круг.

«Останьтесь, умоляю вас. Сейчас мы быстро прочитаем и подпишем этот действительно исторический документ. И вы должны согласиться, вы должны стать посыльным, вы должны стать голубем –»

«Чорт бы побрал эти часы, – сказал Круг. – Не могли бы вы остановить этот звон, любезный? Вы, кажется, путаете оливковую ветвь с фиговым листком, – продолжил он, снова поворачиваясь к президенту. – Но это не важно, поскольку, хоть убейте –»

«Я лишь прошу вас все хорошенько обдумать, чтобы избежать каких-либо опрометчивых решений. Эти школьные воспоминания восхитительны *per se* [23] – небольшие разногласия, безобидные прозвища, – но сейчас нам следует быть очень серьезными. Ну же, давайте вернемся к нашим коллегам и исполним свой долг».

Д-р Азуреус, чей ораторский пыл, казалось, угас, коротко проинформировал свою аудиторию о том, что декларация, которую всем предстояло прочитать и подписать, отпечатана в количестве экземпляров, равном числу подписантов. По его словам, ему дали понять, что это придаст индивидуальный характер каждому экземпляру. Какова была истинная цель такого устройства, он не объяснил и, будем надеяться, не ведал, но Кругу подумалось, что он распознал в явной идиотичности процедуры жутковатые повадки Жабы. Дражайшие доктора, Азуреус и Александер, раздали листы с живостью фокусника и его ассистента, передающих для осмотра предметы, которые не следует изучать слишком пристально.

«Вы тоже возьмите», – сказал старший доктор младшему.

«Нет, как можно, – воскликнул д-р Александер, и все могли видеть возникшее на его красивом лице розовое замешательство. – Что вы, нет. Я не смею. Мое скромное имя не может якшаться с именами этого благородного собрания. Я – ничто».

«Вот – ваш экземпляр», – в порыве странного раздражения сказал д-р Азуреус.

Зоолог не стал себя утруждать чтением, подписал бумагу одолженным ему пером, через плечо вернул его и снова погрузился в единственную достойную рассмотрения вещь, которую ему удалось найти, – старый Бедекер с видами Египта и силуэтами кораблей пустыни. В целом бедная местность для сбора, привлекательная разве что для ортоптеристов.

Д-р Александер сел за стол розового дерева, расстегнул пиджак, выпростал манжеты, придвинул стул поближе, проверил его положение, как это делают пианисты; затем извлек из жилетного кармана красивый сверкающий инструмент из хрусталя и золота; осмотрел его кончик; испробовал его на клочке бумаги и, затаив дыхание, медленно

развернул завитки своего имени. Закончив украшать его сложный хвост, он отнял перо и оглядел свое очаровательное произведение. К несчастью, в этот драгоценный миг его золотая волшебная палочка (быть может, в отместку за тряску, которой ее подвергли различные усилия хозяина в течение всего вечера) пролила большую черную слезу на высоковажный документ.

На этот раз действительно покраснев, со вздувшейся на лбу ижицей вены, д-р Александер приложил пиявку. Когда уголок промокательной бумаги насытился, не коснувшись дна, злополучный доктор осторожно промокнул остатки. Со своей близко расположенной выгодной позиции Адам Круг видел эти бледно-синие отметины: причудливый след ноги или продолговато-округлые очертания лужи.

Глиман дважды перечитал бумагу, дважды нахмурился, вспомнил дотацию, и витраж на фронтиспise, и выбранный им особенный шрифт, и сноску на странице 306, которая опровергала соперничающую теорию относительно точного возраста разрушенной стены, – и поставил свою изящную, но странно неразборчивую подпись.

Бёре, которого бесцеремонно разбудили от приятной дремы в экранированным кресле, прочитал, высморкался, проклял тот день, когда сменил гражданство, – затем сказал себе, что, в конце концов, не его дело бороться с экзотической политикой, сложил носовой платок и, видя, что другие подписывают, – подписал.

Экономика и История провели краткое совещание, во время которого на лице последнего появилась скептическая, но несколько деланная улыбка. Они поставили подписи разом, а затем с тревогой обнаружили, что, сравнивая тексты, каким-то образом обменялись копиями, поскольку в левом углу каждого экземпляра были напечатаны имя и адрес потенциального подписанта.

Остальные вздохнули и подмахнули, или не вздохнули и подмахнули, или подмахнули – а потом уже вздохнули, или не сделали ни того ни другого, но потом еще раз подумали и подписали. Адам Круг тоже, он тоже, он тоже выщелкнул свое порывшее шаткое вечное перо. В примыкающем к залу кабинете зазвонил телефон.

Д-р Азуреус лично вручил ему документ и прохаживался поблизости, в то время как Круг неторопливо надел очки и начал читать, откинув голову так, чтобы она покоилась на антимакассаре, и держа листы довольно высоко в слегка дрожащих толстых пальцах. Дрожали они сильнее обычного, потому что уже было за полночь, и он несказанно устал. Д-р Азуреус перестал ходить взад-вперед и почувствовал, как его старое сердце споткнулось, поднимаясь вверх (метафорически) со своей оплывшей свечой, когда Круг, приближаясь к концу манифеста (три с половиной страницы текста, скрепленные вместе), потянулся за перьевой ручкой в грудном кармашке. Упоительная аура глубокого облегчения заставила свечу снова вспыхнуть, когда старик Азуреус увидел, как Круг расстелил последнюю страницу на плоском деревянном подлокотнике своего кретонового кресла и отвинтил наконечник ручки, превратив его в колпачок.

Быстрым, изящно точным движением, совершенно не вязавшимся с его дородностью, Круг вставил в четвертой строке запятую. Затем (чмок) он вновь навинтил наконечник пера, защелкнул зажимную скобу (чмок) и отдал документ остолбеневшему президенту.

«Подпишите это», – сказал президент смешным автоматическим голосом.

«За исключением юридических бумаг, – ответил Круг, – да и то не всех, я никогда не подписывал и никогда не подпишу ничего, что не было составлено мною самим».

Д-р Азуреус обозрел зал, его руки медленно поднялись. Почему-то никто не смотрел в его сторону, кроме математика Гедрона, костлявого человека с так называемыми британскими усами и трубкой в руке. Д-р Александер находился в соседней комнате и отвечал на звонки. Кошка спала в душной комнате дочери президента, которой снилось, что она никак не может отыскать определенную баночку яблочного желе, которая, как она знала, была кораблем, виденным ею однажды в Бервоке, и моряк наклонялся и сплевывал за борт, глядя, как его слюна падает, падает, падает в яблочное желе трагического моря, поскольку ее сон отливал золотисто-желтым, так как она не погасила лампы, намереваясь бодрствовать до тех пор, пока гости ее старого отца не уйдут.

«К тому же, – сказал Круг, – все метафоры полукровки, тогда как предложение о готовности добавить в программу те предметы, которые необходимы для содействия политической сознательности, и сделать все от нас зависящее грамматически настолько беспомощно, что его не спасет даже моя запятая. А теперь я хочу вернуться домой».

«Prakhtata meta! – вскричал бедный д-р Азуреус, обращаясь к гробовой тишине собрания. – Prakhta tuen vadust, mohen kern! Profsar Krug ma!arma ne donje... Prakhtata!»

Д-р Александер, слегка похожий на исчезающего моряка, появился вновь и подал знак, затем позвал президента, который, все еще сжимая неподписанную бумагу, с причитаньями бросился к своему верному помощнику.

«Брось, дружище, не глупи. Подпиши эту треклятую бумажку, – сказал Гедрон, склонившись над Кругом и положив кулак с трубкой ему на плечо. – Какое, черт возьми, это имеет значение? Поставь свой коммерчески ценный росчерк. Ну же! Никто не тронет наших кругов – но у нас должно быть место, чтобы их рисовать».

«Не в грязи, сударь, не в грязи», – сказал Круг, впервые за вечер улыбнувшись.

«Ох, не будь напыщенным педантом, – сказал Гедрон. – Почему ты хочешь, чтобы я чувствовал себя так неловко? Я подписал – и мои боги не шелохнулись».

Круг, не глядя на него, поднял руку и коснулся твидового рукава Гедрона.

«Все в порядке, – сказал он. – Мне плевать на твою мораль, пока ты рисуешь круги и показываешь фокусы моему сыну».

На один опасный миг он снова ощутил горячую черную волну горя, и комната почти расплылась... но д-р Азуреус уже спешил обратно.

«Мой бедный друг, – сказал президент с большим смаком. – Вы герой, что пришли сюда. Почему же вы мне не сказали? Теперь я все понимаю! Разумеется, вы не могли уделить должного внимания – ваше решение и подпись могут быть отложены, – и я уверен, что нам всем глубоко совестно за то, что мы потревожили вас в такой момент».

«Продолжайте говорить, – сказал Круг, – продолжайте. Ваши слова для меня загадка, но пусть это вас не останавливает».

С ужасным чувством, что он сбит с толку какой-то дикой дезинформацией, Азуреус уставился на него, затем пробормотал:

«Надеюсь... я не... я хочу сказать, я надеюсь, что я... я имею в виду, разве вы... разве в вашей семье не случилось горе?»

«Если и случилось, то это не ваше дело, – сказал Круг. – Я хочу домой, – добавил он, внезапно грянув тем ужасным голосом, который раздавался подобно удару грома, когда он подходил к кульминации лекции. – Этот человек, – как там его зовут – он отвезет меня обратно?»

Д-р Александер издали кивнул д-ру Азуреусу.

Нищего сменили. Двое солдат, скорчившись, сидели на подножке автомобиля, предположительно охраняя его. Круг, стремясь избежать разговора с д-ром Александером, проворно забрался на заднее сиденье. Однако, к его большому неудовольствию, д-р Александер, вместо того чтобы сесть на место водителя, присоединился к нему. Когда один из солдат взялся за руль, а другой удобно выставил локоть, машина всхрипнула, прочистила горло и заурчала по темным улицам.

«Быть может, вы хотели бы...» – сказал д-р Александер и, пошарив на полу, попытался натянуть плед так, чтобы накрыть им собственные ноги и ноги своего компаньона. Круг заворчал и пинком сбросил плед. Д-р Александер натянул его, поерзал, подоткнул его под одного себя и затем откинулся, томно вложив руку в стенную петлю со своей стороны автомобиля. Случайный уличный луч нашел и куда-то задевал его опал.

«Должен признаться, я восхищался вами, профессор. Бесспорно, вы были единственным настоящим мужчиной среди этих несчастных дрожащих окаменелостей. Догадываюсь, что вы нечасто видите со своими коллегами, не так ли? О, вы, должно быть, чувствовали себя не в своей тарелке –»

«Опять ошибаетесь, – сказал Круг, нарушая обет хранить молчание. – Я уважаю своих коллег так же, как и себя. Я уважаю их за две вещи: за то, что они способны находить истинное блаженство в специальных

знаниях, и за то, что они не склонны к физическому убийству».

Д-р Александер принял сказанное за одну из тех темных острот, которые, как ему говорили, Адам Круг нередко позволял себе, и осторожно рассмеялся.

Круг взглянул на него сквозь бегущую тьму и навсегда отвернулся.

«И вы знаете, – продолжал молодой биодинамик, – у меня странное ощущение, что, как бы там ни было, а многочисленные овцы ценятся меньше одинокого волка. Любопытно, что будет дальше. Любопытно, к примеру, знать, что бы вы сделали, если бы наше капризное правительство с очевидной непоследовательностью пренебрегло овцами, но предложило бы волку должность с такими замечательными условиями, о каких можно только мечтать. Конечно, это всего лишь мимолетная мысль, и вы можете посмеяться над парадоксом (оратор коротко продемонстрировал, как это делается), но эта и другие перспективы, – возможно, совершенно иного рода – невольно приходят на ум. Знаете, когда я был студентом и жил на чердаке, моя квартирная хозяйка, жена бакалейщика снизу, твердила, что я в конце концов сожгу дом, – так много свечей я изводил каждую ночь, корпя над страницами вашей во всех отношениях замечательной –»

«Заткнитесь–ка, ладно?» – сказал Круг, внезапно проявив странную черту вульгарности и даже жестокости, ибо ничто в невинной и благонамеренной, пусть и не слишком умной болтовне молодого ученого (который, совершенно очевидно, превратился в болтуна вследствие застенчивости, свойственной взвинченным и, возможно, недоедающим молодым людям, жертвам капитализма, коммунизма и онанизма, когда они оказываются в обществе действительно значительных людей, к примеру, таких, о которых им известно, что это личный друг начальника, или сам президент фирмы, или даже шурин президента Гоголевич и т. д.) не могло оправдать грубости выражения; каковое выражение, однако, обеспечило полную тишину до конца поездки.

Только когда несколько небрежно ведомая машина свернула в переулок Перегольм, безобидный молодой мужчина, без сомнения понимавший смятенное состояние души вдовца, снова открыл рот.

«Вот мы и приехали, – благодушно сказал он. – Надеюсь, ваша сезамка [ключ от английского замка] при вас. Мы же, боюсь, должны спешить обратно. Доброй ночи! Приятных снов! Прощеванце [шутливое “адыю”]!»

Автомобиль исчез, а квадратное эхо его захлопнутой дверцы все еще висело в воздухе, как пустая картинная рама из черного дерева. Но Круг был не один: предмет, похожий на шлем, скатился по ступеням крыльца к его ногам.

Крупным планом, крупным планом! В прощальных тенях крыльца юноша, одетый как игрок в американский футбол, лунно-белое, чудовищно преувеличенное накладкой плечо которого трогательно дисгармонировало с тонкой шеей, стоял в последнем безвыходном положении со схематической маленькой Кармен – и даже их суммарный возраст по крайней мере на десять лет был меньше возраста зрителя. Ее короткая

черная юбка, наводящая на мысль о гагате и лепестке, наполовину скрывала причудливое одеяние, покрывавшее конечности ее возлюбленного. Украшенная блестками шаль спускалась с ее левой безвольной руки, внутренняя сторона которой просвечивала сквозь черную кисею. Другой рукой она обвила шею юноши, ее напряженные пальцы впились сзади в его темные волосы; да, все можно было рассмотреть – даже короткие, неумело покрытые лаком ногти, грубоватые костяшки пальцев школьницы. Он, таклер, удерживал Лаокоона, и хрупкую лопатку, и маленькое ритмичное бедро в своих пульсирующих кольцах, по которым тайно циркулировали горячие глобулы, и ее глаза были закрыты.

«Мне очень жаль, – сказал Круг, – но мне нужно пройти. Donje te zankoriv [извините меня, пожалуйста]».

Они разделились, и он успел заметить ее бледное, темноглазое, не очень хорошенькое личико с блестящими губами, когда она проскользнула под его рукой, придерживающей дверь, и, бросив один взгляд назад с первой лестничной площадки, побежала вверх, волоча за собой шаль со всеми ее созвездиями – Цефеем и Кассиопеей в их вечном блаженстве, и сверкающей слезой Капеллы, и Полярной звездой – снежинкой на гризлевом меху Медвежонка, и обморочными галактиками – этими зеркалами бесконечного пространства, *qui m'effrayent*, Blaise[24], как они пугали и тебя, и где Ольги нет, но где мифология растягивает прочные цирковые сети, дабы мысль в своем плохо сидящем трико не сломала свою старую шею, а отскочила с гип-гип и оп-ля – вновь прыгивая на этот пропитанный мочой прах, чтобы совершить короткую пробежку с полупируэтом посередине и показать крайнюю простоту небес в амфифорическом жесте акробата, откровенно раскрытых ладонях, которые начинают короткий шквал аплодисментов, пока он отходит назад, а затем, возвращаясь к мужественным манерам, ловит синий платочек, который его мускулистая партнерша по полету извлекает после собственных кульбитов из вздымающейся горячей груди – вздымающейся сильнее, чем предполагает ее улыбка, – и бросает ему, чтобы он мог вытереть ладони своих ноющих и слабеющих рук.

5

Он изобиловал фарсовыми анахронизмами; он был пронизан ощущением грубой зрелости (как кладбищенская сцена в «Гамлете»); его несколько скудная обстановка была дополнена всякой всячиной из других (более поздних) пьес; но все же этот повторный сон, всем нам знакомый (оказаться в своем старом классе с уроком, не выученным из-за того, что мы невольно пропустили десять тысяч школьных дней), в случае Круга точно воспроизводил атмосферу исходной версии. Разумеется, сценарий дневных воспоминаний гораздо искуснее в отношении фактических деталей, поскольку постановщикам сновидений (обычно их несколько, – большей частью невежественных, принадлежащих к среднему

классу, стесненных во времени) приходится многое сокращать и подравнивать и еще проводить традиционную рекомбинацию; но зрелище есть зрелище, и обескураживающее возвращение к своему прежнему существованию (с прошедшими за сценой годами, переводимыми в термины забывчивости, прогулов, бездействия) почему-то лучше разыгрывается популярным сном, чем научной точностью памяти.

Но таким ли уж топорным все это было? Кто стоит за робкими режиссерами? Конечно, этот письменный стол, за которым оказался Круг, был явно впопыхах позаимствован из другой обстановки и больше походил на оборудование общего пользования университетской аудитории, чем на индивидуальную парту из его детства, с ее пахучим (чернослив, ржавчина) отверстием для чернил, и шрамами от перочинного ножа на крышке (которой можно было громко хлопать), и тем особым чернильным пятном в форме озера Малёр. Нет сомнений и в том, что дверь расположена как-то странно и что некоторых из соучеников Круга, безликих статистов (сегодня – датчане, завтра – римляне), набрали наспех отовсюду, дабы заполнить пробелы, оставленные теми из его одноклассников, которые оказались менее многоточными, чем другие. Но среди постановщиков или рабочих сцены, ответственных за костюмы и декорации, был один... это трудно выразить... безымянный, таинственный гений, который воспользовался сном, чтобы передать свое необычное зашифрованное послание, не имеющее отношения к школьным годам или вообще к какому-либо аспекту физического существования Круга, но каким-то образом связывающее его с непостижимой формой бытия, быть может, ужасной, быть может, блаженной, а быть может, ни той ни другой, – своего рода трансцендентальным безумием, которое скрывается за краем сознания и которое невозможно определить точнее, как бы Круг ни напрягал свой мозг. О да – освещение неважное и поле зрения странно сужено, как будто память о закрытых веках естественным образом сохраняется в сепиевом оттенке сна, и оркестр чувств ограничивается несколькими местными инструментами, и Круг во сне рассуждает хуже пьяного дурня; но более пристальное рассмотрение (проводимое, когда «я» сновидения умирает в десятитысячный раз, а «я» пробуждения в десятитысячный раз наследуют все эти пыльные безделушки, и долги, и пачки неразборчиво написанных писем) обнаруживает присутствие кого-то, кто знает. Какой-то незванный гость побывал там, поднялся на цыпочках вверх, открыл шкафы и совсем немного нарушил порядок вещей. Затем сморщенная, покрытая меловой пылью, почти невесомая и невозможно сухая губка впитывает воду, пока не становится сочной, как фрукт; она оставляет глянцевитые черные дуги по всей сероватой доске, сметая мертвые белые символы; и вот мы сызнова принимаемся комбинировать смутные сны с научной точностью памяти.

Вы вошли в своего рода туннель; он идет в толще какого-то здания и выводит вас во внутренний двор, покрытый старым серым песком, который становится грязью при первых же брызгах дождя. Здесь играли в футбол в ветреный пасмурный промежуток между двух серий уроков. Зев туннеля и дверь школы, расположенные на противоположных концах двора, стали футбольными воротами примерно так же, как в животном мире обычный орган одного вида резко видоизменяется у другого благодаря новой функции.

Время от времени тайком приносили и осторожно водили в углу настоящий футбольный мяч, с его красной печенью, туго заправленной под кожаный корсет, и с именем английского производителя, бегущим по почти аппетитным участкам его твердой звенящей округлости; однако во дворе, ограниченном хрупкими окнами, то был запрещенный предмет.

Но вот простой мяч, одобренный властями гладкий мяч из млечной резины, внезапно оказывается в витрине, вроде музейного экспоната: собственно, не один, а три мяча в трех витринах, поскольку нам явлены все его стадии: сначала новый, такой чистый, что почти белый – белизна акульею брюха; затем грязно-серая взрослая особь с крупинками гравия, прилипшими к его обветренной щеке; а затем дряблый и бесформенный труп. Звенит колокольчик. В музее снова становится темно и пусто.

Дай-ка пас, Адамка! Удар мимо цели или осмотрительный удар с рук редко кончался звоном разбитого стекла; нет, прокол обычно случался из-за столкновения с определенным злонамеренным выступом, образованным углом крытого крыльца. При этом гибельное ранение мяча обнаруживалось не сразу. Только при следующем сильном пинке из него потихоньку начинал выходить воздух жизни, и вскоре он уже шлепал, как старая калоша, прежде чем замереть, – жалкая медуза измаранной резины на грязной земле, где жестоко разочарованные ботинки наконец разносили его на куски. Окончание ballona [бала]. Она перед зеркалом снимает свою бриллиантовую диадему.

Круг играл в футбол [vooter], Падук нет [nekht]. Круг, крупный, толстолицый, кудрявый мальчуган, щеголявший в твидовых бриджах с пуговками пониже колен (футбольные шорты были табу), тяжело носился по грязи – скорее, больше с азартом, чем с умением. Теперь он бежал (ночью, чучело? Ага, ночью, ребята) по чему-то, что напоминало железнодорожные пути, в длинном сыром туннеле (постановщики сна воспользовались первым попавшимся понятием «туннеля», не потрудившись убрать рельсы или рубиново-красные фонари, горевшие через ровные промежутки на скальных черных стенах в потеках сочащейся воды). В ногах у него был тяжелый мяч, о который он всякий раз спотыкался, пытаясь его пнуть; в конце концов, этот мяч каким-то образом застрял на выступе скалы, в которую тут и там были врезаны маленькие витрины, аккуратно освещенные и оживленные причудливыми аквариумными штрихами (кораллы, морские ежи, пузырьки шампанского). В одной из них сидела она, снимая сверкающие, как роса, кольца и расстегивая бриллиантовое collier de chien[25], облежавшее ее полную белую шею; да, освобождаясь от всех земных драгоценностей. Он нащупал мяч на выступе и выудил оттуда шлепанец, маленькое красное ведерко, украшенное парусником, и ластик – из всего этого каким-то образом составил мяч. Непросто было продолжать вести его через хаос шатких строительных лесов, где, как ему казалось, он мешал рабочим, чинившим кабель или что-то в этом роде, и когда он добрался до закуской, мяч закатился под один из столов; там-то, полускрытый упавшей салфеткой, и находился порог цели, потому что «гол» значит «цель», и целью была дверь.

Открыв эту дверь, вы находили нескольких zaftpuren [«слютяев»], прохлаждавшихся на широких оконных сиденьях за одежными вешалками;

среди них был и Падук, поедающий что-то сладкое и липкое, что дал ему швейцар, украшенный медалью ветеран с почтенной бородой и похотливыми глазами. Когда звонил звонок, Падук дожидался, пока схлынет шумная суতোлка раскрасневшихся запачканных мальчишек, спешащих в класс, после чего тихо поднимался по лестнице, поглаживая перила слипшейся ладонью. Круг, убиравший мяч (под лестницей стояла большая коробка для игровых принадлежностей и поддельных драгоценностей) и потому задержавшийся, обогнал его и на ходу уцепился за пухлую ягодицу.

Отцом Круга был биолог с солидной репутацией. Отцом Падука был мелкий изобретатель, вегетарианец, теософ, большой знаток дешевой индуистской премудрости; одно время он, кажется, подвизался в полиграфическом предприятии – печатая главным образом сочинения разных чудаков и политиков-неудачников. Мать Падука, рыхлая флегматичная женщина с Болотных земель, умерла при родах, и вскоре после этого вдовец женился на молодой калеке, для которой изобрел новый тип ортопедических скоб (она пережила и его, и эти скобы, и все прочее, и до сих пор еще ковыляет где-то). У Падука было одутловатое лицо и сизый шишковатый череп: отец самолично раз в неделю брил ему голову – какой-то мистический ритуал, надо думать.

Неизвестно, отчего его прозвали Жабой, поскольку ничто в его физиономии не напоминало это животное. Лицо у него было странное, все его черты находились на своем месте, но были какими-то размытыми и неестественными, как будто мальчуган перенес одну из тех лицевых операций, при которых кожа заимствуется с какой-то другой части тела. Быть может, такое впечатление создавалось неподвижностью его черт: он никогда не смеялся, а если чихал, то с минимальным усилием и практически беззвучно. Его маленький мертвенно-белый нос и опрятная голубая блуза-матроска придавали ему en laid[26] сходство с восковыми школьниками в витринах портных, но его бедра были намного полнее, чем у манекенов, и ходил он слегка вразвалку, шаркая своими неизменными сандалиями, которые вызывали немало насмешек. Как-то, когда его здорово помяли, обнаружилось, что он на голое тело надевал зеленую нижнюю рубашку, – зеленую, как бильярдное сукно, и, по-видимому, сшитую из той же ткани. Руки у него всегда были липкими. Говорил он удивительно ровным гнусавым голосом с сильным северо-западным акцентом и отличался раздражающей манерой называть одноклассников анаграммами их имен – Адама Круга, к примеру, звал Гумакрадом или Драмагуком; делал он это вовсе не шутки ради, поскольку был напроць лишен чувства юмора, но с тем, как он подробно разъяснял новичкам, чтобы никто не смел забывать, что все люди состоят из одних и тех же двадцати пяти букв, по-разному смешанных.

Эти его особенности ему бы с легкостью простили, кабы он был симпатичным малым, хорошим приятелем, покладистым грубияном или обаятельно-необычным мальчиком с самыми обычными крепкими мускулами (как в случае Круга). Падук же, несмотря на свои странности, был скучным, ординарным и невыносимо подлым. Размышляя об этом по прошествии лет, нельзя не прийти к неожиданному выводу, что он был настоящим героем по части подлости, поскольку всякий раз, как он подличал, он должен был сознавать, что вновь ввернется тому аду физической боли, через который его неизменно прогоняли мстительные

одноклассники. Как ни странно, мы не можем вспомнить ни одного определенного примера его подлого поступка, хотя живо помним, что именно приходилось переносить Падуку в наказание за его малопонятные преступления. Взять, к примеру, случай с падографом.

Ему было, должно быть, лет четырнадцать или пятнадцать, когда его отец изобрел это единственное свое приспособление, снискавшее некоторый коммерческий успех. Оно представляло собой портативное устройство вроде пишущей машинки, способное с отталкивающим совершенством воспроизводить почерк его владельца. Вы предоставляли изобретателю многочисленные образчики своего почерка, после изучения всех черточек и связок которого последний изготавливал ваш индивидуальный падограф. Полученный шрифт в точности копировал среднюю «манеру» вашего почерка, тогда как незначительные вариации каждого знака обеспечивались несколькими клавишами, применявшимися для каждой буквы. Знаки препинания тщательно варьировались в рамках той или иной индивидуальной манеры, а такие детали, как интервалы и то, что эксперты называют «клинальной изменчивостью», передавались таким образом, чтобы замаскировать механическую регулярность. И хотя более пристальное изучение образчика, конечно, всегда обнаруживало наличие механического носителя, устройство позволяло вволю предаваться более или менее глупому плутовству. Вы могли, к примеру, заказать падограф, настроенный на почерк вашего корреспондента, и затем всячески дурачить его и его друзей. Несмотря на эту вздорную подоплеку неуклюжей подделки, вещь пришла по душе честному потребителю: простые умы привлекают устройства, каким-нибудь новым занятым способом имитирующие природу. По-настоящему хороший падограф, воспроизводящий множество особенностей почерка, стоил очень дорого. Заказы, однако, хлынули рекой, и покупатели один за другим наслаждались роскошной возможностью видеть, как сама сущность их сложной личности раскрывается посредством магии хитроумного прибора. За год было продано три тысячи устройств, и более трехсот из этого числа оптимистично использовались в мошеннических целях (при этом как мошенники, так и обманутые проявляли поразительную глупость). Падук-старший как раз собирался построить специальную фабрику для масштабного производства, когда парламентский указ ввел запрет на изготовление и продажу падографов по всей стране. С философской же точки зрения падограф приобрел значение символа эквилибризма, доказывая, что механическое устройство способно воспроизводить личность и что Качество – это всего лишь вопрос распределения Количества.

Одна из первых моделей, изготовленных изобретателем, была подарена сыну ко дню рождения. Юный Падук применял машинку для выполнения школьных домашних заданий. Его почерк представлял собой тонкие паутинообразные каракули реверсивного типа, с жесткими поперечными чертами, выделявшимися среди других безвольных букв, – и все это имитировалось безупречно. Он так и не смог избавиться от инфантильных чернильных подтеков, поэтому его папаша оснастил машинку дополнительными клавишами для клякс – одной в форме песочных часов и двух округлых. Впрочем, этими украшениями Падук пренебрегал, и совершенно справедливо. Учителя заметили только, что его работы стали несколько более опрятными и что изредка встречавшиеся в них вопросительные знаки были написаны чернилами потемнее да

пофиолетовой, чем все прочее, – следствие одной из тех неудач, которые характерны для определенного рода изобретателей: этот знак его отец прохлопал.

Вскоре, однако, доставляемое секретностью удовольствие пошло на убыль, и как-то утром Падук принес машинку в школу. Учителю математики, высокому голубоглазому еврею с рыжеватой бородой, пришлось отлучиться на похороны, и освободившийся час был посвящен демонстрации падографа. Предмет был привлекательный – луч весеннего солнца быстро его обнаружил; за окном таял и растекался снег, в грязи сверкали драгоценные камни, радужные голуби ворковали на мокром карнизе, крыши домов с другой стороны двора сияли бриллиантовым блеском, и короткие пальцы Падука (съедобная часть каждого ногтя практически отсутствовала, если не считать темного и узкого ободка, вдавленного в валик желтоватого мяса) застучали по ярким клавишам. Надо признать, что в ходе демонстрации он проявил немалую смелость: его окружали грубые мальчишки, сильно его недолюбливавшие, и ничто не мешало им разнести его волшебный инструмент на куски. Он же сидел, хладнокровно переписывая на нем какой-то текст, и высоким голосом, растягивая слова, объяснял тонкости его работы. Рыжий Шимпффер, эльзасец с удивительно ловкими пальцами, сказал:

«Теперь дай мне попробовать!» – и Падук, подвинувшись, начал направлять его – поначалу несколько нерешительные – щелчки.

Следующим за машинку сел Круг, и Падук ему тоже принялся подсказывать, пока не заметил, что его механический двойник под крепкими пальцами Круга покорно выписывает следующее: «Я идиот идиот не так ли и я обязуюсь заплатить десять пятнадцать двадцать пять крун –»

«0, пожалуйста, прошу, – быстро сказал Падук, – кто-то идет, давайте уберем».

Он спрятал аппарат в парту, положил ключ в карман и, как обычно делал, находясь в сильном волнении, поспешил в уборную.

Круг посоветовался с Шимпффером, и был разработан простой план действий. После уроков они уговорили Падука еще раз показать им машинку. Как только тот открыл футляр, Круг его повалил и уселся на него, а Шимпффер тем временем старательно отстукал короткое послание. Он бросил листок в почтовый ящик, после чего Круг отпустил Падука.

На другой день молодая жена страдающего слезоточивостью и тревожностью учителя истории получила записку (на линованной бумаге с двумя дырочками на полях), содержавшую настойчивую просьбу о randevu. Вместо того чтобы пожаловаться мужу, как ожидалось, эта любезная женщина, укрыв лицо плотной синей вуалью, подстерегла Падука, сказала ему, что он большой гадкий мальчик, и, нетерпеливо покачивая задом (в те времена осиных талий они казались перевернутыми сердечками), предложила взять кирре [закрытый экипаж] и поехать на одну пустующую квартиру, где она могла бы спокойно его

выбранить. Хотя со вчерашнего дня Падук и ожидал какой-нибудь неприятности, к подобному повороту он оказался не готов и, не успев собраться с мыслями, в самом деле последовал за ней в грязный экипаж. Несколько минут спустя, в заторе на площади Парламента, он выскользнул и позорно бежал. Каким образом эти *trivesta* [подробности любовных походов] стали известны его одноклассникам, предположить затруднительно; как бы там ни было, этот случай стал школьной легендой. В течение нескольких дней Падук отсутствовал. Некоторое время не появлялся и Шимпффер: по примечательному совпадению его мать получила сильные ожоги из-за таинственного взрывчатого вещества, подложенного ей в сумку каким-то шутником, пока она делала покупки в магазине. Когда же Падук вновь появился, то был он, как всегда, тих, но падографа больше не упоминал и в школу не приносил.

В том же году, или, может быть, в следующем, новый «идейный» директор школы решил развивать среди старшеклассников то, что он называл «политико-социальной сознательностью». Он разработал целую программу – собрания, дискуссии, формирование партийных групп – о, много чего еще. Мальчики поздравее уклонялись от этих сборищ по той простой причине, что, проводимые после уроков или на переменах, они посягали на их свободу. Круг жестко высмеивал дураков или подхалимов, поддавшихся на эту гражданственную чепуху. Директор, всецело подчеркивая добровольный характер посещений, заметил ему, лучшему ученику в классе, что его индивидуалистическое поведение подает плохой пример остальным. Над директорской кушеткой, набитой конским волосом, висел офорт, изображающий «Хлебно-Песчаный бунт», 1849. Круг и не подумал уступить и стоически сносил низкие оценки, которые с этого времени стал получать, хотя продолжал заниматься не хуже прежнего. Директор воззвал к нему снова. В его кабинете была еще цветная литография с дамой в вишнево-красном платье, сидящей перед зеркалом. Занятое сложилось положение: вот он, этот директор, либерал с явными левыми наклонностями, красноречивый поборник Честности и Беспристрастности, изобретательно шантажирует лучшего ученика своей школы и поступает так не потому, что желает его присоединения к определенной группе (скажем, левой), а потому, что мальчик отказывался состоять в какой бы то ни было группе. Ибо справедливости ради следует отметить, что директор школы, далекий от того, чтобы навязывать собственные политические пристрастия, позволял ученикам примыкать к какой угодно партии, даже к новому объединению, не связанному ни с одной из фракций, представленных в пышно разросшемся парламенте. Сверх того, он был человеком столь широких взглядов, что положительно желал, чтобы мальчики из семей побогаче создавали выраженно капиталистические группы, а сыновья реакционных дворян соответствовали своему привилегированному сословию и объединялись в «*Rutterheds*». Все, чего он хотел, это чтобы они следовали своим социальным и экономическим инстинктам, и единственное, что он при этом осуждал, – это полное отсутствие таковых у индивида. Мир представлялся ему трагической борьбой классовых страстей на фоне условного беспросветного страдания, на котором Богатство и Труд мечут вагнеровские молнии, исполняя свои предопределенные роли; отказ от участия в спектакле показался ему жестокой насмешкой над его энергичным мифом, как и над профсоюзом, в котором состояли актеры. При таких обстоятельствах он счел себя вправе указать учителям, что ежели Адам Круг выдержит выпускные

экзамены с отличием, его успех будет диалектически несправедлив по отношению к тем его одноклассникам, которые были менее способными учениками, но лучшими гражданами. Учителя так прониклись этой мыслью, что остается только удивляться, как наш юный друг вообще ухитрился не провалиться.

Тот последний семестр ознаменовался, кроме того, внезапным возвышением Падука. Хотя, казалось, всех от него воротило, небольшая свита с телохранителем все же приветствовала его, когда он тихо всплыл на поверхность и тихо основал партию Среднего Человека. У каждого из его последователей имелся какой-нибудь мелкий дефект или «синдром неуверенности», как мог бы сказать специалист в области педагогики после фруктового коктейля: один страдал фурункулезом, другой был болезненно застенчив, третий ненароком обезглавил малютку сестру, четвертый заикался так сильно, что можно было пойти купить плитку шоколада, пока он боролся с начальными «п» или «б», — он никогда не пытался обойти препятствие, переключившись на синоним, и после того, как взрыв наконец все-таки происходил, все тело его содрогалось, а собеседник орошался торжествующей слюной. Пятый школьник был заикой более изощренным, поскольку изъян его речи принимал форму дополнительного слога, идущего после критического слова, как своего рода нерешительное эхо. Неприкасаемость обеспечивал свирепый обезьяноподобный детина, который в семнадцать лет не мог выучить таблицу умножения, но был способен поднять стул, величественно занимаемый еще одним учеником-адептом, первым толстяком школы. Никто не заметил, как эта довольно нелепая кучка сплотилась вокруг Падука, и никто не мог понять, чем именно он заслужил свое лидерство.

За несколько лет до этих событий его отец познакомился с печально известным Фрадрикком Скотомой. Старый иконоборец (как он любил, чтобы его называли) в то время медленно и неуклонно начал впадать в туманный маразм. Со своими влажными ярко-красными губами и пушистыми седыми бакенбардами он стал выглядеть если не респектабельно, то, по крайней мере, безобидно, а его сморщенное тело приобрело такой бесплотный вид, что матронам из его грязноватого квартала, наблюдавшим, как он шаркает во флюоресцирующем ореоле старческого слабоумия, хотелось чуть ли не баюкать его и покупать ему вишни, горячие булочки с изюмом и пестрые носки, которые он обожал. Те, кого в юности будоражили его произведения, давно уже позабыли этот страстный поток искусных памфлетов и ошибочно приняли краткость собственной памяти за сокращение его объективного существования; так что они бы только недоверчиво нахмурились, если бы им сказали, что Скотома, этот *enfant terrible*[27] шестидесятых, все еще был жив. Сам же Скотома в восемьдесят пять лет склонен был рассматривать свое буйное прошлое как подготовительную стадию, значительно уступающую нынешнему философскому периоду, поскольку, что вполне естественно, он воспринимал свой упадок как окончательное созревание и апофеоз и нисколько не сомневался, что тот бессвязный трактат, который он доверил напечатать Падуку-старшему, будет признан бессмертным творением.

Он изложил свою новообретенную концепцию человечества с торжественностью, подобающей великому открытию. На каждом данном

уровне мирового времени, утверждал он, существует поддающееся вычислению количество человеческого сознания, распределенного среди всей людской популяции планеты. Распределено это количество неравномерно – и в том-то источник всех наших бед. Человеческие существа представляют собой великое множество сосудов, содержащих неравные части этого, по своей сути единого, сознания. Однако, продолжал он развивать свою мысль, отрегулировать вместимость человеческих сосудов очень даже возможно. Если бы, к примеру, определенное количество воды содержалось в определенном числе разнородных сосудов – винных бутылках, графинах и пузырьках различной формы и размера, а также во всех хрустальных и золотых флакончиках для духов, которые отражались в ее зеркале, то распределение жидкости было бы неравномерным и несправедливым, но его можно было бы сделать одинаковым и честным – либо путем выравнивания содержимого, либо путем отказа от причудливых сосудов и установления стандартного размера. Он преподнес идею баланса как основу всеобщего блаженства и нарек свою теорию «эквилизмом». Сие есть нечто совершенно новое, утверждал он. Правда, социализм выступал за единообразие в экономическом отношении, а религия сурово обещала то же самое в отношении духовном – как неизменное состояние в загробном мире. Но экономист не учел, что никакое распределение богатства не может быть успешно достигнуто, да и в принципе не имело никакого реального значения до тех пор, пока существовали люди с большей смекалкой или выдержкой, чем у других; и схожим образом духовник не смог осознать тщету своего метафизического обещания по отношению к тем избранным (эксцентрично гениальным людям, охотникам на крупную дичь, шахматистам, необычайно сильным и разносторонним любовникам, сияющей женщине, снимающей ожерелье после бала), для которых этот мир был раем сам по себе и которые всегда будут на ступень выше, что бы ни случилось со всеми в плавильном котле вечности. И даже, продолжал Скотома, если последний станет первым, и наоборот, только представьте себе покровительственную улыбку *si-devant*[28] Уильяма Шекспира при виде бывшего писаки бездарных пьес, заново расцветающего в качестве поэта-лауреата Царствия Небесного.

Важно отметить, что, предлагая придать индивидам новую форму согласно сбалансированному шаблону, автор предусмотрительно опустил определение как практического метода, которого следует придерживаться, так и характера лица или лиц, ответственных за планирование и руководство процессом. Он довольствовался тем, что повторял на протяжении всей книги, что разница между самым гордым интеллектом и самой скромной глупостью всецело зависит от уровня «мирового сознания», сконцентрированного в том или ином индивиде. Казалось, он верил, что его перераспределение и регулирование произойдет само собой, как только его читатели осознают истинность его главного постулата. Следует также отметить, что наш милейший утопист имел в виду всю туманно-голубую планету, а не только свою болезненно сознательную страну. Он умер вскоре после публикации своего трактата, что избавило его от неприятности видеть, как его расплывчатый и благонамеренный эквилизм преобразился (сохранив название) в грозную и грязную политическую доктрину, доктрину, стремившуюся под контролем раздутого и опасно превознесенного государства насадить у него на родине духовное единообразие с помощью наиболее нормированной части населения – армии.

Когда молодой Падук, взяв за основу опус Скотомы, учредил партию Среднего Человека, метаморфоза эквилизма только началась, и фрустрированные юнцы, проводившие свои угрюмые собрания в зловонном классе, все еще подыскивали способы перераспределения содержимого человеческого сосуда в соответствии со средним уровнем. В тот год застрелили одного продажного политика; убийство совершил студент по имени Эмральд (а не Амральд, как обычно искажают его имя за границей), который на суде совершенно неуместно прочитал стихи собственного сочинения, образчик отрывочной истерической риторики, восхваляющий Скотому за то, что он –

...нас учит почитать Простого Человека,

и нам открыл, что древо ни одно

не может быть без леса,

как без оркестра нет и музыканта,

и как волна – ничто без океана,

а жизнь – ничто без смерти.

Бедный Скотома, конечно, ничего подобного не утверждал, но с той поры Падук и его дружки начали распевать эти стишки на мотив «Ustra mara, donjet domra» (популярная песенка, восхваляющая хмельные свойства крыжовенной наливки), а позднее они стали эквилистской классикой. В те же дни одна откровенно буржуазная газета начала печатать серию рисованных историй, посвященных семейной жизни г-на и г-жи Этермон (сиречь Обыватель). С корректным юмором и граничащей с непристойностью симпатией автор следовал за г-ном Этермоном и его крошкой-женой из гостиной на кухню, из сада в мансарду через все достойные упоминания этапы их повседневного существования, которые, несмотря на наличие уютных кресел и всевозможных электрических штукун, а также одной вещи в себе (автомобиля), по сути не отличались от житья-бытья неандертальской четы. Г-н Этермон, вздремнувший на диване или прокравшийся на кухню, чтобы с вождением понюхать кипящее рагу, совершенно бессознательно являл собой ходячее опровержение индивидуального бессмертия, поскольку весь его образ жизни представлял собой тупик, в котором ничто не могло или не было достойно продлиться за границу смертного состояния. Никто и не мог бы, впрочем, представить себе Этермона действительно умирающим, – не только потому, что правила незлобивого юмора запрещали показывать его на смертном одре, но и потому, что ни единая деталь обстановки (даже его игра в покер с агентами по страхованию жизни) не указывала на факт абсолютной неизбежности смерти; так что, с одной стороны, Этермон, являясь олицетворенным опровержением бессмертия, сам был бессмертен, а с другой – не мог и мечтать насладиться какой-либо формой загробной жизни – просто

потому, что в своем во всех прочих отношениях хорошо спланированном доме он был лишен элементарного комфорта камеры смертников. В рамках этого герметичного существования молодая пара была настолько счастлива, насколько это положено любой молодой паре: посещение кинематографа, прибавка к жалованью, что-нибудь вкусненькое на ужин – жизнь была определенно полна этими и подобными удовольствиями, в то время как худшее, что могло бы случиться, – это удар традиционным молотком по традиционному пальцу или ошибка в дате рождения начальника. На рекламных рисунках Этермон изображался курящим ту марку папирос, которую предпочитают миллионы, а миллионы не могут ошибаться, и предполагалось, что всякий Этермон должен был представить себе любого другого Этермона (вплоть до президента государства, который только что сменил скучного, флегматичного Теодора Последнего), – как он возвращается в конце трудового дня к (богатым) кулинарным и (скудным) супружеским радостям дома Этермонов. Скотома, совершенно независимо от старческих бредней своего эквилизма (и даже они подразумевали некоторые радикальные перемены, некоторую неудовлетворенность данными условиями), рассматривал то, что он называл «мелкой буржуазией», с гневом ортодоксального анархизма и был бы потрясен, точно так же как террорист Эмральд, кабы узнал, что группа молодых людей поклоняется эквилизму в образе карикатурного персонажа г-на Этермона. Впрочем, Скотома был жертвой распространенного заблуждения: его «мелкий буржуа» существовал лишь в виде печатного ярлыка на пустом каталожном ящике (как и большинство ему подобных, наш иконоборец полностью полагался на обобщения и был совершенно неспособен обратить внимание, скажем, на рисунок обоев в случайной комнате или же разумно поговорить с ребенком). На самом деле, проявив толику проницательности, можно было узнать немало любопытных вещей об Этермонах, вещей, делающих их настолько непохожими друг на друга, что нельзя было бы и говорить о самом существовании Этермонов за рамками недолговечного образа героя комиксов. Внезапно преобразенный, с блеском в прищуренных глазах, г-н Этермон, которого мы только что видели бесцельно слоняющимся по дому, запирается в ванной со своим предметом вожделений – предметом, который мы предпочитаем не называть; другой Этермон прямым из своего обшарпанного кабинета проскальзывает в тишину огромной библиотеки, чтобы погрузиться в старинные географические карты, о которых дома он говорить не станет; третий Этермон взволнованно обсуждает с женой четвертого Этермона будущее ребенка, которого ей удалось тайно выносить, пока ее муж (теперь вернувшийся в свое домашнее кресло) сражался в далеких джунглях, где, в свой черед, он видел бабочек, размером с раскрытый веер, и деревья, ритмично пульсирующие по ночам бесчисленными светлячками. Нет, обыкновенные сосуды не столь просты, как кажутся: это набор фокусника, и никто, ни даже сам волшебник, на самом деле не знает, что именно и как много они вмещают.

Скотома в свое время увлекся экономическим аспектом Этермона; Падук тщательно скопировал его комиксовый образ в плоскости мужской моды. Он носил высокие целлулоидные воротнички, рубашки со знаменитыми нарукавными резинками и дорогую обувь – ибо то небольшое, в чем г-н Этермон позволял себе блеснуть, было связано с частями, максимально удаленными от анатомического центра его существа: сиянье ботинок, бриолин волос. Добившись неохотного отцовского согласия, Падук

отрастил на верхней части своего бледно-голубого черепа ровно столько волос, сколько требовалось для сходства с идеально приглаженным теменем Этермона, и моющиеся манжеты Этермона, с запонками в виде звезд, сомкнулись на Падуковых слабых кистях. Хотя в последующие годы он больше не следовал своей имитационной адаптации, во всяком случае сознательно (в то время как, с другой стороны, этермоновский комикс в конце концов прекратился и впоследствии казался довольно нетипичным при взгляде на него из другого периода моды), Падук так и не смог избавиться от этой перекрахмаленной искусственной аккуратности; известно, что он разделял взгляды одного врача, состоявшего в партии эквилистов, который утверждал, что ежели человек тщательно следит за чистотой своей одежды, то он может и должен ограничить ежедневное омовение только мытьем лица, ушей и рук. На протяжении всех своих последующих приключений, во всех краях, при любых обстоятельствах, в дымно-темных задних комнатах пригородных кафе, в убогих конторах, в которых стряпалась та или иная его упрямая газетенка, в казармах, в общественных залах, в лесах и среди холмов, где он скрывался с кучкой босоногих красноглазых солдат, и во дворце, где по неслыханной прихоти местной истории он завладел большей властью, чем какой-либо здешний правитель прошлого, Падук все еще сохранял черты покойного г-на Этермона, какую-то карикатурную угловатость, впечатление потрескавшейся и запачканной целлофановой обертки, сквозь которую тем не менее можно было различить новенькие пыточные тиски для большого пальца, кусок веревки, ржавый нож и образчик самого чувствительного из человеческих органов, вырванный вместе с сочащимися кровью корнями.

В классной комнате, где проходил выпускной экзамен, юный Падук (чьи прилизанные волосы напоминали парик, слишком маленький для его обритой головы) сидел между Брюн Обезьяной и лакированным манекеном, изображавшим отсутствующего. Адам Круг, одетый в коричневый халат, сидел прямо за его спиной. Кто-то слева от него попросил передать книгу семье его соседа справа, что он и сделал. Он заметил, что книга на самом деле представляла собой шкатулку из розового дерева, формой и окраской имитирующей том стихов, и Круг понял, что там внутри какие-то тайные пояснения, которые могли бы помочь охваченному паникой уму неподготовленного ученика. Он пожалел, что не раскрыл коробку или книгу, когда она проходила через его руки. Тема, которую требовалось изложить, была посвящена вечеру с Малларме, дядей его матери, но он, похоже, мог вспомнить лишь «*le sanglot dont j'étais encore ivre*»[29].

Все вокруг увлеченно строчили, и очень черная муха, которую Шимпффер нарочно приготовил для этого случая, обмакнув ее в чернила, прогуливалась по выбритой части старательно склоненной головы Падука. Она оставила кляксу возле его розового уха и черное двоеточие на его блестящем белом воротничке. Двое учителей – ее шурин и учитель математики – деловито расставляли что-то занавешенное, что должно было стать объектом следующей темы, предложенной для обсуждения. Они походили на рабочих сцены или гробовщиков, но Круг плохо видел из-за Жабьей головы. Падук и все остальные продолжали без остановки мараить бумагу, Круг же терпел полное фиаско, ошеломительную и отвратительную катастрофу, поскольку

он потратил все время на то, чтобы стать пожилым мужчиной, вместо того чтобы изучать простые, но теперь недоступные выдержки, которые они, обычные мальчишки, знали наизусть. С самодовольным видом Падук бесшумно поднялся и, споткнувшись о ногу, выставленную Шимпффером, отнес свою работу экзаменатору, и в оставленном им просвете Круг ясно различил очертания следующей темы. Теперь все было готово к демонстрации, но занавески все еще оставались задернутыми. Круг нашел обрывок чистой бумаги и приготовился записывать впечатления. Учителя раздвинули занавески. За ними обнаружилась Ольга, которая, вернувшись после бала, сидела перед зеркалом и снимала драгоценности. Все еще облаченная в вишнево-красный бархат, она, разведя в стороны и подняв, как крылья, сильные блестящие локти, начала расстегивать сзади на шее сверкающий собачий ошейник. Он знал, что ошейник снимется вместе с позвонками – что, на самом деле, он был кристаллом ее позвонков, – и испытал мучительное чувство поругания приличий при мысли, что все находящиеся в комнате будут наблюдать и описывать ее неизбежный, жалостный и невинный распад. Произошла вспышка, щелчок: двумя руками она сняла свою прекрасную голову и, не глядя на нее – осторожнее, осторожнее, дорогая, – улыбаясь рассеянной улыбкой забавному воспоминанию (кто бы подумал во время танцев, что настоящие драгоценности заложены?), поставила прекрасную имитацию на мраморную полку туалетного столика. Тогда он понял, что все остальное тоже будет снято: кольца вместе с пальцами, бронзовые туфельки вместе со ступнями, грудь вместе с обтягивающими ее кружевами... Его жалость и стыд достигли апогея, и от последнего жеста высокой холодной стриптизерши, рыскающей, как пума, взад и вперед по сцене, Круг в припадке отвратительной дурноты проснулся.

6

«Мы познакомились вчера, – сказала комната. – Я – гостевая спальня на даче Максимовых. Это ветряные мельницы на обоях».

«Верно», – ответил Круг.

Где-то в тонкостенном, сосной пахнущем доме уютно потрескивала печка и Давид звонко отвечал кому-то, – вероятно Анне Петровне, вероятно завтракая с ней в соседней комнате.

Теоретически не существует неопровержимого доказательства того, что утреннее пробуждение (когда обнаруживаешь, что снова сидишь в седле своей личности) на самом деле не является совершенно беспрецедентным событием, первородным появлением на свет. Как-то раз они с Эмбером обсуждали возможность стать создателями всех произведений Уильяма Шекспира, потратив баснословные деньги на мистификацию, взятками заткнув рты бесчисленным издателям, библиотекарям, жителям Стратфорда-на-Эйвоне, поскольку для того, чтобы отвечать за все упоминания поэта в течение трех столетий цивилизации, эти самые

упоминания должны были считаться ложными интерполяциями, внесенными мистификаторами в реальные труды, каковые они отредактировали заново; тут все еще оставалась какая-то прореха, досадный изъян, но, вероятно, и его можно было бы устранить – как наспех состряпанную шахматную задачу можно исправить добавлением пассивной пешки.

Та же идея применима и в отношении личного существования человека, как оно ретроспективно воспринимается после пробуждения: ретроспективность сама по себе есть довольно простая иллюзия, мало чем отличающаяся от изобразительных значений глубины и отдаленности, творимых кистью на плоской поверхности; однако для создания ощущения компактной реальности, укорененной в правдоподобном прошлом, логической преемственности, возможности подхватить нить жизни именно в том месте, где она прервалась, требуется кое-что получше, чем кисть. Тонкость этого трюка поистине удивительна, принимая во внимание бесчисленные детали, которые необходимо учесть и расположить таким образом, чтобы навести на мысль о действии памяти. Круг немедленно осознал, что его жена умерла; что он поспешно уехал за город со своим маленьким сыном, и что вид, обрамленный окном (мокрые голые деревья, бурая земля, белесое небо, а вдалеке – холм с фермерским домом), представлял собой не только шаблонную картину местных художников, но к тому же занимал свое место, чтобы сообщить ему, что Давид поднял штору и покинул комнату, не разбудив его; после чего, почти с подобострастным «кстати», кушетка в другом конце комнаты посредством немых жестов – поглядите на это и на это – показала все, что требовалось, чтобы убедить его в том, что на ней спал ребенок.

Наутро после ее смерти приехали ее родственники. Эмбер оповестил их накануне вечером. Заметьте, как гладко работает ретроспективный механизм: все детали точно сочетаются друг с другом. Вот они (переключаясь на более медленную передачу, подходящую для описания прошлого) прибыли, вот вторглись в квартиру Круга. Давид доедал свою геркулеску. Они нагрянули в полном составе: ее сестра Виола, гнусный муж Виолы, что-то вроде сводного брата с женой, две дальние кузины, едва различимые во мгле, и какой-то неопределенный старикан, которого Круг видел впервые в жизни. Усилить суету в иллюзорной глубине. Виола никогда не любила сестру; последние двенадцать лет они виделись редко. На ней была короткая, густо усеянная мушками вуаль, которая спускалась до переносицы ее веснушчатого носа, не дальше, и за ее черными фиалками можно было различить сияние, одновременно чувственное и жесткое. Светлобородый муж деликатно ее поддерживал, хотя на самом деле та забота, которой надутый мерзавец окружал ее острый локоть, только мешала быстрым и властным движениям этой женщины. Вскоре она стряхнула его с себя. Замеченный в последний раз, он в горделивом молчании рассматривал из окна два черных лимузина, ожидавших у обочины. Господин в черном, с напудренной синеватой челюстью, представитель испепеляющей фирмы, пришел сказать, что самое время начинать. И вот тут Круг сбежал с Давидом через черный ход.

Неся чемодан, все еще мокрый от слез Клодины, он повел сына к ближайшей трамвайной остановке и с группой сонных солдат, возвращавшихся в казармы, приехал на вокзал. Прежде чем ему

позволили сесть в поезд, следующий к Озерам, правительственные агенты изучили его документы и зеницы Давида. Озерный отель оказался закрыт, и после того, как они немного побродили по окрестностям, жовиальный почтальон в своем желтом автомобиле отвез их (и письмо Эмбера) к Максимовым. На этом реконструкция завершается.

Единственная негостеприимная часть этого дружелюбного дома – общая ванная комната, особенно когда вода течет сперва едва теплая, а потом – холодная как лед. Длинный седой волос вlepился в кусок дешевого миндального мыла. Туалетную бумагу в последнее время нелегко было раздобыть, ее заменили обрывки газеты, насаженные на крюк. На дне клозетовой чаши плавал конвертик от безопасной бритвы с лицом и подписью доктора З. Фрейда. Если я останусь здесь на неделю, думал он, эти чужеродные деревянные стены постепенно приручатся и пройдут обряд очищения посредством повторяющихся соприкосновений с моей настороженной плотью. Он осмотpительно ополоснул ванну. Резиновая трубка душа с хлопком вылетела из крана. Два чистых полотенца висели на веревке вместе с черными чулками – выстиранными или еще только ждущими стирки. Полупустая бутылка минерального масла и серый картонный цилиндр – сердцевина рулона туалетной бумаги – стояли бок о бок на полке. На ней, кроме того, покоились два популярных романа («Брошенные розы» и «На Тихом Дону без перемен»). Зубная щетка Давида одарила его улыбкой узнавания. Он уронил мыло для бритья на пол и, подняв его, заметил, что к нему прилип серебристый волос.

В столовой никого кроме Максимова не было. Дородный пожилой джентльмен быстро вложил в книгу закладку, с радушной резвостью встал и энергично пожал Кругу руку, как если бы ночной сон был долгим и опасным путешествием.

«Как почивали?» – спросил он, а затем, озабоченно нахмурившись, проверил температуру кофейника под его щеголеватым стеганым чехлом. Его блестящее розовое лицо было гладко выбрито, как у актера (старомодное сравнение); совершенно лысую голову оберегала украшенная кисточкой ермолка; на нем была теплая куртка с деревянными пуговицами.

«Рекомендую, – сказал он, указывая мизинцем. – Я нахожу, что это единственный в своем роде сыр, который не засоряет кишечник».

Он был одним из тех людей, которых любят не за какую-то яркую черту таланта (этот отошедший от дел коммерсант им не обладал), а потому, что каждое мгновение, проведенное с ним, точно соответствует колее твоей жизни. Бывают дружеские отношения, которые как амфитеатры, водопады, библиотеки; бывают и другие, сравнимые со старыми халатами. Если разбирать по статьям, ничего особенно привлекательного в уме Максимова не было: его взгляды были консервативны, вкусы ординарны, но все эти скучные составляющие так или иначе образовывали удивительно уютное и гармоничное целое. Утонченность мысли не запятнала его искренности, он был надежен, как сталь и дуб, и когда Круг однажды заметил, что слово «лояльность» фонетически и визуально напоминает ему золотую вилку, лежащую в солнечных лучах на гладком бледно-желтом шелке, Максимов довольно сухо ответил, что для

него «лояльность» ограничивается словарным значением. Здравый смысл был у него избавлен от самодовольной пошлости струящейся в нем эмоциональной утонченностью, а голую и лишенную птиц симметрию его разветвленных убеждений лишь слегка колебал сырой ветер, дующий из тех областей, коих, как он наивно полагал, не существовало. Несчастья других заботили его больше собственных бед, и если бы он был старым морским капитаном, то доблестно пошел бы ко дну вместе со своим кораблем, а не спрыгнул бы с виноватым видом в последнюю спасательную шлюпку. Сейчас он собирался с духом, чтобы высказать Кругу свое мнение, и тянул время, обсуждая политику.

«Нынче утром молочник сказал мне, – говорил Максимов, – что по всей деревне расклеены листки, призывающие жителей стихийно праздновать восстановление полного порядка. Предусмотрен и регламент празднества. Предполагается, что мы соберемся в наших обычных местах для торжеств и увеселений – в кафе, в клубах, в залах наших корпораций – и станем хором петь песни, славящие правительство. В каждом округе уже избраны распорядители гражданских *ballonas*. Конечно, возникает вопрос, что делать тем, кто не умеет петь и не состоит ни в какой корпорации».

«Он мне приснился, – сказал Круг. – Видимо, теперь это единственный способ, которым мой бывший одноклассник все еще надеется снести со мной».

«Верно ли я понимаю, что в школе вы не особенно любили друг друга?»

«Ну, это как сказать. Я, конечно, ненавидел его, но вопрос в том – было ли это взаимно? Я помню один странный случай. Внезапно погас свет – короткое замыкание или что-то еще».

«Порой такое случается. Попробуй это варенье. Твоему сыну оно пришлось по вкусу».

«Я читал, сидя в классе, – продолжил Круг. – Хоть убей, не помню, почему дело было вечером. Жаба проскользнул внутрь и принялся копать в своей парте – он в ней держал конфеты. И тут погас свет. Откинувшись назад, я ожидал в полной тьме, когда он загорится снова. Внезапно я почувствовал что-то влажное и мягкое на тыльной стороне ладони. То был Поцелуй Жабы. Он успел сбежать прежде, чем я его схватил».

«Довольно сентиментально, должен сказать», – заметил Максимов.

«И омерзительно», – добавил Круг.

Он намазал сайку маслом и стал пересказывать подробности собрания в доме президента университета. Максимов тоже сел, на миг задумался, затем потянулся через стол к корзинке с кнакербродом, подтащил ее поближе к тарелке Круга и начал:

«Я хочу тебе кое-что сказать. Услышав это, ты, возможно, рассердишься и назовешь меня человеком, который суется не в свое дело, но я все же рискну навлечь на себя твое недовольство, потому

что положение действительно крайне серьезное, и мне все равно, будешь ли ты ворчать или нет. Я, собственно, уже вчера хотел, но Анна подумала, что ты слишком устал. Было бы опрометчиво отсрочивать этот разговор даже на день».

«Выкладывай», – сказал Круг, откусывая кусочек и наклоняясь вперед, потому что варенье едва не капнуло.

«Я прекрасно понимаю твой отказ иметь дело с этими людьми. Думаю, я поступил бы так же. Они предпримут еще одну попытку заставить тебя подписать бумаги, и ты снова им откажешь. Этот вопрос решен».

«Верно», – сказал Круг.

«Хорошо. Теперь, поскольку этот вопрос решен, отсюда следует, что решено и кое-что еще. А именно – твое положение при новом режиме. Оно приобретает особый характер, и на что я хочу обратить внимание, так это на то, что ты, похоже, не осознаешь его опасности. Иными словами, как только эквилисты утратят надежду заручиться твоим сотрудничеством, они тебя арестуют».

«Че-пу-ха», – раздельно сказал Круг.

«Именно. Давай назовем это гипотетическое происшествие полнейшей чепухой. Но полнейшая чепуха – это естественная и логичная часть правления Падука. Ты должен это учитывать, друг мой, ты должен принять какие-то защитные меры, сколь бы маловероятной ни казалась опасность».

«Yeg un dah [вздор], – сказал Круг. – Он так и будет лизать мою руку в темноте. Я несокрушим. Несокрушим – морская волна, с грохотом перекатывающая груды руды, отливая назад. Ничего не случится с Кругом-Скалой. Две или три сытые нации (одна окрашена синим цветом на карте, другая – красновато-желтым), от которых моя Жаба жаждет признания, займов и всего того, что изрешеченная пулями страна может желать от холеного соседа, – эти нации просто отвергнут его вместе с его правительством, если он... станет меня домогаться. Такого рода ворчание ты ожидал услышать?»

«Ты заблуждаешься. Твое представление о практической политике – романтическое и детское, и в целом ложное. Мы можем себе представить, что он простит тебе мысли, высказанные в твоих прежних книгах. Еще мы можем представить, как он страдает от того, что такой выдающийся ум возвышается посреди нации, которая по его собственным законам должна быть столь же неприметной, как ее самый неприметный гражданин. Но для того, чтобы представить себе все это, мы вынуждены постулировать попытку с его стороны использовать тебя каким-то особым образом. Если из этого ничего не выйдет – его перестанет волновать общественное мнение за рубежом, а с другой стороны, ни единое государство не будет тревожиться о твоей судьбе, если найдет какую-то выгоду в отношениях с нашей страной».

«Вступятся иностранные академии. Они предложат баснословные суммы, мой вес в Ra, чтобы купить мою свободу».

«Ты можешь шутить, сколько угодно, но все же я хочу знать – послушай, Адам, что ты собираешься делать? Я имею в виду, что ты, конечно, не можешь надеяться, что тебе позволят читать лекции, или публиковать свои работы, или поддерживать связи с иностранными учеными и печатниками. Или все же надеешься?»

«Нет. Je resteraî coi»[30].

«Мой французский ограничен», – сухо сказал Максимов.

«Я затаюсь, – сказал Круг, начиная испытывать смертельную скуку. – Придет время, и из тех мыслей, которые у меня еще остались, сложится какая-нибудь неторопливая книга. Сказать по правде, мне наплевать на этот или любой другой университет. Давид что, ушел на прогулку?»

«Но, мой дорогой друг, они не дадут тебе покоя! В этом суть дела. Я или любой другой обычный гражданин может и должен затаиться, но не ты. Ты одна из очень немногих знаменитостей, которых наша страна произвела в новейшее время и –»

«А кто другие звезды этого таинственного созвездия?» – поинтересовался Круг, скрестив ноги и удобно просунув руку между бедром и коленом.

«Хорошо, ты единственный. И по этой причине они захотят, чтобы ты действовал, причем из всех сил. Они сделают все, чтобы заставить тебя рекламировать их принципы. Стиль, begonia [блеск] останутся, конечно, твоими. Падука устроило бы простое согласование пунктов».

«А я буду глух и нем. Право, дорогой мой, все это журналистика с твоей стороны. Я хочу лишь, чтобы меня предоставили самому себе».

«Самому себе – какая ошибка! – покраснев, воскликнул Максимов. – Ты не сам по себе! У тебя ребенок».

«Ну будет, будет, – сказал Круг. – Давай-ка, пожалуйста –»

«Нет, не давай-ка. Я предупредил, что не стану обращать внимания на твое недовольство».

«Хорошо, и что же ты хочешь, чтобы я сделал?» – со вздохом спросил Круг и налил себе еще одну чашку чуть теплого кофе.

«Немедленно покинь страну».

Тихо потрескивала печь, и квадратные часы, с двумя нарисованными васильками на белом деревянном циферблате без стекла, отстукивали секунды крупного шрифта цицера. Окно попыталось улыбнуться. Слабый солнечный свет разливался по далекому холму, с какой-то бессмысленной отчетливостью выделяя маленькую ферму и три ее сосны на противоположном склоне, которые, казалось, продвигались вперед и затем снова отступали, когда тусклое солнце впадало в забытие.

«Не вижу нужды уезжать прямо сейчас, — сказал Круг. — Если они станут донимать меня слишком настойчиво, я, вероятно, так и поступлю, — пока же единственный ход, который мне хочется сделать, это отвести моего короля подальше длинной рокировкой».

Максимов встал и пересел на другой стул.

«Что ж, заставить тебя осознать свое положение — задача не из легких. Послушай, Адам, сам посуди: ни сегодня, ни завтра, ни когда-либо еще Падук не позволит тебе выехать за границу. Но сегодня ты еще можешь сбежать, как сбежали Беренц, Марбел и другие; завтра это будет невозможно — границы смыкаются все плотнее, и к тому времени, когда ты примешь решение, не останется ни малейшей щели».

«Допустим, но отчего в таком случае ты сам не бежишь?» — проворчал Круг.

«Мое положение несколько иное, — спокойно ответил Максимов. — Притом тебе это известно. Мы с Анной слишком стары — да, кроме того, я идеальный образец среднего человека и не представляю никакой угрозы для властей. А ты здоров как бык, и все в тебе преступно».

«Даже если бы я счел разумным уехать из страны, я не имею ни малейшего понятия, как это сделать».

«Иди к Туроку — он имеет, он сведет тебя с нужными людьми. Это будет стоить тебе немалых денег, но ты сможешь их раздобыть. Я тоже не знаю, как это делается, однако знаю, что это осуществимо, и уже делалось. Подумай о спокойной жизни в цивилизованной стране, о возможности работать, о школе, двери которой откроются для твоего сына. В твоих нынешних обстоятельствах —»

Он осекся. После ужасно неловкого ужина накануне вечером он сказал себе, что больше не будет касаться темы, которой этот странный вдовец, казалось, так стоически избегал.

«Нет, — сказал Круг. — Нет. Мне сейчас не до того. Ты очень трогательно беспокоишься обо мне, но, право, ты преувеличиваешь опасность. Я, конечно, приму во внимание твой совет. Давай не будем больше говорить об этом. Что делает Давид?»

«Что ж, по крайней мере, ты знаешь, что я думаю, — сказал Максимов, беря исторический роман, который читал, когда вошел Круг. — Но мы еще не закончили. Я попрошу Анну тоже поговорить с тобой, нравится тебе это или нет. Возможно, ей повезет больше. Я думаю, Давид с ней в огороде. Мы обедаем в час».

Ночь выдалась ненастной, она металась и задыхалась жестокими потоками дождя, и в стылости холодного тихого утра мокрые бурые астры пребывали в полном смятении, а остро пахнущие лиловые листья капусты, между грубыми прожилками которых личинки наделали отвратительных дыр, были запятнаны ртутью. Давид с мечтательным выражением сидел в тачке, а маленькая пожилая дама пыталась толкать ее по грязной глинистой дорожке.

«Не могу!» – воскликнула она со смехом и откинула с виска прядь тонких серебристых волос.

Давид выбрался из тачки. Круг, не глядя на Анну Петровну, сказал, что ему подумалось, не слишком ли холодно мальчику без пальто, на что она ответила, что белый свитер, который был на нем, достаточно плотный и удобный. Ольге почему-то никогда особенно не нравилась Анна Петровна и ее приторная праведность.

«Хочу взять его с собой на длинную прогулку, – сказал Круг. – Должно быть, он вам уже порядком надоел. Обед в час, верно?»

Что он говорил, какими словами пользовался, – не имело значения; он продолжал избегать ее прямого доброжелательного взгляда, на который, как ему казалось, он не мог ответить тем же, и прислушивался к собственному голосу, нижущему тривиальные звуки в тишине съжившегося мира.

Стоя на том же месте, она проводила взглядом отца и сына, рука об руку идущих к дороге. Совершенно неподвижная, перебирающая связку ключей и наперсток в оттопыренных карманах черной кофты.

По шоколадно-коричневой дороге были разбросаны кораллы разбитых кистей рябины. Ягоды сморщились и запылились, но даже если бы они были сочными и чистыми, ты, конечно, не мог бы их отведать. Варенье – другое дело. Нет, я сказал: нет. Попробовать – все равно что съесть. Несколько кленов в тихом сыром лесу, через который шла дорога, сохранили свои крашенные листья, но березы были совсем голые. Давид поскользнулся и с большим самообладанием продлил скольжение, чтобы получить удовольствие от сидения на липкой земле. Вставай, вставай. Но он еще посидел немного, в притворном изумлении глядя вверх смеющимися глазами. Его волосы были влажными и горячими. Вставай. Конечно, это сон, думал Круг, эта тишь, глубокая ирония поздней осени, далеко от дома. Почему мы оказались именно здесь? Хилое солнце вновь попыталось оживить белесое небо: миг-другой две колеблющиеся тени, призрак К и призрак Д, шествовали на теневых ходулях, подражая человеческой походке, а затем пропали. Пустая бутылка.

«Хочешь, – сказал он, – возьми эту скотомскую бутылку и жажни ею о ствол. Она взорвется с дивным треском».

Но она отлетела в ржавые волны папоротника-орляка целой и невредимой, и ему пришлось самому лезть за ней вброд, потому что место было слишком сырым для неподходящей пары обуви, надетой Давидом.

«Попробуй еще раз».

Она отказывалась разлетаться на куски.

«Ладно, давай я».

Поблизости торчал столб с надписью: «Охота запрещена». В него он и швырнул с яростью зеленую водочную бутылку. Он был крупным, тяжелым мужчиной. Давид отступил назад. Бутылка взорвалась, как звезда.

Вскоре они вышли на открытую местность. Кто сей, праздно рассеявшийся на огаде? На нем были высокие сапоги и картуз, но он не походил на крестьянина. Незнакомец улыбнулся и сказал:

«Доброе утро, профессор!»

«И вам доброго утра», – ответил Круг, не останавливаясь. Вероятно, один из тех, кто снабжает Максимовых дичью и ягодами.

Дачи справа от дороги по большей части пустовали. Кое-где, однако, дачная жизнь еще теплилась. Перед крыльцом одного из домов черный сундук с медными уголками, два-три узла и беспомощного вида велосипед с обмотанными педалями – стоял, валялись и лежал, дожидаясь какого-нибудь средства передвижения, и ребенок в городской одежде в последний раз качался на печальных качелях, подвешенных между двух сосен, знававших лучшие времена. Чуть дальше две пожилые женщины с заплаканными лицами хоронили убитую из милосердия собаку вместе со старым крокетным шаром, на котором виднелись следы ее веселых молодых зубов. В другом саду седобородый человек, похожий на Уолта Уитмена и одетый в костюм егеря, сидел перед мольбертом, и, хотя было без четверти одиннадцать ничем не примечательного утра, на его холсте ширился пепельно-красный закат; он же работал над деревьями и некоторыми другими деталями, которые накануне ему не дали закончить наступившие сумерки. Слева, в сосновой роще, очень прямо сидевшая на скамейке девушка с резкими жестами недоумения и тревоги быстро говорила («возмездие... бомбы... трусы... о, Фокус, будь я мужчиной...»), обращаясь к студенту в синей шапочке, сидевшему со склоненной головой и тыкавшему концом тонкого, туго свернутого зонтика, принадлежавшего его бледной подруге, в обрывки бумаги, автобусные билеты, сосновые иглы, кукольные или рыбы глаза и мягкую землю. Но в остальном некогда беззаботное курортное местечко опустело, ставни были закрыты, ободранная детская коляска лежала в канаве колесами кверху, и телеграфные столбы, эти безрукие увальни, скорбно гудели в унисон с пульсирующей в голове кровью.

Дорога пошла под небольшой уклон, и затем показалась деревня с туманной пустошью с одной стороны и озером Малёр с другой. Упомянутые молочником плакаты придавали приятный оттенок цивилизованности и гражданской зрелости скромной деревушке, ютящейся под низкими замшелыми крышами. Несколько костлявых крестьянок и их тугопузые дети собрались перед деревенской ратушей, красиво украшенной к предстоящим празднествам; а из окон почтового отделения слева и из окон полицейского участка справа служащие в форме жадными пытливыми глазами, полными приятного предвкушения, следили за ходом работы, которая несомненно спорилась. Вдруг, со звуком, похожим на крик новорожденного, только что установленный громкоговоритель ожил, после чего столь же внезапно заглох.

«Там есть игрушки», – сказал Давид, указывая через дорогу на эклектичный магазинчик, торговавший всякой всячиной – от бакалеи до

русских валенок.

«Ладно, – сказал Круг, – давай посмотрим, что там».

Но едва нетерпеливый ребенок первым начал переходить дорогу, со стороны окружного шоссе на полной скорости выскочил большой черный автомобиль, и Круг, рванувшись вперед, резко оттащил Давида назад, когда машина с грохотом пронеслась мимо, оставив после себя звон в ушах и раздавленную тушку курицы.

«Мне больно», – сказал Давид.

Круг почувствовал слабость в коленях и велел Давиду поторопиться, чтобы он не успел заметить мертвую птицу.

«Сколько же раз...» – сказал Круг.

Ручная копия смертоносной машины (вибрации которой все еще отдавались у Круга в солнечном сплетении, хотя к тому времени она, должна быть, уже достигла или даже миновала то место, где соседский бездельник сидел на ограде) была немедленно найдена Давидом среди дешевых кукол и консервных банок. Хотя игрушка и была запыленной и слегка поцарапанной, у нее имелись съемные шины, которые Давид одобрил, и она была особенно ценна тем, что нашлась так далеко от дома. Круг спросил у молодого румяного бакалейщика карманную фляжку бренди (Максимовы были трезвенниками), и когда он платил за нее и за автомобильчик, который Давид любовно катал взад-вперед по прилавку, снаружи донесся чудовищно усиленный гнусавый голос Жабы. Бакалейщик вытянулся по стойке смирно, с гражданским рвением уставившись на украшавшие ратушу флаги, которые вместе с полоской белого неба виднелись в дверном проеме.

«...и тем, кто доверяет мне, как самим себе», – проревел громкоговоритель, заканчивая фразу.

Вызванный этими словами шквал аплодисментов был прерван, по-видимому, жестом ораторской руки.

«Отныне, – продолжал чудовищно раздутый Тираннозавр, – путь к всеобщему наслаждению открыт. Вы достигнете его, братья, посредством пылкого взаимодействия друг с другом, уподобляясь счастливым мальчикам в шепчущем dormitorio, приспособляя свои идеи и эмоции к идеям гармоничного большинства; вы достигнете этого, сограждане, отменяя все те высокомерные представления, которых не разделяет и не должно разделять наше общество; вы достигнете этого, юноши, позволив своей личности раствориться в мужественном единстве государства; тогда, и только тогда мы добьемся цели. Ваши блуждающие индивидуальности станут взаимозаменяемыми, и, вместо того, чтобы пресмыкаться в тюремной камере нелегального эго, обнаженная душа соприкоснется с душой любого другого человека на земле; нет, более того, каждый из вас получит возможность обрести пристанище в эластичном внутреннем “я” любого другого гражданина и сможет перепархивать от одного к другому, пока ты не перестанешь понимать, Петр ты или Иоанн, – так тесно ты будешь заключен в объятия

государства, так радостно ты будешь крум карум —»

На этом клекоте речь оборвалась. Воцарилась своего рода ошеломленная тишина: деревенское радио, очевидно, еще не достигло идеального рабочего состояния.

«Модуляции этого дивного голоса хоть на хлеб намазывай», — заметил Круг.

За этим последовало то, что менее всего ожидалось: бакалейщик ему подмигнул.

«Боже милостивый, — сказал Круг, — луч света в темном царстве!»

Подмигивание, однако, имело определенный смысл. Круг обернулся. Прямо за его спиной стоял солдат-эквилист.

Впрочем, он хотел лишь купить фунт семечек. Круг и Давид осмотрели картонный домик, стоявший на полу в углу. Давид присел на корточки, чтобы заглянуть внутрь через оконца. Но они оказались просто нарисованными на стенке. Он медленно выпрямился, все еще глядя на домик, и машинально вложил свою ладонь в руку Круга.

Они вышли из магазина и, чтобы скрасить монотонность возвратного пути, решили обогнуть озеро, а затем пойти по тропинке, которая, обходя лес, петляла по лугам и вела обратно к даче Максимовых.

Этот дурак пытался меня спасти? От чего? От кого? Простите, я несокрушим. Собственно, ненамного глупее совета отрастить бороду и перейти границу.

Предстояло еще уладить уйму дел, прежде чем озаботиться политическими вопросами — если, конечно, эту чушь можно назвать политическими вопросами. И если, сверх того, недели через две какой-нибудь нетерпеливый поклонник не укокошит Падука. Недоразумение, — так сказать, следствие того духовного каннибализма, которое пропагандировал бедолага. Хотелось бы также знать (по крайней мере, кто-то мог бы полюбопытствовать — этот вопрос не представлял большого интереса), что деревенские жители вынесли из всего этого красноречия? Вероятно, оно смутно напомнило им церковь. Прежде всего я должен подыскать ему хорошую няньку — няньку из книжки с картинками, добрую, мудрую и безупречно чистоплотную. Затем я должен решить, как быть с тобой, любовь моя. Мы вообразили, что белый больничный поезд, ведомый белым дизельным локомотивом, доставил тебя через множество туннелей в горную приморскую страну. Там ты поправляешься. Но ты не можешь писать, потому что твои пальцы так бесконечно слабы. Лунные лучи не в силах удержать даже белый карандаш. Картина красивая, вопрос лишь в том, как долго она сможет оставаться на экране? Мы ждем следующей пластинки, но оператор волшебного фонаря больше ничего не припас. Позволим ли мы теме долгой разлуки шириться до тех пор, пока она не прольется слезами? Стоит ли нам говорить (изысканно манипулируя стерилизованными белыми символами), что поезд — это Смерть, а частная клиника — Рай? Или дать картинке потухнуть самостоятельно, смешаться с другими

исчезающими впечатлениями? Но мы хотим писать тебе письма, даже если ты не можешь на них ответить. Вынесем ли мы вида этих медленных неуверенных каракулей (мы можем написать свое имя и два-три приветственных слова), старательно и впустую выводящихся на открытке, которая никогда не будет послана? Не потому ли эти задачи так трудно решить, что мой собственный рассудок еще не смирился с твоей смертью? Мой разум не приемлет превращения физической прерывности в постоянную непрерывность нефизического элемента, ускользающего от закона очевидности, равно как не может принять бессмысленности накопления неисчислимых сокровищ мыслей и ощущений, и мыслей-за-мыслью и ощущений-за-ощущениями, одним махом и навсегда теряемых в припадке черной тошноты, за которым следует бесконечное ничто. Конец цитаты.

«Поглядим, сможешь ли ты забраться на вершину того валуна. Я думаю, не сможешь».

Давид рысцой побежал по мертвому лугу к овцеподобному валуну (отбившемуся от какого-то беспечного ледника). Бренди оказался паршивым, но ничего, сойдет. Ему вдруг вспомнился один летний день, когда он гулял по этим самым полям с высокой черноволосой девушкой, у которой были пухлые губы и покрытые пушком руки; он ухаживал за ней незадолго перед тем, как встретил Ольгу.

«Да, я смотрю. Превосходно. А теперь постарайся слезть».

Но Давид не мог. Круг подошел и нежно снял его с валуна. Это маленькое тело. Они посидели на овечьем валуне, созерцая бесконечный товарный состав, пытящий за полями в сторону расположенной у озера станции. Мимо тяжело пролетела ворона, от медленных взмахов ее крыльев гниющие луга и бесцветное небо казались еще печальнее, чем они были на самом деле.

«Так ты его потеряешь. Я лучше положу его себе в карман».

Они снова двинулись в путь, и Давид спросил, долго ли еще идти. Теперь уже недолго. Они прошли опушку леса, а затем свернули на очень грязную дорогу, которая привела к тому, что на время было их домом.

Перед ним стояла телега. Старая белая лошадь посмотрела на них через плечо. На пороге крыльца, тесно прижавшись, сидели двое: фермер, живший на холме, и его жена, хлопотавшая у Максимовых по хозяйству.

«Их нет», – сказал фермер.

«Надеюсь, они не пошли встретить нас на дороге, потому что мы вернулись другим путем. Заходи, Давид, и вымой руки».

«Нет, – сказал фермер. – Их совсем нет. Их увезли в полицейской машине».

Тут очень речисто вступила его жена. Едва она пришла, спустившись с холма, как увидела солдат, уводящих пожилую пару. Она побоялась

подойти поближе. А жалованье ей не плачено с октября. Она заберет, сказала она, все банки с вареньем, какие только есть в кладовой.

Круг вошел в дом. Стол был накрыт на четверых. Давид попросил вернуть ему игрушку, которую, как он надеялся, его отец не потерял. На кухонном столе лежал кусок сырого мяса.

Круг сел. Фермер тоже вошел в дом и стоял, поглаживая седеющий подбородок.

«Не могли бы вы отвезти нас на станцию?» – спросил Круг через некоторое время.

«У меня могут быть неприятности», – сказал фермер.

«Бросьте, я предлагаю вам больше, чем полиция когда-либо заплатит вам за все, что вы для них сделаете».

«Вы-то не полиция, так что не можете меня подкупать», – ответил честный и щепетильный старик.

«Стало быть, отказываетесь?»

Фермер молчал.

«Что ж, – сказал Круг, поднимаясь, – боюсь, мне придется настоять. Мальчик устал, а я не намерен нести его с чемоданом на руках».

«О какой сумме идет речь?» – спросил фермер.

Круг нацепил очки и раскрыл бумажник.

«По пути заедем в полицейский участок», – добавил он.

Зубные щетки и пижамы мигом были сложены в чемодан. Давид воспринял внезапный отъезд с полной невозмутимостью, однако предложил сначала что-нибудь съесть. Добрая женщина принесла ему печенье и яблоко. Пошел мелкий дождь. Шляпу Давида найти не удалось, и Круг отдал ему свою – черную, с широкими полями, но Давид все время снимал ее, потому что она закрывала ему уши, а он хотел слышать хлюпанье копыт и скрип колес.

Когда они проезжали мимо того места, где за два часа до того на деревенской изгороди сидел человек с густыми усами и блестящими глазами, Круг заметил, что на жерди вместо него сидит пара rudobrustki или зарянок [небольшие птички, родственные дроздам] и что к ограде прибит квадратный кусок картона. На нем чернилами (уже слегка оплывшими из-за мороси) было грубо выведено:

Bon Voyage! [31]

Круг обратил на это внимание возницы, который, не поворачивая головы, заметил, что в наши дни (эвфемизм для обозначения «нового режима») происходит много необъяснимого и что лучше не изучать

текущие явления слишком пристально. Давид потянул отца за рукав, он хотел знать, о чем речь. Круг объяснил, что они обсуждали странные манеры людей, устраивающих пикники в унылом ноябре.

«Я лучше отвезу вас прямо на станцию, хорошие мои, а то, боюсь, не поспеете на час сорок», – наудачу сказал фермер, но Круг велел остановиться у кирпичного дома, в котором располагалось начальство местной полиции.

Круг слез и прошел в конторскую комнату, где бородатый старик в расстегнутом на шее мундире прихлебывал из синего блюда чай, дую на него между глотками.

Ему об этом ничего не известно, сказал он. Арест произвела Городская Стража, а не его отделение. Он мог только предположить, что их отвезли в какую-нибудь городскую тюрьму как политических преступников. Он посоветовал Кругу прекратить лезть не в свое дело и благодарить Бога, что его самого не было в доме во время ареста. Круг ответил, что, напротив, он намерен сделать все, что в его силах, чтобы выяснить, почему двух пожилых и уважаемых людей, мирно живших в деревне многие годы и не имевших никакого отношения к –

Полицейский, прервав его, сказал, что лучшее, что может сделать профессор (если Круг и впрямь профессор), это держать рот на замке и уехать из деревни. Он снова поднес блюдо к обросшим шерстью губам. Рядом сгрудились двое молодых полицейских и принялись глазеть на Круга.

Он постоял там с минуту, глядя на стену, на плакат, обращающий внимание на бедственное положение пожилых полицейских, на календарь (в чудовищной копуляции с барометром); подумал было о взятке, но решил, что здесь действительно ничего не знают, и, пожав своими тяжелыми плечами, вышел.

Давида в повозке не было.

Фермер обернулся, посмотрел на пустое сиденье и сказал, что мальчик, видимо, пошел за Кругом в участок. Круг вернулся. Старший взглянул на него с раздражением и подозрением и сказал, что видел в окно, как подъехала повозка и что никакого ребенка в ней не было. Круг попытался открыть другую дверь в коридоре, но она была заперта.

«Прекратите, – прорычал полицейский, теряя самообладание, – или мы вас задержим за хулиганство».

«Верните моего ребенка», – сказал Круг (другой Круг, задушенный горловым спазмом и сердечной колотьбой).

«Попридержи коней, – сказал один из молодых полицейских. – Здесь тебе не ясли, детей тут нет».

Круг (теперь человек в черном, с лицом из слоновой кости) оттолкнул его в сторону и снова вышел. Прочистив горло, он взревел, призывая Давида. Двое деревенских жителей в средневековых каррен, стоявших

около повозки, воззрились на него, затем друг на друга, а затем один из них повернулся и посмотрел куда-то в сторону.

«Вы не – ?» – спросил Круг.

Но они не ответили и снова переглянулись.

Нельзя терять голову, подумал Адам Девятый, – поскольку к тому времени уже возникло немало таких серийных Кругов: один шарахался туда-сюда, как растерянный искатель-растяпа в игре в жмурки; другой воображаемыми кулаками разносил на куски картонный полицейский участок; третий бежал по туннелям кошмара; четвертый, спрятавшись вместе с Ольгой за деревом, наблюдал, как Давид на цыпочках обходит другое дерево, все его тело готово вострепнуться от ликования; пятый обыскивал лабиринтообразное подземелье, где-то в глубине которого опытные лапы пытались пронзительно кричащего ребенка; шестой обнимал сапоги подонка в униформе; седьмой душил подонка среди хаоса перевернутой мебели; восьмой находил маленький скелет в темном подвале.

Тут можно упомянуть, что на безымянном пальце левой руки Давид носил детское колечко с эмалью.

Он уже собрался было вновь атаковать полицейский участок, но заметил, что вдоль его кирпичной стены тянется узкий проулок, заросший по сторонам пожухлой крапивой (двое крестьян уже не раз поглядывали в ту сторону), и свернул в него, больно споткнувшись при этом о бревно.

«Гляди в оба, береги мослы – пригодятся», – с добродушным смешком сказал фермер.

В проулке босой золотушный мальчишка, одетый в розовую рубаху с красными заплатами, запускал волчок, а Давид стоял и смотрел, заложив руки за спину.

«Это невыносимо! – крикнул Круг. – Ты никогда, никогда не смеешь вот так исчезать. Ни слова! Да, я буду вести тебя за руку. Влезай, влезай».

Один из крестьян с рассудительным видом слегка постучал себя по виску, и его приятель кивнул. Стоявший за открытым окном молодой полицейский нацелился огрызком яблока в спину Круга, но его остановил более степенный товарищ.

Повозка тронулась. Круг поискал носовой платок, не нашел, и утер лицо ладонью все еще дрожащей руки.

Носящее такое подходящее название озеро представляло собой безликую гладь серой воды, и когда повозка свернула на шоссе, идущее вдоль берега к станции, холодный ветерок невидимыми пальцами, большим и указательным, приподнял тонкую серебристую гриву старой кобылы.

«А мама уже вернется, когда мы приедем домой?» – спросил Давид.

На ночном столике Эмбера стоят рифленый бокал с фиолетовыми прожилками и кувшин с горячим пуншем. На темно-желтой стене над его кроватью (он сильно простужен) висят три гравюры.

На первой джентльмен шестнадцатого века вручает книгу скромному малому, держащему в левой руке копье и увенчанную лаврами шляпу. Отметьте левостороннюю (*sinistral*) деталь. (Зачем? Ах, «вот в чем вопрос», как заметил мосье Омэ, цитируя *le journal d'hier*[32]; вопрос, на который бесстрастным голосом отвечает Портрет на титульной странице Первого фолио.) Отметьте также надпись: «*Ink, a Drug*»[33]. Чей-то праздный карандаш (Эмбер высоко ценил эту схолию) пронумеровал буквы так, чтобы читалось: «*Grudinka*» [грудинка], что на некоторых славянских языках означает «бекон».

На второй гравюре деревенский житель (теперь одетый как джентльмен) снимает с головы джентльмена (теперь пишущего за письменным столом) что-то вроде шапки. Внизу тем же почерком нацарапано: «*Ham-let, or Homelette au Lard*» [«Ветчинка, или Омлет с салом»].

Наконец третья изображает дорогу, идущего путника в украденной шапке и дорожный указатель: «В Хай-Уиком».

Его имя переменчиво, подобно Протею. На каждом повороте он плодит двойников. Его почерк неосознанно подделан юристами, пишущими схожим с его рукой образом. Дожливым утром 27 ноября 1582 года он – Шакспер, а она – Уэйтли из Темпл-Графтона. Несколько дней спустя он – Шагспир, а она – Хэтауэй из Стратфорда-на-Эйвоне. Кто он? Уильям Икс, искусно составленный из двух левых рук и маски. Кто еще? Человек, заметивший (не первым), что слава Божия в том, чтобы что-то спрятать, а слава человека – чтобы это найти. Однако тот факт, что пьесы написал уроженец Уорикшира, убедительнее всего доказывается на основании «яблока св. Иоанна» (со сморщенной кожей) и бледной примулы.

Здесь совмещены две темы: шекспировская, переданная в настоящем времени, с Эмбером, ораторствующим на своем ложе, и совсем другая тема, сложная смесь прошлого, настоящего и будущего, с чудовищным отсутствием Ольги, вызывающим ужасную неловкость. Это была, это есть их первая встреча после ее смерти. Круг не станет говорить о ней, даже не спросит о ее прахе; а Эмбер, который тоже испытывает стыд смерти, не знает, что сказать. Если бы он мог двигаться свободно, то он бы, возможно, просто молча обнял своего полноватого друга (жалкое поражение философов и поэтов, привыкших верить, что слова превосходят дела), но, когда один из двух лежит в постели, это невыполнимо. Круг, наполовину бессознательно, старается держаться

вне пределов досягаемости. Он человек сложный. Описать спальню. Упомянуть ярко-карие глаза Эмбера. Горячий пунш и легкий жар. Его крепкий блестящий нос с голубыми прожилками и браслет на волосатом запястье. Скажи же что-нибудь. Спроси о Давиде. Поведай о кошмаре этих самых репетиций.

«Давид тоже слег с простудой [ist auk beterkeltet], но мы вернулись [zueruk] не из-за этого. Shto bish [что бишь] ты говорил о репетициях [repetitia]?»

Эмбер с благодарностью подхватил выбранный предмет. Он мог бы спросить: «А из-за чего?» Он скоро узнает причину. Он чувствует некоторую эмоциональную опасность в этой туманной области и поэтому предпочитает говорить о работе. Последняя возможность описать спальню.

Слишком поздно. Эмбер принимается изливать поток слов. Он преувеличивает свою манеру фонтанировать. В подсушенном и сжатом виде свежие впечатления Эмбера, как литературного консультанта Государственного театра, могут быть переданы так:

«Два наших лучших Гамлета, собственно, единственные достойные, изменили внешность и покинули страну, и теперь неистово интригуют в Париже, после того как едва не убили друг друга по дороге. Никто из молодых актеров, которых мы позвали на пробы, не годится, хотя один или двое, по крайней мере, обладают необходимой для роли телесной полнотой. По причинам, которые я сейчас раскрою, Озрик и Фортинбрас подмяли под себя весь остальной состав. Королева на сносях. Лаэрт по своей комплекции не способен освоить элементарные навыки фехтования. Я утратил всякий интерес к постановке, поскольку бессилён изменить то гротескное направление, которое она приняла. Единственная моя жалкая цель теперь – заставить актеров принять мой перевод пьесы вместо того отвратительного переложения, которым они пользуются. С другой стороны, этот мой заветный труд, начатый давным-давно, еще не совсем закончен, и то обстоятельство, что приходится с ним спешить ради довольно второсортной цели (мягко говоря), вызывает у меня несказанное раздражение, которое, однако, ничто в сравнении с пыткой слышать, как актеры со своего рода атавистическим облегчением тут же переходят на бессвязное бормотание традиционного перевода (Кронеберга) всякий раз, как бесхребетный Верн, предпочитающий идеи словам, позволяет им это делать у меня за спиной».

Эмбер принимается объяснять, почему новое правительство решило, что стоит стерпеть постановку запутанной елизаветинской пьесы. Он излагает замысел, лежащий в основе постановки. Верн, смиренно предоставивший проект на рассмотрение, позаимствовал свою концепцию пьесы в презанятном исследовании покойного профессора Хамма «Истинный сюжет “Гамлета”».

«Железо и лед (писал профессор) – вот то физическое сочетание, которое сообщается фигурой странно громоздкого и занудного Призрака. От этого союза вскоре родится Фортинбрас (Железнобокий). Согласно извечным законам сцены, что предвещается, то должно быть воплощено: потрясение должно произойти во что бы то ни стало. Экспозиция

“Гамлета” мрачно обещает зрителям пьесу, в основе которой лежит попытка юного Фортинбраса вернуть земли, утраченные его отцом в пользу короля Гамлета. Таков конфликт, таков сюжет. Подспудное перенесение акцента с этой здоровой, энергичной и ясной нордической темы на хамелеонские настроения датчанина-импотента стало бы на современной сцене оскорблением детерминизма и здравого смысла.

Каковы бы ни были намерения Шекспира или Кида, нет никаких сомнений, что лейтмотивом, движущей силой действия является разложение гражданской и военной жизни Дании. Только представьте себе моральный дух какой угодно армии, где солдат, коему не должно бояться ни грома, ни тишины, заявляет, что у него “тоска на сердце”! Сознательно или бессознательно, автор “Гамлета” создал трагедию масс и, таким образом, обосновал верховенство общества над индивидом. Это, однако, вовсе не означает, что в пьесе нет реального, обеими ногами стоящего на земле героя. Он есть, но это не Гамлет. Настоящий герой пьесы, конечно, Фортинбрас, – цветущий молодой рыцарь, прекрасный и здравомыслящий до мозга костей. С Божьего соизволения этот славный нордический юноша забирает бразды правления в жалкой Дании, которой столь преступно плохо правил дегенеративный король Гамлет и жидо-латинец Клавдий.

Как свойственно всем упадочным демократиям, датчане в пьесе поголовно страдают преизбытком слов. Если государство нужно спасти, если нация желает быть достойной нового сильного правительства, тогда следует все изменить; народный здравый смысл должен отрыгнуть изысканную икру лунного света и поэзии, и простое слово, *verbum sine ornatu*[34], понятное как человеку, так и дикарю, и сопровождаемое подходящими действиями, должно воцариться вновь. Юный Фортинбрас обладает уходящими в древность притязаниями и наследственными правами на датский трон. Какой-то темный акт насилия или беззакония, какая-то низменная уловка со стороны вырождающегося феодализма, какая-то масонская интрига, сплетенная шейлоками крупных финансовых операций, лишила членов его семьи их справедливых притязаний, и тень этого преступления все время нависает на темном фоне, – до тех пор, пока в заключительной сцене идея массового правосудия не накладывает на пьесу печать исторического значения.

Для завоевания Польши (по крайней мере, в те времена) трех тысяч крон и приблизительно недельного досуга было бы мало; но этого вполне хватило для другой цели. Одурманенный вином Клавдий облапошен предложением Фортинбраса пройти через его владения на пути (в высшей степени окольном) в Польшу – с армией, собранной совсем для иной цели. Нет, грубым полякам не следует дрожать от страха: этого завоевания не случится, наш герой жаждет не их болот и лесов. Вместо того чтобы отправиться в порт, Фортинбрас, этот гениальный воин, затаится в засаде, и его слова “вперед, не торопясь” (которые он шепнул своим солдатам, послав Капитана поприветствовать Клавдия) могут означать лишь одно: идите вперед без спешки и схоронитесь в укрытии, пока враг (датский король) полагает, что вы отплыли в Польшу.

Истинный сюжет пьесы легко постигнуть, если осознать следующее: Призрак на зубчатых стенах Эльсинора – это не призрак короля

Гамлета. Это призрак Фортинбраса–старшего, убитого королем Гамлетом. Призрак жертвы, выдающий себя за призрака убийцы, – какая замечательная дальновидная стратегия, какое искреннее и глубокое восхищение она вызывает в нас! Бойкий и, очевидно, совершенно ложный отчет о смерти старого Гамлета, который дает этот замечательный самозванец, предназначен исключительно для того, чтобы посеять в государстве *innerliche Unruhe*[35] и подорвать моральный дух датчан. Яд, влитый в ухо спящему, это символ тонкого впрыскивания смертоносных слухов, символ, который едва ли могли пропустить мимо ушей граундлинги шекспировских времен. Таким образом, старик Фортинбрас, явившийся под видом призрака своего врага, роет яму его сыну и готовит собственному сыну триумфальное возвышение. Нет, “кары” не были случайными, “убийства” не были столь уж нечаянными, какими они представляются Горацио Протоколисту, и в гортанном восклицании молодого героя – “Ха-ха, добыча эта вопиет о бойне” (смысл: лисы пожрали друг друга), озирающего богатый трофей мертвецов – все, что осталось от прогнившего датского королевства, – звучит нота глубокого удовлетворения. Мы легко можем представить, как он добавляет в порыве грубоватой сыновьей благодарности: “Так-так, старый крот неплохо поработал!”

Но вернемся к Озрику. Говорливый Гамлет только что беседовал с черепом шута; а теперь череп шутливой смерти говорит с Гамлетом. Обратите внимание на примечательное сопоставление: череп – скорлупа; “Побежала пигалица со скорлупкой на макушке”. “Озрик” и “Йорик” почти рифмуются, за исключением того, что *yolk* (желток) одного стал костью (*os*) другого. Смешивая язык ссудной лавки и парусной посуды, этот посредник, облаченный в костюм фантастического подхалима, продает смерть, ту самую смерть, которой Гамлет только что избежал на море. Дуплет с крылышками и цветистые обиняки скрывают глубокую целеустремленность, смелый и хитрый ум. Кто же он, этот церемониймейстер? Это лучший шпион Фортинбраса».

«Что ж, теперь ты имеешь довольно полную картину того, с чем мне приходится мириться».

Круг не может сдержать улыбки, выслушивая жалобы маленького Эмбера. Он замечает, что вся эта катавасия чем-то напоминает ему повадки Падука. Я имею в виду эти замысловатые конволюции полнейшего вздора. Чтобы подчеркнуть отрешенность художника от жизни, Эмбер отвечает, что не знает и не хочет знать (многословное отторжение), кто такой этот Падук или Падок – *bref, la personne en question*[36]. Круг в виде объяснения рассказывает Эмберу о своей поездке на Озера и чем все это закончилось. Эмбер, разумеется, потрясен. Он живо представляет себе Круга и мальчугана, блуждающих по комнатам опустевшего дома, в котором часы (одни в столовой, другие на кухне), вероятно, все еще идут, одинокие, невредимые, с трогательной преданностью поддерживающие человеческое представление о времени после исчезновения самого человека. Он задается вопросом, успел ли Максимов получить то хорошо написанное письмо, которое он послал ему с сообщением о смерти Ольги и беспомощном состоянии Круга. Что мне сказать? Священник принял старика с затуманенным взором, относящегося к партии Виолы, за самого вдовца и, произнося надгробную речь (пока прекрасное большое тело горело за толстой

стеной), все время обращался к этому господину, кивавшему в ответ. Даже не дядя, даже не любовник ее матери.

Эмбер отворачивается к стене и разражается слезами. Чтобы перевести разговор на менее эмоциональный уровень, Круг рассказывает ему об одном любопытном субъекте, своем попутчике в Соединенных Штатах, безумно мечтавшем экранизировать «Гамлета».

«Мы бы начали, – говорил он, – с –

Призрачных приматов, завернутых в саваны,

бредущих дрогнувшими улицами Рима.

С луны под капюшоном...

Затем: крепостные стены и башни Эльсинора, его драконы и вычурная ковка, луна, превращающая гонтовое покрытие кровель в рыбу чешую, в кожу русалки, умноженную двускатными крышами, которые мерцают в абстрактном небе, и зеленая звезда светлячка на площадке перед темным замком. Свой первый монолог Гамлет произнес бы в запущенном, заросшем сорняками саду. Лопухи и чертополох – главные захватчики. На любимом садовом стуле покойного короля раздувается и моргает жаба. Где-то – всякий раз, как новый король опустошает чашу с вином – гремит пушка. По закону сновидения и закону экрана, пушка плавно преобразуется в кривизну гнилого ствола в саду. Этот ствол, подобно пушке, нацелен в небо, где на миг искусные петли сероватого дыма образуют плывущее слово “самоубийство”.

Был бы Гамлет в Виттенберге, вечно опаздывающий, пропускающий лекции Дж. Бруно, никогда не сверяющийся с часами, полагающийся на отстающий хронометр Горацио, обещающий прийти на площадку в двенадцатом часу и приходящий после полуночи.

Был бы лунный свет, на цыпочках следующий за Призраком, забранным в боевую броню, – отблеск то ложится на округлый наплечник, то скользит по набедренникам.

Еще бы мы увидели, как Гамлет волочит мертвого Человека-Крысу из-под гобелена, и по полам, и вверх по винтовой лестнице, чтобы спрятать его в темном коридоре, время от времени озаряемом игрой света, когда швейцарцев с факелами отправляют на поиски тела. Другие острые ощущения доставит облаченная в бушлат фигура Гамлета, который, невзирая на бушующие волны и не замечая брызг, карабкается по тюкам и бочонкам с датским маслом и пробирается в каюту, где в общей койке храпят Розенстерн и Гильденкранц, эти благородные взаимозаменяемые близнецы, “которые пришли исцелить и ушли, чтоб умереть”».

По мере того, как за вагонным окном мужского салона проносились полынные пустоши и покрытые леопардовыми пятнами холмы, открывалось

все больше изобразительных возможностей. «Мы могли бы увидеть, говорил он (это был потрепанный человек с ястребиным лицом, чья академическая карьера внезапно оборвалась из-за нехоти приключившейся любовной связи), Р., следующего по пятам за молодым Л. по Латинскому кварталу; Полония, в юные годы играющего Цезаря на сцене университетского театра; и как череп в руках Гамлета, затянутых в перчатки, обретает (с разрешения цензора) черты живого шута; возможно даже могучего старого короля Гамлета, разящего боевым топором поляков, которые скользят и растягиваются на льду. Тут он достал из заднего кармана фляжку и сказал: “Глотните”. Он прибавил, что, судя по ее бюсту, думал, что ей по меньшей мере восемнадцать, а этой сучке на самом деле едва исполнилось пятнадцать. А затем – смерть Офелии. Вот под звуки “Les Funérailles”[37] Листа она предстает схватившейся – или, как мог бы сказать отец другой русалки, “успохватившейся” – с ивой. Дива, ива. Он предполагал здесь боковой план прозрачной водной глади. Чтобы запечатлеть, как поток несет листок. Затем в кадре вновь ее белая ручка, держащая венок, – она пытается дотянуться, старается увенчать завистливый сучок. Тут возникает трудность: как в драматической форме показать то, что в дозвуковые времена было *pièce de résistance*[38] комических короткометражных фильмов, – трюк с внезапным намоканием. Человек-ястреб в туалетной комнате салона заметил (между сигарой и плевательницей), что эту трудность можно было бы деликатно преодолеть, показав только ее тень, ее падающую тень, как она падает и мелькает за краем дернистого берега в дожде теневых цветов. Представляете? Затем: гирлянда, несомая потоком. Та аскетическая кожа, на которой они сидели, оставалась самым последним пережитком филогенетической связи между современной высокодифференцированной идеей Пульмана и скамейкой примитивного дилижанса: от овса к нефти. Теперь – и только теперь – мы видим ее, сказал он, – лежащей на спине в ручье (который далее ветвится, образуя в конечном счете Рейн, Днепр и Тополиный каньон или Новый Эйвон) в тусклом эктопластическом облаке намокших, разбухших, помпезно подбитых ватой одежд и мечтательно-монотонно напевающей “Эй, нон нони, нонни” или какой-нибудь другой старый хвалебный гимн. Пение преобразуется в перезвон колокольчиков, и теперь мы видим вольного пастуха на болотистой земле, где растет *Orchis mascula*[39]: старинные лохмотья, выгоревшая на солнце борода, пять овец и один очаровательный ягненок. Важная деталь, этот ягненок, несмотря на краткость – один удар сердца – буколической темы. Песенка переходит к пастуху королевы, а ягненок переходит к ручью».

Рассказ Круга возымел желаемый эффект. Эмбер перестает всхлипывать. Он слушает. Затем улыбается. Наконец, он проникается духом игры. Да, ее нашел пастух. Собственно, ее имя может восходить к имени влюбленного аркадского пастушка. Или, вполне возможно, это анаграмма от «*Alpheios*», где буква «с» потерялась в сырой траве, – речной бог Алфей, который преследовал длинноногую нимфу, пока Артемида не превратила ее в ручей, что, конечно, в точности отвечало его текучести (ср. «Виннипег Лейк», журчание 585, издание «Вико-Пресс»). Или, опять же, мы можем вывести его из греческого перевода древнего датского змеиноного имени. Лилейно-гибкая, лепечущая, тонкогубая Офелия, влажный сон Амлета, русалка из Леты, редкая водяная змея, *Russalka letheana*[40] ученых (под стать твоим «лиловым змейкам»).

Пока он забавлялся с немецкими служанками, она дома, у запертого окна, стекла которого дребезжали от порывов ледяного весеннего ветра, невинно флиртовала с Озриком. Ее кожа была столь нежной, что достаточно было взглянуть на нее, чтобы на ней проступило красноватое пятнышко. Необычная простуда боттичелливого ангела придавала розоватый оттенок ее ноздрям и верхней губе, – знаете, когда краешки губ сливаются с кожей. Она тоже оказалась легкодоступной стряпухой, но на кухне вегетарианца. Офелия, готовая услужить. Умерла при покорном служении. Прекрасная Офелия. Первое фолио с несколькими точными исправлениями и рядом грубых ошибок. «Мой дорогой друг, – мог бы сказать Гамлет Горацио, если бы мы пожелали, – она была чертовски выносливой, несмотря на мягкость своего тела. И скользкой: букетик из угрей. Она была одной из тех хрупких на вид, светлоглазых, очаровательно–стройных лицемерных змееподобных дев, которые одновременно и пылко истеричны, и безнадежно фригидны. Бестрепетно, с каким-то дьявольским изяществом, она семенила по своей опасной стезе, намеченной тщеславием ее отца. Даже помешавшись, она продолжала дразнить свой секретик перстом мертвеца. Который продолжал указывать на меня. Ах, конечно, я любил ее, как сорок тысяч братьев, не разлей вода, как те сорок разбойников (терракотовые кувшины, кипарис, полумесяц как ноготь), но мы все ученики Ламорда, если ты понимаешь, о чем я». Он мог бы добавить, что застудил голову во время пантомимы. Розовые жабры ундины, арбуз со льдом, *l'aurore grelottant en robe rose et verte*[41]. Ее грязноватые колени.

Коль уж зашла речь о словесном помете на ветхой шляпе немецкого ученого, Круг предлагает заодно разобрать имя Гамлета. Возьмем «Телемах», – говорит он, – что означает «сражающийся издалека» – что, опять же, соответствует представлениям Гамлета о приемах ведения войны. Если подрезать, убрать ненужные буквы, все эти второстепенные добавления, то мы получим древнее Телмах. А теперь прочтем в обратном порядке. Так прихотливый писатель умыкает распутную идею, и Гамлет на обратной передаче превращается в сына Улисса, убивающего любовников своей матери. *Worte, worte, worte*[42]. Войте, войте, войте. Мой любимый комментатор – Чишвиц (Tschischwitz), бедлам согласных звуков – или *soupir de petit chien*[43].

Эмбер, однако, еще не до конца разделся с девицей. Поспешно вставив, что Эльсинор – это анаграмма Розалины, что не лишено кое-каких возможностей, он возвращается к Офелии. Он говорит, что она ему по душе. Вопреки мнению Гамлета, она обладала шармом, каким-то душераздирающим очарованием: эти быстрые серо-голубые глаза, внезапный смех, мелкие ровные зубы, выдерживание паузы, чтобы убедиться, что ты не потешаешься над ней. Колени и икры, хотя и довольно стройные, были у нее немного слишком крепкими по сравнению с тонкими руками и легкой грудью. Ладони у нее были как сырые воскресные дни, и она носила на шее крестик, тоненькая золотая цепь которого, казалось, в любой миг могла срезать крошечную изюминку, запекшийся, но все еще прозрачный пузырек голубиной крови. Затем ее утреннее дыхание, отдававшее нарциссами перед завтраком и простоквашей после. Какие-то неладья с печенью. Мочки ушей были обнажены, хотя в них и были аккуратно продеты крошечные кораллы – не

жемчужины. Сочетание всех этих черт, ее острые локти, очень светлые волосы, высокие блестящие скулы и едва заметный белесый пушок (такой нежно-щетинистый с виду) в уголках губ, напоминает ему (говорит Эмбер, вспоминая детство) одну анемичную горничную-эстонку, трогательно разведенные в стороны маленькие грудки которой бледно болтались за блузкой, когда она наклонялась – низко, очень низко, – чтобы натянуть ему на ноги полосатые носки.

Тут Эмбер внезапно повышает голос до раздраженного крика отчаяния. Он говорит, что вместо этой настоящей Офелии на роль выбрана невозможная Глория Беллхаус, безнадежно пухлая, с губами как туз червей. Его особенно возмущают оранжевые гвоздики и лилии, которыми ее снабжает администрация для игры в сцене «безумия». Они с постановщиком, вслед за Гёте, представляют Офелию в виде какого-то консервированного персика: «все существо ее преисполнено сладкой спелой страстью», – замечает Иоганн Вольфганг, нем. поэт, ром., драм. и филос. О ужас.

«Или ее папаша... Мы все знаем и любим его, разве нет? – и так легко было бы сыграть его как следует: Полоний – Панталоний, старый дурак в стеганом халате, шаркающий коврами ночными туфлями и следующий за своими повисшими на кончике носа очками, ковыляя из комнаты в комнату, несколько женоподобный, сочетающий в себе и папу, и маму, гермафродит с широким тазом евнуха. А вместо этого взят высокий, чопорный господин, сыгравший Меттерниха в “Мировых вальсах” и желающий до конца своих дней оставаться мудрым и коварным вельможей. О великий ужас!»

Дальше еще хуже. Эмбер просит своего друга подать ему книгу – нет, красную. Прости, другую красную.

«Как ты, вероятно, заметил, Гонец упоминает некоего Клавдио, который передал ему письма, полученные этим Клавдио “от тех, кто их принес” [с корабля]; нигде больше в пьесе этот человек не упоминается. А теперь откроем вторую книгу великого Хамма. И что же он делает? Вот. Он берет этого Клавдио и – ладно, просто послушай».

«Что он был королевским шутом следует из того факта, что в немецком оригинале (“Bestrafter Brudermord”[44]) новости приносит шут Фантазмо – удивительно, что никто до сих пор не удосужился проследить эту прототипическую подсказку. Не менее очевидно и то, что для Гамлета, пребывающего в настроении играть словами и подпустить шпильку, конечно, имело бы особое значение, чтобы моряки передали его послание королевскому шуту, поскольку он, Гамлет, подшутил над королем. Наконец, если мы вспомним, что в те времена придворный шут нередко брал имя своего господина, лишь слегка меняя его окончание, то картина становится полной. Таким образом, у нас здесь прелюбопытная фигура итальянского или итальянизированного придворного шута, бродящего по мрачным залам северного замка, человека лет сорока, но столь же живого, каким он был в молодости, двадцать лет тому назад, когда он сменил Йорика. В то время как Полоний был “отцом” хороших вестей, Клавдио стал “дядюшкой” дурных. Характер у него более утонченный, чем у мудрого старого добряка. Он опасается прямо обратиться к королю с посланием, с которым его

ловкие пальцы и любопытные глаза уже ознакомились. Он знает, что не может так запросто подойти к королю и сказать: “Ваша брага прокисла”, – подразумевая под брагой бороду, которая “обвисла” (вам натянули бороду – натянули нос). И вот с исключительной хитростью он придумывает уловку, которая говорит скорее о крепости его ума, чем о стойкости его морали. Что же это за уловка? Она намного изощреннее всего того, что когда-либо мог измыслить “бедный Йорик”. Пока матросы спешат в те обители удовольствий, какие может предложить долгожданный порт, Клавдио, этот темноглазый интриган, снова аккуратно запечатывает вскрытое им опасное письмо и буднично передает его другому гонцу, “Гонцу” пьесы, который невинно и доставляет его королю».

Ну довольно об этом, давайте послушаем сделанный Эмбером перевод знаменитых строк:

Ubit' il' ne ubit'? Vot est' oprosen.

Vto bude edler: v rasume tzerpieren

Ogneprashchi i strely zlovo roka –

(или как бы это мог передать француз:)

L'égorgerai-je ou non? Voici le vrai problème.

Est-il plus noble en soi de supporter quand même

Et les dards et le feu d'un accablant destin – [45]

Да, я все еще продолжаю шутить. А теперь мы переходим к настоящему переводу:

Там, над ручьем, растет наклонно ива,

В воде являя листьев седину;

Гирлянды фантастические свив

Из этих листьев – с примесью ромашек,

Крапивы, лютиков –

Видишь ли, мне приходится выбирать своих комментаторов.

Или этот сложный отрывок:

Не думаете ли вы, сударь, что вот это [песнь о раненом олене], да лес перьев на шляпе, да две камчатые розы на прорезных башмаках могли бы, коль фортуна задала бы мне турку, заслужить мне участие в театральной артели; а, сударь?

Или начало моей любимой сцены.

Сидя вот так и слушая перевод Эмбера, Круг не может не дивиться странности этого дня. Он представляет, как когда-нибудь в будущем вспомнит этот определенный момент. Он, Круг, сидящий у кровати Эмбера. Эмбер, с поднятыми под стеганым покрывалом коленями, читающий фрагменты белых стихов с обрывков бумаги. Круг недавно потерял жену. Новый политический режим потряс город. Двоих людей, к которым он относился с нежностью, похитили и, возможно, казнили. Но в комнате было тепло и тихо, и Эмбер был погружен в «Гамлета». И Круг подивился странности этого дня. Он внимал бархатным интонациям звучавшего в комнате голоса (отец Эмбера был персидским купцом) и старался разложить свое впечатление на простые элементы. Природа однажды произвела на свет англичанина, куполообразная голова которого вмещала улей слов; человека, которому довольно было дохнуть на любую частицу своего огромного словарного запаса, чтобы эта частица начала оживать, расширяться, выпускать дрожащие щупальца, — пока не превратится в сложный образ с пульсирующим мозгом и согласованными конечностями. Три столетия спустя другой человек, в другой стране, пытался передать эти размеры, ритмы и метафоры на другом языке. Этот процесс потребовал необыкновенно много труда, необходимость которого не могла быть обоснована никакими объективными причинами. Это было похоже на то, как если бы кто-то, увидев дуб (далее называемый Определенный Д), растущий в некой местности и отбрасывающий собственную уникальную тень на зелено-бурую почву, решил установить в своем саду необыкновенно сложную конструкцию, которая сама по себе столь же отличалась от этого или любого другого дерева, как отличны вдохновение и язык переводчика от авторских, но которая благодаря хитроумной комбинации деталей, световым эффектам и двигателям, производящим легкий ветерок, могла бы после завершения работы отбрасывать тень, в точности похожую на тень Определенного Д — те же очертания, меняющиеся тем же образом, с такими же двойными или одиночными солнечными пятнами, колеблющимися в том же положении и в то же время дня. С практической точки зрения подобная трата времени и материала (о эти мигрени, о эти полуночные триумфы, которые оборачиваются провалами при трезвом утреннем свете!) была почти преступно абсурдной, поскольку величайший шедевр имитации предполагает добровольное ограничение сознания ради подчинения чужому гению. Может ли чудо адаптивной техники, тысячи приемов театра теней, острое удовольствие, которое испытывают ткачи слов и их свидетель при каждом новом хитросплетении в текстуре, компенсировать эти самоубийственные ограничения и подчиненность, или же в конечном счете это не более чем утрированное и одухотворенное подобие пишущей машинки Падука?

«По душе ли тебе? Годится ли?» – с тревогой спросил Эмбер.

«По-моему, это чудесно», – сказал Круг, хмурясь.

Он встал и прошелся по комнате.

«Некоторые строчки нужно отполировать, – продолжил он, – и мне не нравится цвет рассветного плаща – я вижу “russet” [красновато-коричневый] менее кожистым, менее пролетарского оттенка, но, может быть, ты и прав. Все это в самом деле замечательно».

С этими словами он подошел к окну и рассеянно посмотрел во двор, глубокий колодец, полный света и тени (ведь, как ни удивительно, был ранний вечер, а не середина ночи).

«Я так рад, – сказал Эмбер. – Конечно, нужно еще переделать уйму разных мелочей. Думаю, я буду придерживаться “laderod karpe”».

«Некоторые его каламбуры... – начал Круг. – Ну и ну, как странно!»

До его сознания дошло увиденное во дворе. Там, в нескольких шагах друг от друга стояли два шарманщика, ни один из которых не играл – сверх того, оба выглядели подавленными и растерянными. Несколько уличных мальчишек с тяжелыми подбородками и зигзагообразными профилями (один из них держал за веревку игрушечную тележку) молча на них смотрели.

«Никогда в жизни, – сказал Круг, – я не видел двух шарманщиков в одном дворе в одно время».

«Я тоже, – признался Эмбер. – А сейчас я прочту тебе –»

«Интересно, что там случилось? – сказал Круг. – Они выглядят крайне напуганными и не играют или не могут играть».

«Вероятно, один из них вторгся на территорию другого», – предположил Эмбер, перебирая свежую пачку страниц.

«Вероятно», – сказал Круг.

«И возможно, каждый боится, что другой сразу перебьет какой-нибудь своей мелодией мелодию другого, едва один из них начнет».

«Возможно, – сказал Круг. – Тем не менее картина весьма необычная. Шарманщик – само воплощение единичности. А здесь у нас абсурдная двойственность. Они не играют, но все же смотрят вверх».

«А сейчас я приступаю, – сказал Эмбер, – к чтению –»

«Я знаю представителей еще только одной профессии, – сказал Круг, – обращающих глаза ввысь таким же движением. И это наше духовенство».

«Хорошо, Адам, садись и слушай. Или я тебе наскучил?»

«О, что ты, – сказал Круг, снова садясь на свой стул. – Я лишь пытался понять, что именно не так. Мальчишки, похоже, тоже озадачены их молчанием. Есть во всем этом что-то знакомое, что-то, что я не могу до конца разобрать – определенный образ мыслей...»

«Главная трудность, с которой сталкивается переводчик следующего отрывка, – сказал Эмбер, облизывая толстые губы после глотка пунша и поудобнее откидываясь на большую подушку, – главная трудность –»

Его прервал отдаленный звук дверного звонка.

«Ты кого-нибудь ждешь?» – спросил Круг.

«Никого определенного. Может быть, кто-нибудь из этих сотоварищей актеров пришел посмотреть, не умер ли я. Они будут разочарованы».

Звук удаляющихся шагов слуги по коридору. Шаги вернулись.

«Господин, к вам джентльмен и леди», – сказал он.

«Чорт бы их побрал, – сказал Эмбер. – Будь так добр, Адам...»

«Да, конечно, – отозвался Круг. – Сказать им, что ты спишь?»

«И не брит, – ответил Эмбер. – И что горю желанием продолжить чтение».

В коридоре бок о бок стояли красивая леди в сизом, сшитом у портного костюме, и джентльмен с лоснящимся красным тюльпаном в петлице визитки.

«Мы – », – начал джентльмен, роясь в левом кармане брюк и как-то извиваясь при этом, как если бы он страдал судорогами или был неудобно одет.

«Господин Эмбер лежит в постели с простудой, – сказал Круг, – и попросил меня –»

Джентльмен поклонился:

«Я прекрасно понимаю, но это (свободной рукой он протянул карточку) сообщит вам мое имя и должность. Как вы можете видеть, я выполняю приказы. Необходимость их немедленного исполнения оторвала меня от моих очень частных обязанностей хозяина. Я тоже принимал гостей. И бесспорно, господин Эмбер, если его так зовут, станет действовать столь же быстро, что и я. Это моя секретарь, – на самом деле нечто большее, чем секретарь».

«Ах, оставь, Густав, – сказала леди, слегка толкая его локтем. – Уверена, что профессору Кругу нет дела до наших отношений».

«Наших отношений? – сказал Густав, глядя на нее с выражением нежной игривости на аристократическом лице. – Скажи-ка еще раз. Звучит

пленительно».

Она опустила густые ресницы и надула губки.

«Я не о том, на что ты намекаешь, гадкий мальчишка. Профессор подумает Gott weiss was»[46].

«Это прозвучало, – нежно продолжал Густав, – как ритмичный скрип пружин одной синей кушетки в одной из гостевых комнат».

«Довольно. Это точно никогда не повторится, если будешь таким противным».

«Теперь она сердита на нас, – вздохнул Густав, поворачиваясь к Кругу. – Остерегайтесь женщин, как говорит Шекспир! Что ж, я должен исполнить свой печальный долг. Ведите меня к пациенту, профессор».

«Одну минуту, – сказал Круг. – Если вы не актеры, если это не какой-то дурацкий розыгрыш –»

«О, я знаю, что вы хотите сказать, – промурлыкал Густав. – Вас удивляет этот флёр утонченной жизни, не так ли? Люди представляют себе такого рода вещи в образах отвратительной жестокости и смятения, прикладов винтовок, грубых солдат, грязных сапог – und so weiter[47]. Но начальникам известно, что господин Эмбер – человек искусств, поэт, натура тонкая, и было решено, что немного изысканности и чего-нибудь необычного при аресте, атмосфера светской жизни, цветы, аромат женской красоты могли бы скрасить это суровое испытание. Отметьте, пожалуйста, что я пришел в штатском. Быть может, это выглядит диковинно, согласен, но только представьте себе его чувства, если бы мои неотесанные помощники (он указал большим пальцем свободной руки в сторону лестницы) вдруг ворвались сюда и начали крушить мебель».

«Покажи профессору ту большую уродливую штуку, которая болтается у тебя в кармане, Густав».

«Скажи-ка еще раз?»

«Я говорю о твоём пистолете, разумеется», – сухо сказала дама.

«Ах вот о чем. Я тебя неверно понял. Но к этому мы вернемся позже. Не обращайтесь на нее внимания, профессор, она склонна преувеличивать. На самом деле ничего особенного, оружие как оружие. Обычная казенная вещичка, номер 184682, десятки таких можно увидеть в любое время».

«Пожалуй, с меня хватит, – сказал Круг. – Не очень мне верится в пистолеты и – Ладно, неважно. Можете засунуть его обратно. Я хочу знать только одно: вы намерены забрать его прямо сейчас?»

«Ага», – сказал Густав.

«Я найду способ пожаловаться на эти чудовищные вторжения, – прорычал Круг. – Так больше продолжаться не может. Они были совершенно

безобидной пожилой парой, и их здоровье оставляло желать лучшего. Вы непременно пожалеете об этом».

«Мне сейчас пришло в голову, – заметил Густав своей прекрасной спутнице, когда они шли по квартире за Кругом, – что перед нашим уходом полковник слегка перебрал шнапса, так что я сомневаюсь, что твоя сестренка к нашему возвращению останется совсем-совсем нетронутой».

«А я подумала, какую ужасно забавную историю он рассказал о двух моряках и varbok'e [разновидность пирога с отверстием посередине для растопленного масла], – сказала леди. – Ты должен пересказать ее господину Эмберу – он писатель и может вставить ее в свою следующую книгу».

«Ну, если уж на то пошло, то твой собственный прелестный ротик – », – начал Густав, но они подошли к двери спальни, и леди скромно осталась позади, когда Густав, вновь на шаривающим движением запустив руку в карман штанов, порывисто вошел в комнату вслед за Кругом.

Слуга отставлял от кровати midu [инкрустированный столик]. Эмбер с помощью зеркала проверял состояние своего нёбного язычка.

«This idiot here has come to arrest you»[48], – сказал Круг по-английски.

Густав, который с порога спокойно улыбался Эмберу, вдруг нахмурился и подозрительно взглянул на Круга.

«But surely this is a mistake, – сказал Эмбер. – Why should anyone want to arrest me?»[49]

«Heraus, Mensch, marsch»[50], – сказал Густав слуге, и когда тот вышел, обратился к Кругу: – Мы не в школе, профессор, так что, пожалуйста, используйте язык, который понятен всем. Когда-нибудь в другой раз я, может быть, попрошу вас научить меня датскому или голландскому; сейчас же, однако, я нахожусь при исполнении обязанностей, которые, возможно, отвратительны мне и мисс Баховен не меньше вашего. Посему я должен обратить ваше внимание на то обстоятельство, что хотя я и не прочь добродушно подшутить –»

«Постойте, постойте! – вскричал Эмбер. – Я знаю, в чем дело. Это потому, что я не открыл вчера окна, когда начали вещать эти очень громкие говорители. Но я могу объяснить... Мой доктор может засвидетельствовать, что я болен. Адам, все в порядке, нет причин для волнения».

Из гостиной донесся звук нажатия праздным пальчиком клавиши холодного рояля, и слуга Эмбера вернулся с носильными вещами, перекинутыми через руку. Лицо мужчины было цвета телятины; он старался не смотреть на Густава. В ответ на удивленный возглас своего господина он сказал, что леди в гостиной велела ему одеть хозяина, если он не хочет, чтобы его пристрелили.

«Но это же нелепо! — воскликнул Эмбер. — Я не могу взять и прыгнуть в свою одежду. Сперва я должен принять ванну, я должен побриться».

«В том приятном тихом местечке, куда вы направляетесь, есть парикмахер, — сообщил благожелательный Густав. — Вставайте-ка, ну же, вам, знаете, не следует быть таким непослушным».

(Что, если я отвечу «нет»?)

«Я отказываюсь одеваться, пока вы все на меня пялитесь», — заявил Эмбер.

«Мы не смотрим», — сказал Густав.

Круг вышел из комнаты и направился мимо рояля в кабинет. Мисс Баховен поднялась с рояльного стула и проворно догнала его.

«Ich will etwas sagen [Хочу кое-что сказать], — проговорила она и опустила свою легкую руку ему на рукав. — Только что, когда мы беседовали, у меня сложилось впечатление, что вы считаете нас с Густавом довольно глупыми молодыми людьми. Но это всего лишь его манера, знаете ли, постоянно отпускать witze [шуточки] [51] и дразнить меня, а на самом деле я не такая девушка, за которую вы могли меня принять».

«Эти безделушки, — сказал Круг, касаясь полки, мимо которой проходил, — не представляют большой ценности, но он ими дорожит, и если вы положили в свою сумочку маленькую фарфоровую сову, которой я не вижу —»

«Профессор, мы не воры», — очень тихо сказала она, и, должно быть, у него было каменное сердце, ибо он не устыдился своих дурных мыслей, когда она стояла перед ним, узкобедрая блондинка с парой симметричных грудей, влажно вздымавшихся среди оборок белой шелковой блузки.

Он подошел к телефону и вызвал номер Гедрона. Гедрона не было дома. Он поговорил с его сестрой. После этого он обнаружил, что сидит на шляпе Густава. Девушка снова подошла к нему и открыла свою белую сумочку, показывая, что не украла ничего, имеющего коммерческую или сентиментальную ценность.

«Можете и меня обыскать, — с вызовом сказала она, расстегивая жакет. — Только чур не щекотать», — добавила притворно невинная, слегка вспотевшая немецкая девушка.

Он вернулся в спальню. Густав у окна листал энциклопедию, ища возбуждающие слова на «ч» и «в». Полуодетый Эмбер стоял с желтым галстуком в руке.

«Et voilà... et me voici... — сказал он с детской жалобной ноткой в голосе. — Un pauvre bonhomme qu'on traîne en prison. Oh, я совсем не хочу туда! Адам, неужели ничего нельзя сделать? Прошу, придумай что-нибудь! Je suis souffrant, je suis en détresse. Если они начнут меня

пытать, я признаюсь, что готовил *сoup d'état*»[52].

Слуга, которого звали или когда-то звали Иваном, стуча зубами и прикрыв глаза, помог своему несчастному господину натянуть пальто.

«Можно мне теперь войти?» – спросила мисс Баховен с какой-то музыкальной застенчивостью. И она медленно вошла, покачивая бедрами.

«Да посмотрите же, господин Эмбер, – воскликнул Густав. – Я хочу, чтобы вы восхитились леди, которая согласилась украсить ваш дом».

«Ты неисправим», – проговорила мисс Баховен с кривой улыбкой.

«Садись, дорогуша. На кровать. Садитесь, господин Эмбер. Садитесь, профессор. Минута молчания. Поэзия и философия должны призадуматься, пока красота и сила – Ваша квартира прекрасно отапливается, господин Эмбер. А теперь, если я буду совсем, совсем уверен, что вы двое не попытаетесь сделать так, чтобы вас пристрелили те, кто снаружи, то я просил бы вас выйти из комнаты, пока мы с мисс Баховен задержимся в ней для короткого совещания. Мне это нужно позарез».

«Нет, *Liebling*[53], нет, – сказала мисс Баховен. – Уйдем отсюда. Мне тошно от этой квартиры. Мы сделаем это дома, дорогой».

«По-моему, прекрасное место», – укоризненно пробормотал Густав.

«*Il est saoul*»[54], – сказал Эмбер.

«Признаться, эти зеркала и ковры вызывают во мне такие мощные восточные позывы, перед которыми я не в силах устоять».

«*Il est complètement saoul*»[55], – сказал Эмбер и начал всхлипывать.

Хорошенькая мисс Баховен крепко взяла своего друга за руку и после недолгих увещаний заставила его проводить Эмбера к ожидавшему их черному полицейскому автомобилю. Когда они ушли, Иван впал в истерику, принес с чердака старый велосипед, спустил его по лестнице и уехал. Круг запер квартиру и медленно побрел домой.

8

В лучах заходящего солнца город предстал неожиданно красочным: кончался один из Ярких Дней, характерных для этой местности. Они наступают сразу после первых заморозков, к радости иностранных туристов, посетивших Падукград в это время года. От грязи, оставшейся после недавних дождей, текли слюнки – такой жирной она казалась. Фасады домов с одной стороны улицы заливал янтарный свет, выделявший каждую, о, каждую деталь; некоторые здания украшали мозаичные узоры, – к примеру, на главном городском банке были изображены серафимы среди юккообразной флоры. На свежей синей краске бульварных скамеек дети пальцами вывели: «Слава Падуку» – верный способ насладиться свойствами липкой субстанции, не опасаясь, что

полицейский, застывшая улыбка которого указывала на затруднительность его положения, надерет тебе уши. В безоблачном небе висел рубиново-красный воздушный шарик. Чумазые трубочисты и перепачканные мукой молодые пекари братались в открытых кафе, где топили свою древнюю вражду в сидре и гренадине. Посреди тротуара лежали мужская резиновая галоша и окровавленная манжета, и прохожие обходили их стороной, не замедляя при этом шага, не глядя на эти предметы и вообще никак не проявляя своего внимания к ним – разве что сходили с панели в грязь и потом снова на нее возвращались. Витрина дешевого магазина игрушек была пробита пулей, и когда Круг приблизился, оттуда вышел солдат с чистым бумажным пакетом и принялся запихивать в него галошу и манжету. Вы убираете препятствие, и муравьи возобновляют свой прямой маршрут движения. Эмбер никогда не носил съемных манжет, и он бы не рискнул выпрыгнуть на ходу из автомобиля – и бежать, и задыхаться, убегая и пригибаясь, как сделал тот несчастный. Это становится невыносимым. Я должен проснуться. Число жертв моих кошмаров растет слишком быстро, думал Круг, идя по улице, – грузный, в черном пальто, с черной шляпой, расстегнутое пальто широко распахнуто, а широкополую фетровую шляпу он несет в руке.

Слабость привычки. Бывший чиновник, очень *ancien régime*[56] пожилой господин, избежал ареста или чего похуже тем, что ускользнул из своей элегантной пыльно-плюшевой квартиры (переулок Перегольм, 4) и поселился в неисправном лифте того дома, в котором жил Круг. Несмотря на табличку «Не работает» на двери, этот странный автомат Адам Круг неизменно привычно входил внутрь и видел испуганное лицо и седую эспаньолку измученного беглеца. Страх, однако, тут же сменялся светским проявлением гостеприимства. Старик ухитрился превратить свое узкое жилище в довольно уютную каморку. Он был опрятно одет и гладко выбрит и с простительной гордостью демонстрировал такие приспособления, как, например, спиртовка и пресс для брюк. У него был баронский титул.

Круг неучтиво отказался от предложенной ему чашки кофе и затопал в собственную квартиру. В комнате Давида его ждал Гедрон: ему сказали о телефонном звонке Круга; он тут же пришел. Давид не хотел, чтобы они покидали детскую, и пригрозил, что встанет с кровати, если они уйдут. Клодина принесла мальчику ужин, но он отказался есть. До кабинета, куда удалились Круг и Гедрон, доносился его спор с женщиной.

Они обсуждали, что можно сделать: намечали решительный план действий, хорошо понимая, что ни этот план, ни какой-либо другой не помогут. Им хотелось выяснить, почему были задержаны люди, не имеющие никакого политического значения: хотя, конечно, они могли бы догадаться о причине, простой причине, которая будет им явлена полчаса спустя.

«Между прочим, двенадцатого у нас снова собрание, – заметил Гедрон. – Боюсь, ты вновь будешь главным гостем».

«Ну уж нет, – сказал Круг. – Я там не появлюсь».

Гедрон аккуратно вытряхнул черное содержимое трубки в бронзовую пепельницу, стоявшую у его локтя.

«Мне пора, – сказал он со вздохом. – На ужин придут китайские делегаты».

Он имел в виду группу иностранных физиков и математиков, которых пригласили на конгресс, отмененный в последний момент. Несколько менее важных участников не уведомили об отмене, и они проделали весь долгий путь впустую.

У двери, перед тем как уйти, он посмотрел на шляпу у себя в руке и сказал:

«Надеюсь, она не страдала... Я –»

Круг затряс головой и поспешно открыл дверь.

Лестница представляла собой удивительное зрелище. Густав, на этот раз одетый по всей форме, сидел на ступеньках с выражением крайнего уныния на опухшем лице. Четверо солдат в различных позах образовали вдоль стены батальный барельеф. Немедленно окруженному Гедрону предъявили ордер на арест. Один из солдат оттолкнул Круга с дороги. Произошло что-то вроде неуклюжей потасовки, в ходе которой Густав потерял равновесие и кубарем скатился по ступенькам, увлекая за собой Гедрона. Круг попытался последовать за солдатами, но его заставили отступить. Грохот стих. И легко было представить, как во тьме своего необычного убежища съежился барон, все еще не смеющий верить, что его до сих пор не схватили.

9

Держа сомкнутые ладони ковшиком, дорогая, и продвигаясь осторожными неуверенными шажками человека преклонных лет (хотя тебе едва исполнилось пятнадцать), ты переступила порог, остановилась, локтем мягко открыла стеклянную дверь, прошла мимо зачехленного рояля, пересекла череду прохладных, пахнущих гвоздиками комнат, нашла свою тетку в *chambre violette*[57]...

Знаешь, я хочу, чтобы вся сцена повторилась сызнова. Да, с самого начала.

Поднимаясь по каменным ступеням крыльца, ты не отрывала глаз от сложенных ладоней, от розовой щели между большими пальцами. Ах, что же у тебя там? Теперь продолжай идти. На тебе полосатая (белые полосы вылинялы, а синие выцвели) джерси-безрукавка, темно-синяя герл-скаутская юбка, неподтянутые сиротско-черные чулки и пара изношенных, запачканных хлорофиллом теннисных туфель. Геометрический солнечный свет, проходящий между колоннами веранды, коснулся твоих рыжевато-русых, коротко стриженных волос, твоей полной шеи и следа от прививки на твоей загорелой руке. Ты медленно прошла через прохладную и звучную гостиную, затем вошла в комнату, в которой

ковер, кресло и занавески были лиловыми и синими. Твои сложенные чашей ладони и склоненная голова приближались к тебе в разных зеркалах, и твои движения повторялись у тебя за спиной. Твоя тетка, манекен на шарнирах, строчила письмо.

«Смотри», – сказала ты.

Очень медленно, вроде розы, ты раскрыла ладони. Там, ухватившись всеми своими шестью пушистыми лапками за подушечку твоего большого пальца, со слегка приподнятым кончиком мышино-серого тельца, короткими, красными, с голубыми глазками задними крылышками, странно выступающими из-под покатых передних – длинных, в мрамористых прожилках и глубоко-зубчатых –

Пожалуй, я попрошу тебя повторить твое выступление в третий раз, но в обратном порядке – отнести этого бражника обратно в сад, где ты его нашла.

Когда ты двинулась по тому же пути, по которому пришла (с раскрытой теперь ладонью), солнце, до этого торжественно лежавшее на паркете гостиной и на плоском тигре (распластанном рядом с роялем и таким яркоглазым), вспрыгнуло на тебя, вскарабкалось по выцветшим мягким ступенькам джерси и ударило прямо в лицо, так что все могли видеть (ярус за ярусом толпясь на небесах, тесня друг друга, указывая пальцами, пожирая глазами юную *radabarbáru*) его жаркий румянец и огненные веснушки, а также горячие щеки, такие же красные, как те неподвижные задние крылышки, поскольку бабочка все еще льнула к твоей руке, а ты все еще смотрела на нее, идя к саду, где ты бережно переместила ее в сочную траву под яблоней, подальше от бусиничных глаз твоей маленькой сестры.

А где был я в это время? Восемнадцатилетний студент, сидящий с книгой («*Les Pensées*»[58], кажется) на станционной скамье, далеко отсюда, незнающий тебя, неведомый тебе. Вот я закрыл книгу и на том, что называлось пригородным поездом, поехал в местечко, где тогда проводил лето молодой Гедрон. Местечко представляло собой ряд сдаваемых внаем коттеджей на склоне холма, обращенных к реке, на другом берегу которой хвойными и ольховыми зарослями начинались густые лесные уголья в поместье твоей тетки.

Сейчас у нас появится кое-кто еще, неизвестно откуда прибывший – à *ras de loup*[59], высокий юноша с черными усиками и другими признаками жаркого и стесненного полового созревания. Не я и не Гедрон. Тем летом мы только и делали, что играли в шахматы. Юноша этот был твоим кузеном, и пока я со своим товарищем на другом берегу реки корпел над сборником комментированных шахматных партий Тарраша, он за обедом доводил тебя до слез какой-нибудь изощренной и нестерпимой насмешкой, а потом под предлогом примирения прокрадывался за тобой на чердак, где ты пряталась, чтобы всласть нарыдаться, и там целовал твои влажные глаза, и горячую шею, и спутанные волосы и пытался дотянуться до твоих подмышек и подвязок, потому что для своих лет ты была девочкой на редкость крупной и зрелой; что до него, то, несмотря на привлекательную наружность и жадные сильные конечности, он год спустя умер от чахотки.

А еще позже, когда тебе было двадцать, а мне двадцать три, мы познакомились на рождественской вечеринке и обнаружили, что тем летом были соседями – пять лет тому назад, пять потерянных лет! И в тот самый миг, когда в благоговейном изумлении (благоговей перед превратностями судьбы) ты приложила ладонь ко рту, посмотрела на меня очень круглыми глазами и проговорила: «Но ведь я жила именно там!» – я тут же вспомнил зеленую аллею вблизи фруктового сада и крепкую девушку, бережно несущую выпавшего из гнезда пушистого птенца, но никакие нащупывания или разглядывания не могли ни подтвердить, ни опровергнуть того, что это в самом деле была ты.

Отрывки из письма, адресованного мертвой женщине в царство небесное ее пьяным мужем.

10

Он избавился от ее мехов, всех ее фотокарточек, от ее громадной английской губки и запаса лавандового мыла, ее зонтика, кольца для салфеток, маленькой фарфоровой совы, купленной ею для Эмбера, но так и не подаренной ему – и все же она отказывалась забываться. Когда около пятнадцати лет тому назад его родители погибли в железнодорожном крушении, он сумел облегчить боль и тревогу сочинением третьей главы (главы четвертой в последующих изданиях) своей «Mirokonzepsii» [«Мироконцепции»], в которой он прямо посмотрел в глаза смерти и назвал ее собакой и мерзостью. Одним сильным пожатием своих могучих плечей он стряхнул бремя святости, покрывающее чудовище, и когда с глухим стуком, подняв огромное облако пыли, пали толстые старые циновки, ковры и прочее, он испытал что-то вроде жутковатого облегчения. Но сможет ли он сделать это снова?

Ее платья, чулки, шляпы и туфли милосердно испарились вместе с Клодиной, когда та, вскоре после ареста Гедрона, была вынуждена уйти из-за угроз полицейских агентов. Различные бюро, в которые он обратился, подыскивая опытную няньку ей на замену, ничем не смогли ему помочь; но через несколько дней после ухода Клодины раздался звонок, и, открыв дверь, он увидел на лестничной площадке совсем молоденькую девушку с чемоданом, которая предложила свои услуги.

«Я отзываюсь, – забавно сказала она, – на имя Мариетта».

Она служила горничной и натурщицей в доме одного известного художника, который жил в квартире номер 30, прямо над Кругом; ему, однако, пришлось переехать вместе с женой и двумя другими художниками в намного менее комфортабельный лагерь для политических заключенных в отдаленной провинции. Мариетта принесла второй чемодан и тихо поселилась в комнате рядом с детской. Она обладала хорошими рекомендациями Департамента здравоохранения, стройными ногами, бледным, изящно очерченным, не особенно красивым, но привлекательным детским личиком с пересохшими губами, всегда приоткрытыми, и странно матовыми темными глазами; зрачок почти сливался по тону с радужкой,

которая располагалась несколько выше обычного и была наклонно оттенена саржевыми ресницами. Ни румяна, ни пудра не касались ее удивительно бескровных, ровно просвечивающих щек. Она носила длинные волосы. У Круга возникло смутное ощущение, что он ее уже где-то видел, возможно, на лестнице. Золушка, маленькая неряха, проходящая и вытирающая пыль во сне, всегда бледная, как слоновая кость, и несказанно утомленная после вчерашнего полуночного бала. В целом в ней было что-то довольно неприятное, и от ее волнистых рыжевато-русых волос сильно пахло конским каштаном; но Давиду она понравилась, так что, в конце концов, она, пожалуй, могла подойти.

11

В свой день рождения Круг был извещен по телефону, что глава государства желает удостоить его интервью, и едва рассерженный философ положил трубку, как дверь распахнулась: щеголеватый адъютант – совсем как один из тех театральных лакеев, которые чинно входят за полсекунды до того, как их фиктивный хозяин (оскорбляемый и, возможно, побиваемый ими в перерывах между актами) хлопнет в ладоши – щелкнул каблуками и отдал с порога честь. К тому времени, когда дворцовый автомобиль, огромный черный лимузин, наводивший на мысли о роскошных похоронах в алебастровых городах, прибыл к месту назначения, раздражение Круга уступило место своего рода мрачному любопытству. Хотя в остальном полностью одетый, он оставался в ночных туфлях без задников, и двое здоровенных привратников, унаследованных Падуком вместе с несчастными кариатидами, подпирающими балконы, уставились на его беззаботные ступни, когда он прошаркал вверх по мраморным ступеням. Затем его обступили какие-то негодяи в форме и стали молча направлять его в ту или иную сторону – скорее бестелесным эластичным напором, чем определенными жестами или словами. Его отвели в приемную, где вместо обычных журналов предлагались различные головоломки, как, например, стеклянные безделушки, внутри которых перекачивались маленькие и яркие, безнадежно подвижные шарики, которые требовалось залучать в пустые глазницы клоунов. Вскоре пришли двое в масках и тщательно его обыскали. Затем один из них скрылся за ширмой, в то время как другой извлек пузырек с надписью H₂SO₄ и спрятал его под левой подмышкой Круга. Заставив Круга принять «непринужденную позу», он позвал своего напарника, который подошел с улыбкой нетерпения на лице и немедленно отыскал предмет, за что был обвинен в подглядывании через kwazinku [щель между створок складной ширмы]. Вспыхнувшую перебранку пресекло появление zemberl'a [камергера]. Этот чопорный старик тут же заметил, что Круг обут неподобающим образом; последовали лихорадочные поиски в гнетущих дворцовых просторах. К ногам Круга начала прибывать небольшая башмачная коллекция – несколько изношенных «лодочек», крошечная туфелька, отороченная изъеденным молью беличьим мехом, какие-то забрызганные кровью теплые боты, коричневые туфли, черные туфли и даже пара полусапожек с

привинченными коньками. Только эти последние и оказались Кругу впору, и прошло еще немало времени, прежде чем нашлись подходящие руки и инструменты, лишившие подошвы их заржавевшей, но изящно изогнутой оснастки.

После этого zemberl проводил Круга к министру дворца фон Эмбиту, немцу по происхождению. Эмбит первым делом объявил себя скромным поклонником гения Круга. «Мироконцепция», сказал он, сформировала его ум. К тому же его кузен посещал лекции профессора Круга, знаменитого врача, — не родственник ли он Кругу? — Нет. Министр еще несколько минут предавался светской болтовне (у него была странная манера быстро пофыркивать, прежде чем что-то сказать), после чего взял Круга под руку и повел длинным коридором с дверями по одну сторону, а по другую — с полотнищами бледно-зеленых и шпинатно-зеленых гобеленов, изображавших то, что казалось бесконечной охотой в субтропическом лесу. Посетителю приходилось осматривать разные комнаты — его провожатый тихонько открывал дверь и почтительным шепотом обращал внимание Круга на тот или иной интересный предмет. В первой из показанных комнат имелась бронзовая контурная карта государства, с городами и весями, означенными драгоценными и полудрагоценными камнями различных цветов. В следующей комнате молодая машинистка изучала содержание каких-то документов и так была поглощена их расшифровкой, а министр вошел настолько тихо, что она издала дикий вопль, когда он фыркнул у нее за спиной. Затем посетили классную комнату: два десятка смуглокожих армянских и сицилийских мальчиков усердно писали за партами из розового дерева, в то время как их eunig, толстый старик с крашеными волосами и налитыми кровью глазами, сидел перед ними, лакируя ногти и зевая с закрытым ртом. Особый интерес представляла совершенно пустая комната, в которой от какой-то вымершей мебели на темно-коричневом полу остались квадраты медово-желтого цвета; фон Эмбит задержался в ней, и пригласил Круга задержаться, и молча указал на пылесос, и еще повременил, поводя глазами по сторонам, словно бегло осматривая реликвии древней капеллы.

Но кое-что еще более любопытное, чем это, было припасено pour la bonne bouche. Notamment, une grande pièce bien claire[60] со стульями и столами функционального лабораторного типа и с тем, что выглядело как особенно большой и сложный радиоприемник. Из этой машины доносился ровный глухой звук, похожий на стук африканского тимпана, и трое врачей в белых халатах занимались тем, что подсчитывали число ударов в минуту. Двое грозного вида телохранителей Падука, в свою очередь, контролировали врачей, ведя счет самостоятельно. Хорошенькая фельдшерица читала в углу «Брошенные розы», а личный врач Падука, гигант с детским лицом, одетый в серовато-пыльный на вид сюртук, крепко спал за проекционным экраном. Тамп-а, тамп-а, тамп-а, — неслось из машины, и время от времени возникала дополнительная систола, слегка нарушавшая ритм.

Обладатель сердца, к усиленному звуку ударов которого прислушивались эксперты, находился в своем кабинете примерно в пятидесяти футах отсюда. Солдаты его охраны, сплошь в коже и патронташах, внимательно изучили бумаги Круга и фон Эмбита. Последний забыл предоставить фотостат свидетельства о рождении и посему пройти не смог — к своему

большому добродушному замешательству. Круг вошел один.

Падук, от фурункула до бурсита упрятанный в серое полевое сукно, стоял, заложив руки за спину и повернувшись спиной к читателю. Он стоял, в такой позе и в таком облачении, перед холодным французским окном. По белому небу плыли рваные тучи, и оконное стекло слегка дребезжало. Комната, увы, когда-то была бальной залой. Ее стены обильно украшала лепнина. Несколько стульев, там и сям видневшихся в пустоши зеркал, были позолочены. Как и радиатор отопления. Один угол комнаты был отгорожен громадным письменным столом.

«Вот и я», – сказал Круг.

Падук повернулся на каблуках и, не глядя на посетителя, прошел к столу. Там он погрузился в кожаное кресло. Круг, которому начал жать левый ботинок, искал, куда бы сесть, и, не найдя ничего у стола, оглянулся на золоченые стулья. Хозяин дома, однако, позаботился об этом: раздался щелчок, и копия Падукова klubzessel'a [кресла] сама собой выскочила из западни возле стола.

Внешне Жаба почти не изменился, за исключением того, что каждая часть его видимой наружности раздалась и огрубела. Участок волос на макушке его шишковатой и синеватой бритой головы был тщательно расчесан и разделен надвое. Его пятнистая физиономия была еще гаже, чем когда-либо, и оставалось только дивиться необыкновенной силе воли этого человека, не позволявшего себе выдавить угри, закупорившие широкие поры на крыльях его пухлого носа. Верхняя губа у него была обезображена шрамом. Полоска дырчатого пластыря что-то скрывала сбоку от подбородка, а другая полоска, побольше, с загнутым назад грязным уголком и криво подложенной ватной подушечкой, виднелась в складке его шеи, как раз над жестким воротником полувоенного френча. Словом, он оказался чуточку слишком омерзительным, чтобы быть настоящим, так что давайте позвоним в колокольчик (который держит бронзовый орел) и дадим гробовщику его приукрасить. Что ж, теперь его тщательно очищенная кожа приобрела ровный марципановый оттенок. На голове – лоснистый парик с искусно смешанными каштановыми и светло-русыми прядями. Неприличный шрам обработан розовым гримом. В самом деле, лицо было бы хоть куда, кабы мы могли закрыть ему глаза. Но как бы мы ни прижимали веки, они открывались снова. Я никогда не обращал внимания на его глаза, или же его глаза изменились.

Это были глаза рыбы в запущенном аквариуме, мутные, лишенные выражения, а кроме того, беднягу охватило болезненное смущение из-за того, что взрослый, грузный Адам Круг находился с ним в одной комнате.

«Ты хотел меня видеть. Что у тебя за горесть? Что у тебя за правда? Люди всегда хотят меня видеть и говорить о своих горестях и правдах. Я утомлен, мир утомлен, мы оба утомлены. Горе мира – мое горе. Я говорю им: скажите мне о горестях ваших. А чего хочешь ты?»

Эта короткая речь была произнесена медленным, ровным, лишенным выражения глуховатым голосом. Умолкнув, Падук опустил голову и

воззрился на свои руки. То, что осталось от его ногтей, казалось тонкой проволокой, глубоко вдавленной в желтоватое мясо.

«Что ж, – сказал Круг, – если ты так ставишь вопрос, dragotzenny [мой драгоценный], то, пожалуй, я хочу выпить».

Тихонько звякнул телефон. Падук снял трубку. Пока он слушал, его щека дернулась. Затем он передал трубку Кругу, который удобно обхватил ее и сказал: «Да».

«Профессор, – сказал телефон, – позвольте дать вам совет: главе государства не принято говорить “драгоценный”».

«Понимаю, – сказал Круг, вытягивая одну ногу. – Кстати, не могли бы вы принести бренди? Погодите –»

Он вопросительно посмотрел на Падука, который сделал что-то вроде церковного и галльского жеста, выражающего усталость и отвращение, подняв обе руки и снова опустив их.

«Рюмку бренди и стакан молока», – сказал Круг и повесил трубку.

«Прошло больше четверти века, Мугакрад, – сказал Падук после некоторого молчания. – Ты остался тем, кто ты есть, но мир продолжает вращаться. Гумакрад, бедняжка Гумрадка».

«А потом эти двое, – сказал Круг, – заговорили о давно минувших днях, вспомнили имена учителей и их странные привычки, – почему-то неизменные на протяжении веков, – а что может быть забавнее обычных причуд? Ну же, dragotzenny, ну же, милостивый государь, все это и так ясно, а нам вправду надо обсудить кое-что более значительное, чем снежки и чернильные кляксы».

«Ты можешь пожалеть об этом», – сказал Падук.

Круг некоторое время барабанил пальцами по своему краю стола. Потом взял длинный разрезательный нож из слоновой кости.

Вновь зазвонил телефон. Падук снял трубку.

«Здесь тебе не стоит прикасаться к ножам, – сказал он, со вздохом положив трубку. – Почему ты хотел меня видеть?»

«Не я хотел. Ты хотел».

«Хорошо – почему я хотел? Знаешь ли ты, бедовый Адам?»

«Потому что, – сказал Круг, – только я могу встать на другой конец качели и заставить твой конец подняться».

В дверь быстро стукнули костяшками пальцев, и, звеня подносом, вошел zemberl. Он сноровисто обслужил двух друзей и вручил Кругу письмо. Круг сделал глоток и прочитал записку. В ней сообщалось следующее:

Профессор,

Ваше обращение все еще нельзя назвать корректным. Вам следует иметь в виду, что, несмотря на узкий и хрупкий мостик школьных воспоминаний, соединяющий две стороны, между ними пролегает бездна власти и величия, которую даже гениальный философ (а Вы именно таковым и являетесь – да, сударь!) не смеет надеяться измерить. Вы не должны позволять себе такой чудовищной фамильярности. Вынужден еще раз предупредить об этом. Умолять об этом. Надеюсь, ботинки не сильно жмут, неизменно Ваш доброжелатель.

«Ничего не попишешь», – сказал Круг.

Падук обмакнул губы в пастеризованное молоко и заговорил еще более глухим голосом:

«Теперь позволь я скажу тебе. Они приходят и говорят мне: отчего этот достойный и умный человек бездействует? Почему не служит стране? И я отвечаю: мне это неизвестно. И они тоже пожимают плечами».

«Кто они?» – сухо спросил Круг.

«Друзья, друзья закона, друзья законодателя. И деревенские общины. И городские клубы. И великие логи. Отчего это так, отчего он не с нами? Я лишь эхо их недоумений».

«Так я тебе и поверил», – сказал Круг.

Дверь слегка приоткрылась, и вошел толстый серый попугай с запиской в клюве. Он вразвалку направился к столу на неуклюжих морщинистых лапах, и его когти издавали звук, какой производят на лакированных полах собаки с нестриженными когтями. Падук вскочил из кресла, быстро подошел к старой птице и одним ударом вышиб ее из комнаты, как футбольный мяч. После этого он с грохотом захлопнул дверь. Телефон на столе надрывался от звонков. Он отключил штепсель и засунул аппарат вместе с проводом в ящик стола.

«А теперь – ответ», – сказал он.

«Который я жду от тебя, – парировал Круг. – Прежде всего я хочу знать, зачем ты арестовал четверых моих друзей. Ты это сделал для того, чтобы создать вокруг меня вакуум? Чтобы оставить меня дрожать в пустоте?»

«Государство – вот твой единственный настоящий друг».

«Неужели».

Серый свет из высоких окон. Тоскливый вой буксира.

«Хорошую же картину мы с тобой являем – ты в роли эдакого Erbkönig'a[61], а я в роли младенца мужского пола, который вцепился в будничного всадника и впери свой взор в магическую дымку. Тьфу!»

«Все, что нам от тебя требуется, – это та маленькая часть, где находится рукоятка».

«Ее нет!» – вскричал Круг и ударил кулаком по своей стороне стола.

«Умоляю тебя, будь осторожнее. В стенах полно замаскированных отверстий, и из каждого на тебя наставлено дуло винтовки. Пожалуйста, не жестикулируй. Они сегодня что-то на взводе. Дело в погоде. Эта серая туманоструация».

«Если ты не можешь оставить меня и моих друзей в покое, – сказал Круг, – то позволь им и мне выехать за границу. Это избавило бы тебя от множества неприятностей».

«Что именно ты имеешь против моего правительства?»

«Мне нет никакого дела до твоего правительства. Что меня возмущает, так это твоя попытка вызвать во мне интерес к нему. Оставь меня наедине с собой».

«“Наедине” – гнуснейшее слово из всех. Никто не бывает наедине. Когда клетка в организме говорит “оставьте меня наедине”, возникает саркома».

«В какой тюрьме или тюрьмах их держат?»

«Прошу прощения?»

«Где Эмбер, к примеру?»

«Ты хочешь знать слишком много. Все эти скучные формальности не представляют особого интереса для человека твоего склада ума. А теперь –»

Нет, все происходило не совсем так. Прежде всего, Падук большую часть времени молчал. Сказанное им свелось к нескольким отрывистым банальностям. О да, он немного побарабанил пальцами по столу (они все барабанят), и Круг отвечал тем же, но в остальном ни один не проявил нервозности. Запечатленные сверху, они вышли бы в китайской перспективе, куклообразные, немного бесформенные, но, возможно, с твердым деревянным сердечником под их правдоподобными одеяниями – один ссутулился над столом в луче серого света, другой сидит к столу боком со скрещенными ногами, носок той ноги, что повыше, качается вверх и вниз – и тайный зритель (допустим, некое антропоморфное божество) наверняка был бы удивлен формой человеческих голов, видимых сверху. Падук отрывисто спросил Круга, достаточно ли тепло в его (Круга) квартире (никто, конечно, не надеялся, что революция обойдется без перебоев с углем), и Круг ответил, что достаточно. А не было ли задержек с получением молока и редиса? В общем, были, небольшие. Он записал ответ Круга на календарном листке. Ему было горько узнать о тяжелой утрате Круга. Состоит ли он в родстве с профессором Мартином Кругом? Имеются ли какие-то близкие у его покойной жены? Круг сообщил ему и эти сведения. Падук откинулся на спинку кресла и постучал по носу резиновым кончиком шестигранного

карандаша. Когда его мысли приняли иное направление, он изменил положение карандаша: теперь он держал его за кончик, горизонтально, слегка перекатывая между большими и указательными пальцами обеих рук, по-видимому озадаченный исчезновением и новым появлением Эберхарда Фабера № 2. Это несложная роль, и все же актеру следует быть осмотрительным, чтобы не переусердствовать с тем, что Грааф где-то назвал «злодейским обдумыванием». Круг тем временем потягивал бренди и нежно баюкал стакан. Падук вдруг прильнул к столу, выдвинул ящик и извлек изысканно схваченные ленточкой машинописные страницы, которые протянул Кругу.

«Придется надеть очки», – сказал Круг.

Он поднес очки к лицу и посмотрел сквозь них на дальнее окно. На левой линзе посередине виднелась спиральная туманность, похожая на отпечаток призрачного большого пальца. Пока он дышал на нее и вытирал носовым платком, Падук объяснил суть дела. Круга ждало назначение президентом университета вместо Азуреуса. Его жалованье будет втрое выше, чем у предшественника, получавшего пять тысяч крун. Сверх того, в его распоряжение предоставят автомобиль, велосипед и падограф. Он окажет любезность, выступив с речью на церемонии открытия университета. Его труды, пересмотренные в свете политических преобразований, выйдут в новых изданиях. Ожидаются премии, академические вакации, лотерейные билеты, корова – ах, много чего еще.

«А это, полагаю, и есть речь?» – уютно вставил Круг.

Падук ответил, что ее подготовил эксперт – дабы избавить Круга от хлопот по ее составлению.

«Мы надеемся, что она понравится тебе не меньше нашего».

«Так, стало быть, – повторил Круг, – это и есть речь».

«Да, – сказал Падук. – Теперь не спеши. Прочти ее внимательно. А кстати, там должны были заменить одно слово – интересно, сделали или нет. Не мог бы ты –»

Он потянулся, чтобы взять у Круга листки, и локтем опрокинул высокий стакан с молоком. По столу растеклась белая лужа в форме почки.

«Да, – сказал Падук, возвращая машинопись Кругу, – сделали».

Он принялся убирать со стола различные предметы (бронзового орла, карандаш, художественную открытку с «Голубым мальчиком» Гейнсборо и вставленную в рамку репродукцию «Альдобрандинской свадьбы» – с очаровательным полуголым фаворитом в венке, от которого жених вынужден отказаться ради грузной закутанной невесты), – после чего небрежно собрал молоко куском промокательной бумаги. Круг начал читать *sotto voce*[62]:

«“Дамы и господа! Граждане, солдаты, жены и матери! Братья и сестры! Революция выдвинула на первый план задачи необычайной сложности,

колоссальной важности, мирового масштаба. Наш вождь прибегнул к самым решительным революционным мерам, рассчитанным на пробуждение безграничного героизма угнетенных и эксплуатируемых масс. В кратчайший срок государство создало центральные органы для обеспечения страны всеми продуктами первой необходимости, которые будут распределяться по твердым ценам в хламовом порядке". Прошу прощения – в плановом порядке. "Жены, солдаты и матери! Гидра контрреволюции еще может поднять голову..." Нет, это не годится: у гидры ведь много голов, не так ли?»

«Сделай пометку, – сказал Падук сквозь зубы. – Сделай пометку на полях и, ради всего святого, читай дальше».

«"Как гласит наша старая пословица, "чем жена страшнее, тем она вернее", но, конечно, это не относится к "страшным слухам", которые распространяют наши враги. К примеру, поговаривают, будто сливки нашей интеллигенции выступают против нынешнего режима..." Не лучше ли сказать "битые сливки"? Я имею в виду, что, следуя метафоре –»

«Сделай пометку, сделай пометку, эти детали не имеют значения».

«"Ложь! Всего только обычный навет. Те, кто негодуют, громят, мечут молнии, скрежещут зубами, изливают на нас поток оскорблений, не обвиняют нас ни в чем определенном, они лишь "намекают". И эти инсинуации нелепы. Мы, профессора, писатели, философы и так далее, не только не выступаем против существующего строя, но поддерживаем его со всей возможной ученостью и энтузиазмом.

Нет, господа, нет, предатели, ваши самые "безапелляционные" слова, заявления и ремарки не умаляют этих фактов. Вы можете замалчивать тот факт, что наши ведущие профессора и мыслители поддерживают новый порядок, но вы не можете отрицать того, что они действительно поддерживают его. Мы счастливы и горды тем, что идем в ногу с массами. Слепая материя вновь обретает способность видеть и сбрасывает розовые очки, которые в прошлом украшали длинный нос так называемый Мысли. Что бы я раньше ни думал и ни писал, теперь мне ясно одно: независимо от того, кому они принадлежат, две пары глаз, смотрящие на сапог, видят один и тот же сапог, поскольку он одинаково отражается в обеих парах; и далее, что гортань является вместилищем мысли, так что работа ума подобна полосканию горла". Так. Последнее предложение, похоже, это искаженный отрывок из одной моей книги. Отрывок вывернут наизнанку кем-то, кто не ухватил сути моих замечаний. Я критиковал это старое –»

«Пожалуйста, продолжай. Прошу тебя».

«"Другими словами, новое Образование, новый Университет, которым я счастлив и горд руководить, положат начало новой эры Динамичной Жизни. В результате на смену порочным изыскам упадочного прошлого придет великое и прекрасное упрощение. Мы будем учить, и прежде всего познаем, что мечта Платона осуществилась в руках Главы нашего Государства..." Это дикая чушь. Я отказываюсь продолжать. Забери это».

Он подтолкнул листки к Падуку, сидевшему с закрытыми глазами.

«Не принимай поспешных решений, бедовый Адам. Иди домой. Обдумай. Нет, молчи. Они не смогут дольше сдерживать свою ярость. Прошу тебя, ступай».

На чем, собственно, аудиенция и закончилась. Таким вот образом? Или, быть может, как-то иначе? В самом ли деле Круг пробежал заготовленную речь? А если и пробежал, в самом ли деле она была настолько глупой? Он пробежал; она была. Вялый тиран, или глава государства, или диктатор, или кем бы он ни был – одним словом, человек по имени Падук, а другим словом – Жаба – на самом деле вручил моему любимому персонажу таинственную стопку аккуратно отпечатанных страниц. Актера, исполняющего роль получателя, следует натаскать так, чтобы он не смотрел на свои руки, очень медленно беря бумаги (пожалуйста, не переставайте играть желваками), а чтобы он смотрел прямо на дающего: короче говоря, сначала посмотрите на дающего, а потом опустите глаза на переданное. Но оба были неуклюжими и сердитыми людьми, и эксперты в кардиариуме в определенный момент (когда опрокинулся стакан с молоком) обменялись важными кивками, и они тоже бездействовали. Открытие нового университета, запланированное предварительно через три месяца, должно было стать одним из самых торжественных и широко освещаемых событий, с участием множества иностранных репортеров, невежественных переплаченных корреспондентов с бесшумными пишущими машинками на коленях и фотографов с дешевыми, как сушеные фиги, душами. И один великий отечественный мыслитель должен был появиться в алых одеяниях (шелк) рядом с главой и символом государства (шелк, шелк, шелк, шелк, шелк, шелк) и провозгласить громовым голосом, что государство больше и мудрее любого из смертных.

12

Размышляя об этой фарсовой беседе, он гадал, сколько времени пройдет до следующей попытки. Он все еще верил, что, пока он тихо живет своей обычной жизнью, ничего плохого не случится. Как ни странно, в конце месяца пришел его обычный чек, хотя какое-то время университет никак о себе не заявлял, по крайней мере внешне. За сценой продолжались нескончаемые заседания, суматоха административных потуг, перегруппировка сил, но он отказывался участвовать в них, как и принимать различные делегации и специальных посланников, которых Азуреус и Александер продолжали слать к нему на дом. Он решил, что, когда Совет старейшин исчерпает свою силу обольщения, его оставят в покое, поскольку правительство, не смея его арестовать и не желая дарить ему роскошь изгнания, с тем же безнадежным упрямством продолжит надеяться, что он в конце концов уступит. Мрачный оттенок, окрасивший его будущее, хорошо сочетался с серым миром его вдовства, и, не будь друзей, за которых приходилось тревожиться, и ребенка, которого следовало прижимать к щеке и сердцу, он, возможно, посвятил

бы сумерки какому-нибудь тихому исследованию: к примеру, ему всегда хотелось побольше узнать об ориньякской культуре и тех портретах необычных существ (быть может, неандертальцев-полулюдей – прямых предков Падука и ему подобных, – которых ориньякцы использовали как рабов), обнаруженных испанским дворянином и его маленькой дочерью в расписной пещере Альтамиры. Или же он мог бы заняться какой-нибудь смутной загадкой викторианской телепатии (о случаях которой сообщали священники, истеричные дамы, полковники в отставке, служившие в Индии), например, удивительным сном миссис Стори о смерти ее брата. И мы, в свою очередь, последуем за ним, очень темной ночью идущим вдоль железной дороги: пройдя шестнадцать миль, он почувствовал легкую усталость (да и кто бы не устал); он присел, чтобы стянуть сапоги, и задремал под стрекот сверчков, а потом мимо прогромыхал поезд. Семьдесят шесть овечьих вагонов (в занятой пародии на «посчитай-овечек-уснешь») пронесли мимо, не задев его, но затем какая-то проекция коснулась его затылка и убила на месте. И еще мы могли бы исследовать «*illusions hypnagogiques*»[63] (только ли галлюцинацию?) дражайшей мисс Биддер, видевшей однажды страшный сон, из которого после ее пробуждения остался самый отчетливый демон, так что она села в постели, чтобы осмотреть его руку, ухватившуюся за изголовье, но рука растворилась в узорах над каминной полкой. Глупо, но я ничего не могу с собой поделаться, подумал он, вставая с кресла и пересекая комнату, чтобы расправить пугающие складки своего разложенного на кушетке коричневого халата, одна из сторон которого являла совершенно отчетливую средневековую физиономию.

Он перебрал различные обрывки, собранные впрок для эссе, которое он так и не написал и уже не напишет, потому что забыл его путеводную мысль, его секретную комбинацию. К примеру, имелся папирус, приобретенный неким Риндом у каких-то арабов (сказавших ему, что они нашли его среди развалин небольших строений вблизи Рамессеума); он начинался обещанием открыть все тайны, все загадки, но (как демон мисс Биддер) оказался всего лишь школьным пособием с лакунами, которое какой-то египетский земледелец в семнадцатом веке до нашей эры использовал для своих неуклюжих расчетов. В газетной вырезке сообщалось, что Государственный Энтомолог подал в отставку, чтобы стать Советником по Тенистым Деревьям, и можно было подумать, что это какой-то изысканный восточный эвфемизм для обозначения смерти. Другой листок содержал выписанные им строки из знаменитой американской поэмы:

О, что за зрелище –

Застенчивые эти китобои!

Но вот настал прилива час,

Швартовы отданы...

На картах этот остров не означен, –

Надежных мест на картах не сыскать.

Сей свет небес не для меня,

Краса несет мне лишь страданье...

— и, конечно, то место о сладкой смерти сборщика меда из Огайо (забавы ради я сохраняю слог, которым однажды поведал его в Туле в праздном кругу моих русских друзей).

Труганини, последняя представительница аборигенов Тасмании, умерла в 1877 году, но последний Круганини не мог вспомнить, как это было связано с тем фактом, что в первом веке нашей эры съедобными галилейскими рыбами были в основном хромиды и усачи, хотя в Рафаэлевой интерпретации чудесного улова мы находим среди неопределенных рыбообразных форм, выдуманных молодым художником, два образчика, явно принадлежащих семейству скатов, которые в пресных водах не обитают. Говоря о римских венациях (представлениях с травлей диких зверей) той же эпохи, отметим, что сцена со смехотворно живописными скалами (позднее украсившими «романтические» пейзажи) и условным лесом была устроена так, чтобы она могла подниматься из крипт под пропитанной мочой ареной с находящимся на ней Орфеем в окружении настоящих львов и медведей с позолоченными когтями; но этого самого Орфея изображал преступник, и представление завершалось тем, что медведь убивал его, пока Тит, или Нерон, или Падук наблюдали за происходящим с тем полным наслаждением, каковое, как говорят, вызывает «искусство», проникнутое «сочувствием к человеку».

Ближайшая к нам звезда — альфа Центавра. Солнце удалено от нас примерно на девяносто три миллиона миль. Наша Солнечная система возникла из спиральной туманности. Де Ситтер, человек досужий, оценил окружность «конечной, хотя и безграничной» вселенной приблизительно в сто миллионов световых лет, а ее массу — приблизительно в квинтиллион квадриллионов граммов. Легко можно представить, как в 3000 году от Р. Х. люди будут насмехаться над этой нашей наивной чепухой, придумывая вместо нее какую-нибудь собственную нелепость.

«Рим, которого никто не мог разрушить, даже дикий зверь Германия с ее синеокими юношами, губит гражданская война». Как я завидую Крукиусу, державшему в руках «бландинские рукописи» Горация (уничтоженные в 1566 году, когда толпа разграбила бенедиктинское аббатство св. Петра в Бланкенберге близ Гента). А каково было путешествовать по Аппиевой дороге в большой четырехколесной повозке для дальних поездок, известной под названием «реда»? И те же репейницы («раскрашенные дамы» по-английски) обмахивались своими

крылышками на таких же головках чертополоха.

Жизни, которым я завидую: долголетие, мирные времена, мирная страна, тихая слава, тихое удовлетворение: Ивар Осен, норвежский филолог, 1813–1896, создавший язык. Здесь у нас слишком много *homo civis* и слишком мало *sapiens*[64].

Доктор Ливингстон упоминает, что однажды, поговорив с бушменом о Божестве, он обнаружил, что дикарь полагал, будто они говорят о Секоми, местном вожде. Муравей живет в мире запахов, имеющих форму, в мире химических конфигураций.

Древний зороастрийский мотив восходящего солнца, перенятый от формы персидской стрелки свода. Кроваво-золоченые ужасы мексиканских жертвоприношений, поведенные католическими священниками, или восемнадцать тысяч мальчиков Формозы младше девяти лет, чьи маленькие сердца были сожжены на алтаре по приказу лжепророка Салманазара, – все оказалось европейской фальшивкой бледно-зеленого восемнадцатого века.

Он бросил записи обратно в ящик стола. Они были мертвы и бесполезны. Опершись локтем о стол и слегка покачиваясь в кресле, он медленно поскреб темя под жесткими волосами (такими же жесткими, как у Бальзака, что у него тоже где-то записано). В нем росло гнетущее чувство: он был пуст, он никогда больше не сочинит ни одной книги, он слишком стар, чтобы наклониться и пересоздать мир, разбившийся вдребезги, когда она умерла.

Он зевнул и задался вопросом, а какое именно позвоночное зевнуло первым, и можно ли предположить, что этот понурый спазм был первым признаком истощения всего подтипа в его эволюционном аспекте? Быть может, будь у меня новое перо вместо этой развалины или свежий букетик из, скажем, двадцати идеально очиненных карандашей в узкой вазочке и стопка гладкой бумаги цвета слоновой кости вместо этих, дайте-ка взглянуть, тринадцати, четырнадцати более или менее ровных листов (с двуглазым долихоцефальным профилем, нарисованным Давидом на верхнем из них), то я мог бы начать ту неведомую штуку, которую хочу написать; совсем еще неведомую, если не считать смутного очертания в форме туфельки, инфузориное подрагивание которого я ощущаю в своих беспокойных костях, эти щекотики (как мы говорили в детстве), полупокалыванье, полущекотка, когда пытаешься что-то вспомнить, или что-то понять, или найти, а твой мочевого пузырь, возможно, переполнен, и нервы натянуты, но в целом сочетание это скорее приятное (если не затягивается) и вызывает маленький оргазм или «*petit éternuement intérieur*»[65], когда наконец находишь тот кусочек пузеля, который точно заполняет пробел.

Прекратив зевать, он подумал, что его тело слишком крупное и здоровое для него: если бы он был сморщенным и дряблым, страдающим разными мелкими хворями, то он, возможно, жил бы в большем согласии с собой. История барона Мюнхгаузена о декорпитации коня. Но индивидуальный атом свободен: он пульсирует как хочет, на низкой или высокой частоте; он сам решает, когда поглощать энергию, а когда излучать ее. Мне стоит кое-что сказать о приеме, используемом

героями мужского пола в старых романах: если прижмешься лбом к восхитительно холодному оконному стеклу, то вправду почувствуешь некоторое облегчение. Так он и стоял, бедный перципиент. За окном – серое утро в пятнах тающего снега.

Через несколько минут (если его часы не ввали) пора было отправляться за Давидом в детский сад. Безалаберные, вялые шумы и неуверенные постукивания, доносившиеся из соседней комнаты, говорили о том, что Мариетта пытается воплотить свои туманные представления о порядке. Он услышал шлепанье ее старых ночных туфель, отороченных грязным мехом. У нее была раздражающая манера выполнять домашние обязанности, не надевая ничего, чтобы прикрыть свое совсем еще юное тело, кроме выцветшей ночной сорочки, обтрепанный подол которой едва доходил ей до колен. *Femineum lucet per bombicina corpus*[66]. Прелестные лодыжки – уверяет, что получила приз на танцевальном конкурсе. Полагаю, – ложь, как и большинство ее высказываний; впрочем, если подумать, у нее в комнате действительно есть испанский веер и пара кастаньет. Без какой-либо особой нужды (или он что-то искал? Нет) он как-то заглянул в ее комнату, пока она гуляла с Давидом. Там крепко пахло ее волосами и «Sanglot'ом» (дешевыми мускусными духами); на полу была разбросана грязная всячина, а на столике у кровати стояла буро-алая роза в стакане и большой рентгеновский снимок ее легких и позвоночника. Она оказалась настолько плохой стряпухой, что ему приходилось по меньшей мере один раз в день заказывать что-нибудь сытное для всех троих из хорошего ресторана за углом, в то время как на завтрак и ужин полагались яйца, жидкие каши и разного рода консервы.

Еще раз взглянув на часы (и даже прислушавшись к ним), он решил вывести свое беспокойство на прогулку. Золушку он нашел в детской: она прервала свои труды, чтобы взять одну из книг Давида о животных, и теперь была погружена в чтение, полусидя-полулежа поперек кровати, далеко вытянув одну ногу, положив голую лодыжку на спинку стула, уронив туфельку и шевеля пальчиками на ноге.

«Я сам заберу Давида», – сказал он, отводя взгляд от буровато-алых теней, которые она выставила напоказ.

«Что?» (Странное дитя не потрудились изменить позу, а только перестало подергивать носком ноги и подняло свои матовые глаза.)

Он повторил сказанное.

«А, ладно», – ответила она, снова опустив глаза на раскрытую книгу.

«И, пожалуйста, оденьтесь», – добавил Круг, выходя из комнаты.

Надо подыскать кого-то другого, думал он, идя по улице; кого-то совершенно другого, пожилую даму, полностью одетую. Он понимал, что это было просто делом привычки, следствием постоянного позирования нагишом перед чернобородым художником из тридцатой квартиры. Вообще-то, рассказывала она, летом, находясь в квартире, никто из них ничего не надевал, ни он, ни она, ни жена художника (которая, судя по различным картинам, выставленным до революции, обладала

громадным телом со множеством пупков, одни хмурились, другие казались удивленными).

Детским садом, маленьким ярким заведением, ведала вместе со своим братом Мироном одна из его бывших учениц, Клара Зеркальски. Главным развлечением восьмерых детей, находившихся на их попечении, были хитро устроенные туннели с мягкой обивкой, такой высоты, чтобы по ним можно было проползти на четвереньках, а еще красочные картонные кубики, механическая железная дорога, книжки с картинками и настоящая лохматая собака по кличке Бассо. Это заведенье Ольга подыскала год тому назад, и Давид уже стал великоват для него, хотя по-прежнему любил ползать по туннелям. Чтобы избежать необходимости обмениваться приветствиями с другими родителями, Круг остановился у калитки, за которой был палисадник (теперь состоявший главным образом из луж) со скамейками для посетителей. Давид первым выбежал из раскрашенного в веселые цвета деревянного дома.

«А почему Мариетта не пришла?»

«Вместо меня? Надень-ка шапку».

«Вы могли прийти вместе».

«У тебя что, не было галош?»

«Ага».

«Тогда дай руку. И если ты хоть раз ступишь в лужу...»

«А если я нечаянно?»

«Я прослежу за этим. Ну же, *raduga moia* [радуга моя], дай руку и пойдем».

«Билли сегодня принес кость. Представляешь – вот такую кость! Я тоже хочу принести».

«Это который, Билли, – смуглый мальчик или тот, в очках?»

«В очках. Он сказал, что моя мама умерла. Смотри, смотри, женщина-трубочист!»

(Они появились недавно из-за какого-то неясного смещения, или ущемления, или расщепления в экономике государства – и к большой радости детей.) Круг молчал. Давид все говорил.

«Это ты виноват, а не я. У меня левый ботинок промок насквозь. Папа!»

«Да?»

«У меня левый ботинок промок».

«Да. Прости. Пойдем немного быстрее. А что ты ответил?»

«Когда?»

«Когда Билли сказал эту чушь про маму».

«Ничего. А что я должен был сказать?»

«Но ты же понял, что это чушь?»

«Думаю, да».

«Потому что, даже если бы она умерла, то для тебя или меня она не была бы мертвой».

«Да, но она ведь не умерла, правда?»

«Не в нашем понимании. Кость ничего не значит для нас с тобой, но она много значит для Бассо».

«Папа, он рычал из-за нее. Он просто лежал и рычал, положив на нее лапу. Мисс Зи сказала, что нам нельзя его трогать или разговаривать с ним, пока она у него».

«Raduga moia!»

Они уже шли по переулку Перегольм. Бородатый человек, о котором Круг знал, что он соглядатай, и который являлся ровно в полдень, был на своем посту перед домом Круга. Иногда он торговал яблоками, а однажды пришел под видом почтальона. В особенно холодные дни он пытался изображать манекена в витрине портного, и Круг забавлялся тем, что подолгу смотрел в глаза бедняги, которому нельзя было моргнуть. Сегодня он инспектировал фасады домов и что-то записывал в блокнот.

«Считаете дождевые капли, инспектор?»

Человек отвернулся; шагнув вперед, он ушиб носок ноги о бордюр. Круг улыбнулся.

«Вчера, — сказал Давид, — когда мы проходили мимо, он подмигнул Мариетте».

Круг снова улыбнулся.

«Знаешь, папа, по-моему, она говорит с ним по телефону. Она всегда говорит по телефону, когда ты уходишь».

Круг рассмеялся. Эта странная девушка, думалось ему, наслаждалась шашнями с целой вереницей ухажеров. Дважды в неделю по вечерам она была свободна от домашних дел, и все это время, вероятно, посвящала фавнам, футболистам и матадорам. Кажется, я только об этом и думаю. Кто она — прислуга? Приемная дочь? Или что? Ничего. Я прекрасно знаю, думал Круг, отсмеявшись, что она просто ходит в кино с подружкой-толстушкой — так она говорит, — а у меня нет никаких

оснований ей не верить; а если бы я действительно считал, что она та, кем она, безусловно, является, то мне следовало бы немедленно рассчитать ее – чтобы не занесла в детскую какой-нибудь заразы. Именно так поступила бы Ольга.

В прошлом месяце лифт полностью демонтировали. Пришли какие-то люди, опечатали дверь крошечного жилища несчастного барона и так, не открывая, утащили в фургон. Птичка внутри была слишком напугана, чтобы трепыхаться. Или он тоже был шпионом?

«Погоди, не звони, у меня есть ключ».

«Мариетта!» – крикнул Давид.

«Надо думать, ушла за покупками», – сказал Круг и направился в ванную.

Она стояла в ванне, дугообразными движениями намыливая спину или, по крайней мере, те участки своей узкой и блестящей, с ямочками в разных местах спины, до которых могла дотянуться, закинув руку за плечо. Ее волосы были высоко подобраны и туго подвязаны косынкой или чем-то еще. В зеркале отразились каштановая подмышка и бледный торчащий сосок.

«Буду готова через минуту», – пропела она.

Круг с подчеркнутым негодованием грохнул дверью. Он прошествовал в детскую и помог Давиду переобуться. Она все еще была в ванной, когда человек из «Английского клуба» принес мясной пирог, рисовый пудинг и ее подростковые ягодички. Когда лакей удалился, она вышла, встряхивая волосами, и перебежала в свою комнату, где облачилась в простое черное платье, а минуту спустя снова выбежала и принялась накрывать на стол. К концу обеда принесли газеты и дневную почту. Что там могли быть за новости?

13

Правительство затеяло присылать ему множество различных печатных материалов с восхвалениями своих достижений и целей. Вместе с телефонным счетом и рождественской открыткой от дантиста он находил в почтовом ящике отпечатанный мимеографическим способом листок такого содержания:

Уважаемый гражданин,

согласно статье 521 нашей Конституции, народ обладает следующими четырьмя свободами:

а) свобода слова,

б) свобода печати,

в) свобода собраний и митингов,

г) свобода шествий.

Эти свободы обеспечиваются предоставлением в распоряжение граждан производительных печатных машин, достаточного количества бумаги, хорошо проветриваемых общественных зданий и широких улиц.

Что следует понимать под первыми двумя свободами? Для гражданина нашего государства газета – это коллективный организатор, призванный подготовить своих читателей к выполнению различных возложенных на них задач. Если в других странах газеты являются откровенно коммерческими предприятиями, фирмами, продающими свою печатную продукцию публике (и по этой причине делающими все возможное, чтобы привлечь внимание общественности броскими заголовками и пикантными историями), то главная цель нашей прессы – сообщать такую информацию, которая дала бы каждому гражданину ясное представление о ключевых проблемах общественной и международной жизни; следовательно, она направляет деятельность и чувства читателей в нужное русло.

В других странах мы наблюдаем множество конкурирующих органов. Каждая газета освещает события по-своему, и это ошеломляющее разнообразие тенденций приводит взгляды обывателя к полному замешательству; в нашей подлинно демократической стране единообразная пресса несет ответственность перед народом за верность проводимого ею политического просвещения. Статьи в наших газетах – это не плод воображения того или иного человека, а зрелое, тщательно выверенное послание читателю, который, в свою очередь, воспринимает его с такой же серьезностью и вдумчивостью.

Еще одной важной особенностью нашей прессы является добровольное сотрудничество местных корреспондентов – письма, предложения, обсуждение, критика и все прочее. Итак, мы видим, что наши граждане имеют свободный доступ к газетам, и такого положения дел более нигде нет. О да, в других странах много толкуют о свободе, но на самом деле нехватка средств не всем позволяет пользоваться печатным словом. Миллионер и рабочий явно не имеют равных возможностей.

Наша пресса является общественной собственностью нашего народа. Соответственно, она выпускается на некоммерческой основе. В капиталистической газете даже реклама способна влиять на ее политический курс; у нас это, конечно, совершенно невозможно.

Наши газеты издаются правительственными и общественными организациями и полностью независимы от личных, частных или коммерческих интересов. Независимость, в свою очередь, есть синоним свободы. Это ясно как день.

Наши газеты полностью и совершенно независимы от всякого влияния, не отвечающего интересам Народа, которому они принадлежат и которому служат, исключая всех других хозяев. Таким образом, наша страна пользуется свободой слова не в теории, а на деле. Опять же яснее ясного.

В конституциях других стран тоже упоминаются различные «свободы». Однако в действительности эти «свободы» крайне ограничены. Нехватка бумаги сужает свободу печати; неотопливаемые общественные залы не способствуют проведению свободных собраний; а под предлогом регулирования дорожного движения полиция разгоняет демонстрации и шествия.

Газеты в других странах, как правило, прислуживают капиталистам, которые либо владеют собственными печатными органами, либо приобретают колонки в других газетах. К примеру, недавно за несколько тысяч долларов один коммерсант продал другому журналиста по имени Игрок.

С другой стороны, когда более полумиллиона американских текстильщиков объявили забастовку, газеты писали о королях и королевах, кинокартинах и театрах. Самой популярной фотографией, появившейся во всех капиталистических газетах в то время, стало изображение двух редких бабочек, переливавшихся *vsemi tzvetami radugi* [всеми цветами радуги]. О забастовке же рабочих-текстильщиков ни слова!

Приведем сказанное нашим Вождем: «Рабочие знают, что “свобода слова” в так называемых демократических странах – это пустой звук». В нашей стране не может быть никакого расхождения между реальностью и правами, предоставленными гражданам Падуковской Конституцией, поскольку у нас имеются достаточные запасы бумаги, множество отличных печатных станков, просторные и теплые общественные здания, а также великолепные аллеи и парки.

Мы открыты для вопросов и предложений. Фотографии и подробные буклеты высылаются бесплатно по запросу.

(Я сберегу этот листок, подумал Круг, я подвергну его какой-нибудь специальной обработке, которая позволит ему сохраниться в далеком будущем, к вечному удовольствию свободных юмористов. О да, я сберегу его.)

Что касается новостей, то их почти не было ни в «Эквилисте», ни в «Вечернем звоне», ни в других ежедневных газетах, контролируемых правительством. Передовицы, однако, били наповал:

Мы убеждены, что единственным подлинным Искусством является Искусство Дисциплины. Все остальные виды искусств в нашем Идеальном Граде – всего лишь покорные вариации высшего Трубного Зова. Мы любим организацию, к которой принадлежим, больше самих себя, а еще больше мы любим Правителя, который олицетворяет эту организацию с точки зрения нашей эпохи. Мы выступаем за идеальное сотрудничество, сочетающее и уравнивающее тройственность начал государственного устройства: производительного, исполнительного и созерцательного. Мы за совершенную общность интересов среди граждан. Мы за мужественную гармонию между любящим и возлюбленным.

(Читая это, Круг испытал смутное «лакедемонское» ощущение: кнуты и

розги; музыка; и странные ночные ужасы. Он немного знал автора статьи – гнусного старикашку, который под псевдонимом Панкрат Цикутин много лет тому назад редактировал погромистический журнал.)

И еще одна глубокомысленная статья – просто удивительно, до чего строгими сделались газеты.

Человек, никогда не состоявший в масонской ложе или в братстве, клубе, союзе и тому подобном, – ненормален и опасен. Конечно, некоторые объединения были вредны и ныне запрещены, но все же лучше состоять в политически незрелой организации, чем вообще не состоять ни в какой. В качестве примера, искренне восхищаться и следовать которому должен каждый гражданин, мы хотели бы упомянуть нашего соседа, который признается, что ничто на свете, даже самая захватывающая детективная история, даже пухлые прелести его молодой жены, даже мечты каждого молодого мужчины в один прекрасный день стать начальником не могут соперничать с еженедельным наслаждением от слияния со своими товарищами и пения хором в атмосфере доброго веселья и, позвольте добавить, доброго прибытка.

Много внимания в последнее время уделялось выборам в Совет старейшин. Список, включающий тридцать кандидатов и составленный специальной комиссией под председательством Падука, распространялся по всей стране; из тридцати человек избирателям предстояло выбрать одиннадцать. Та же комиссия назначила отряды сторонников («backergrups»), то есть часть лиц из списка получила поддержку специальных агентов, называемых мегафонщиками; они пропагандировали общественные добродетели своих кандидатов на уличных перекрестках, создавая тем самым иллюзию напряженной предвыборной схватки. Вся эта затея была крайне запутанной, да и не имело ни малейшего значения, кто победит, кто проиграет, однако, несмотря на это, газеты дошли до состояния безумного возбуждения, ежедневно, а затем ежечасно в специальных выпусках сообщая результаты борьбы в том или ином округе. Интересной особенностью было то, что в самые напряженные моменты коллективы аграриев или рабочих, подобно насекомым, побуждаемым к совокуплению какими-то необычными атмосферными условиями, внезапно бросали вызов другим таким же коллективам, заявляя о своем желании сразиться с ними в «производственном соревновании» в честь выборов. Как следствие, конечным результатом этих выборов стали не какие-то значимые изменения в составе Совета, а небывалый, хотя и несколько изнурительный энтузиазм «взрывного роста» производства жатвенных машин, сливочных тянучек (в ярких обертках, с рисунками обнаженных девиц, намазывающих лопатки), kolbendeckelschrauben'ов [болт крепления толкателя поршня к головке поршня], nietwippen'ов [рычажные тележки], blechtafel'ов [тонкое листовое железо], krakhmalchik'ов [крахмальные воротнички для мужчин и мальчиков], glockenmetall [bronzo da campane][67], geschützbronze [bronzo da canoni][68], blasebalgen'ов [воздуходувные меха] и других полезных изделий.

Подробные отчеты о различных собраниях фабричных рабочих или коллективных огородников, придиричвые статьи, освещающие недочеты в области счетоводства, разоблачения, известия о деятельности бесчисленных профессиональных союзов и резкие акценты в напечатанных

en escalier[69] стихах (что, между прочим, утраивало построчный гонорар), посвященных Падуку, полностью заменили уютные убийства, бракосочетания и боксерские поединки более счастливых и легкомысленных времен. Как если бы одну сторону земного шара разбил паралич, а другая продолжала улыбаться скептической – и слегка глуповатой – улыбкой.

14

Его никогда не занимали поиски Истинной Субстанции, Единого, Абсолюта, Бриллианта, подвешенного на рождественской елке вселенной. То, что конечный разум способен вглядываться в переливы невидимого сквозь тюремную решетку целых чисел, всегда казалось ему несколько комичным. И даже если бы Вещь можно было постичь, с какой стати он или кто-либо другой, если уж на то пошло, должен желать, чтобы феномен утратил свои локоны, свою маску, свое зеркало и стал лысым ноуменом?

С другой стороны, если (как полагают некоторые неоматематики из тех, кто помудрее) позволительно сказать, что физический мир состоит из измеряемых групп (клубков напряжений, закатных роев электрических мошек), движущихся подобно *mouches volantes*[70] на темном фоне, лежащем за рамками физики, то, конечно, смиренное ограничение своих интересов измерением измеримого отдает самой унижительной бесплодностью. Убирайтесь вы прочь, со своей линейкой и весами! Ибо без ваших правил, в незапланированном событии, отличном от пэпер-чэс науки, босоногая Материя все-таки догоняет Свет.

Затем мы представим себе призму или камеру, где радуги – это всего лишь октавы эфирных вибраций и где космогонисты с прозрачными головами непрерывно входят друг в друга и проходят сквозь вибрирующие пустоты друг друга, в то время как повсюду различные системы отчета пульсируют Фицджеральдовыми сокращениями. Затем хорошенько встряхнем телескопидный калейдоскоп (ибо что такое ваш космос, как не прибор, содержащий кусочки цветного стекла, которые благодаря расположению зеркал принимают при вращении различные симметричные формы – заметьте: при вращении) и зашвырнем эту чортову штуку подальше.

Сколь многие из нас брались строить заново – или полагали, что строят заново! Потом они обозрели свои построения. И глядите-ка: Гераклит Плакучая Ива серебрился у двери, а Парменид Дымный валил из трубы, и Пифагор (уже внутри) рисовал тени оконных рам на сверкающем вощеном полу, где резвились мухи (я сажусь, а ты пролетаешь мимо; потом я взлетаю, а ты садишься; потом вздрог-дрог-дрог; потом мы вместе взлетаем).

Долгие летние дни. Ольга играет на рояле. Музыка, порядок.

Неудача Круга, думал Круг, заключается в том, что лето за летом и с небывалым успехом он очень тонко препарировал чужие системы, благодаря чему приобрел репутацию ученого с озорным чувством юмора и

дивным здравым смыслом, тогда как на самом деле он был громадным грустным боровом, а все это «здравомыслие» обернулось градуальным, слой за слоем, рытьем ямы, пригодной для чистой воды улыбающегося безумия.

Его обычно называли одним из самых выдающихся философов своего времени, но он знал, что на деле никто не мог определить, какие такие особенные черты отличают его философию, или что значит «выдающийся», или что именно подразумевается под «его временем», или кто те другие выдающиеся особы. Если каких-нибудь иностранных писателей называли его учениками, ему не удавалось найти в их сочинениях ничего, что хотя бы отдаленно напоминало тот стиль или образ мыслей, которые без его согласия ему приписывали критики, так что в конце концов он стал относиться к самому себе (крупному грубому Кругу) как к иллюзии или скорее как к совладельцу иллюзии, высоко оцененной множеством культурных людей (с щедрой примесью полукультурных). Его положение во многом походило на то, что обычно случается в романах, когда автор и его поддакивающие персонажи утверждают, что герой – «великий художник» или «большой поэт», не приводя, однако, никаких доказательств (репродукций картин, образцов поэзии); на самом деле даже избегая приводить такие подтверждения, поскольку любой образчик наверняка не оправдает читательских ожиданий и фантазии. Гадая, кто его так превознес, кто вывел его на экран славы, Круг не мог отделаться от ощущения, что каким-то странным образом он действительно заслужил все это, что он на самом деле крупнее и умнее большинства окружающих его людей; но он также знал, что то, что люди видели в нем, возможно, сами того не осознавая, было не замечательным расширением положительной материи, а своего рода беззвучным застывшим взрывом (как если бы катушка была остановлена в момент детонации бомбы) с какими-то осколками, изящно повисшими в воздухе.

Когда этот тип ума, столь искушенного в «созидательном разрушении», говорит себе, как мог бы сказать любой несчастный, сбитый с толку философ (о, это тесное и неудобное «я», этот шахматный Мефисто, сокрытый в cogito[71]!): «Итак, я расчистил почву, теперь я начну строить, и мир станет лучше, и боги древней философии не должны вмешиваться», – в конечном счете обычно остается холодная кучка трюизмов, выуженных из искусственного озера, в которое они были намеренно помещены с этой целью. Круг же надеялся выудить нечто, принадлежащее не только к неопisanному виду, роду, семейству или отряду, но представляющее совершенно новый класс.

Теперь внесем полную ясность. Что важнее разрешить: внешнюю проблему (пространство, время, материя, неизведанное вовне) или внутреннюю (жизнь, сознание, любовь, неизведанное внутри) или, опять же, точку их соприкосновения (смерть)? Ведь мы согласны, правда же, что проблемы как таковые действительно существуют, даже если мир представляет собой нечто, состоящее из ничего внутри ничто, состоящего из чего-то. Или «внешнее» и «внутреннее» тоже иллюзии, так что о высокой горе можно сказать, что она возвышается на тысячу снов, а надежду и ужас столь же легко можно нанести на карту, как мысы и заливы, названные этими словами?

Отвечай! О что за восхитительное зрелище: осторожный логик, пробирающийся среди колючих кустов и волчьих ям мысли, помечающий дерево или утес (здесь я прошел, этот Нил раскрыт), оглядывающийся назад («другими словами –»), опасливо пробуя топкую поверхность («теперь давайте обратимся –»), останавливающий свой вагон с туристами у подножия метафоры или Простого Примера («предположим, что лифт –»), продвигающийся вперед, одолевающий все препятствия и наконец с триумфом достигающий самого первого помеченного им дерева!

А кроме того, думал Круг, я, вдобавок ко всему, раб образов. Мы говорим о вещи по сходству с другой вещью, тогда как на самом деле мы жаждем описать что-то, что не похоже ни на что. Некоторые мысленные образы настолько искажены понятием «время», что мы начинаем верить в реальное существование постоянно движущейся яркой щели (точки восприятия) между нашей ретроспективной вечностью, которой мы не можем вспомнить, и будущей вечностью, которой мы не можем знать. На деле же мы не в состоянии измерить время, поскольку никакая золотая секунда не хранится в ящичке в Париже, но, положив руку на сердце, разве вы не представляете себе протяженность в несколько часов более точно, чем протяженность в несколько миль?

А теперь, дамы и господа, мы переходим к вопросу смерти. С той долей достоверности, которая фактически доступна, можно сказать, что стремление к совершенному знанию – это попытка точки в пространстве и времени отождествить себя со всеми другими точками; смерть – это либо мгновенное обретение абсолютного знания (сравнимое, скажем, с мгновенным распадом камня и плуща, составляющих круглую башню, в которой заключенному до сего момента оставалось довольствоваться двумя маленькими отверстиями, оптически сливающимися в одно, а теперь, с исчезновением всех стен, он может обозревать всю круговую панораму), либо абсолютное небытие, *nichto*.

И это, фыркнул Круг, вы называете совершенно новым типом мышления! Скучный улов.

Кто бы мог подумать, что его мощный мозг станет таким рассеянным? В прежние времена, стоило ему взять в руку книгу, как подчеркнутые места и молнии его заметок на полях почти автоматически соединялись в целое, и возникало новое эссе, новая глава, – а теперь он едва мог поднять тяжелый карандаш с толстого пыльного ковра, на который тот выпал из его слабой руки.

Четвертого он покопался в старых бумагах и нашел перепечатку лекции о Генри Дойле, с которой выступал перед Философским обществом Вашингтона. Он перечитал отрывок, полемически приведенный им по отношению к идее субстанции: «Когда все тело сладкое и белое,

движения белизны и сладости повторяются в разных местах и смешиваются...» [Da mi basia mille[72].]

Пятого он пешком отправился в Министерство юстиции и потребовал аудиенции в связи с арестом его друзей, но постепенно выяснилось, что учреждение превращено в гостиницу и что человек, принятый им за высокопоставленного чиновника, был всего лишь метрдотелем.

Восьмого, когда он показывал Давиду, как нужно коснуться хлебного катышка кончиками двух скрещенных пальцев, чтобы возник своего рода зеркальный эффект в терминах осязания (ощущение второго катышка), Мариетта облокотилась голой рукой о его плечо и с интересом смотрела, все время ерзая, щекоча ему висок каштановыми волосами и почесывая себе бедро вязальной спицей.

Десятого студент по имени Фокус предпринял попытку увидеться с ним, но допущен не был, отчасти потому, что Круг никогда не позволял каким-либо учебным вопросам беспокоить его за пределами его (в данный момент не существующего) университетского кабинета, а главным образом потому, что имелись основания полагать, что этот Фокус может быть правительственным шпионом.

В ночь на двенадцатое ему приснилось, что он тайком наслаждается Мариеттой, пока она, слегка морщась, сидит у него на коленях во время репетиции пьесы, в которой она должна была играть его дочь.

В ночь на тринадцатое он напился.

Пятнадцатого незнакомый голос по телефону сообщил ему, что Бланш Гедрон, сестру его друга, тайно вывезли за границу, и что теперь она в безопасности в Будафоке, местечке, расположенном, по-видимому, где-то в Центральной Европе.

Семнадцатого он получил престранное письмо:

Состоятельный господин,

двое ваших друзей, господа Беренц и Марбел, сообщили моему агенту за границей, что вы хотели бы приобрести репродукцию шедевра Турока «Побег». Если вы сообразовали посетить мой магазин («Брик-а-брак», ул. Тусклофонарная, 14) около пяти часов пополудни в понедельник, вторник или пятницу, я буду счастлив обсудить возможность вашего —

Конец предложения скрыла большая клякса. Подпись гласила: «Питер Квист, антиквариат».

После продолжительного изучения карты города Круг нашел эту улицу в его северо-западном углу. Он отложил увеличительное стекло и снял очки. Издавая те негромкие, клейкие звуки, которые обычно издавал в таких случаях, он снова надел очки и взял увеличительное стекло, чтобы выяснить, каким из автобусных маршрутов (отмеченных красным) можно туда добраться, если туда вообще ходят автобусы. Да, ходят. Вдруг, безо всякой причины, он вспомнил, как Ольга приподнимала левую бровь, когда смотрелась в зеркало.

У всех ли случается такое? Лицо, фраза, пейзаж, воздушный пузырек из прошлого внезапно всплывает, словно выпущенный дитятей главного надзирателя из какой-то клетки мозга, пока сознание занято чем-то совершенно другим? Нечто подобное происходит на грани сна, когда то, что, как тебе кажется, ты думаешь – вовсе не то, что ты думаешь. Или два параллельно идущих состава мыслей, один из которых обгоняет другой.

Он вышел из дома, грубоватые кромки воздуха пахивали весной, хотя год только начался.

Новый диковинный закон требовал, чтобы каждый, кто садится в автобус, не только предъявлял паспорт, но и передавал кондуктору свою фотокарточку с номером и подписью. Проверка соответствия портрета, номера и подписи паспортным данным отнимала массу времени. Постановление, кроме того, предписывало, что в случае, если пассажир не располагает точной суммой для оплаты поездки (17 цента за милю), то все, что он заплатит сверх этого, ему будет возвращено в окраинном почтовом отделении, при условии, что он займет свое место в очереди не позднее чем через тридцать три часа после того, как покинет автобус. Выписывание и штемпелевание измученным кондуктором квитанций вызывало дополнительные задержки, а поскольку, согласно тому же постановлению, автобус останавливался лишь на тех остановках, на которых желали сойти не менее трех пассажиров, к проволочкам добавлялась немалая путаница. И несмотря на все эти меры, автобусы в те дни были на редкость переполнены.

Кругу все же удалось добраться до цели: вместе с двумя юношами, коих он подкупил (заплатив каждому по десять крун), дабы они согласились составить с ним необходимое трио, он сошел именно там, где намеревался. Его спутники, честно признавшись, что зарабатывают этим на жизнь, тут же вскочили в проходивший трамвай (где правила передвижения были еще сложнее).

Пока он ехал, наступили сумерки, и кривая улочка полностью оправдывала свое название. Он испытывал нервное возбуждение, неуверенность, тревогу. Он рассматривал возможность побега из Падукграда в другую страну как своего рода возвращение в собственное прошлое, потому что в прошлом его страна была свободной. Если предположить, что пространство и время едины, то бегство и возвращение становятся взаимозаменяемыми. Отличительные черты прошлого (недооцененное в свое время блаженство, ее огненные волосы, ее голос, читающий сыну о милых очеловеченных зверушках) представлялись такими, как будто их можно было заменить или, по крайней мере, имитировать чертами страны, где его ребенок мог расти в безопасности, на воле, в мире и покое (длинный-предлинный пляж, усеянный телами, сияющая милашка и ее атласный атлет – реклама каких-то американских товаров, где-то увиденная, почему-то запавшая в память). Боже мой, подумал он, *que j'ai été veule*[73], этим следовало заняться еще несколько месяцев тому назад – мой дорогой бедный друг был прав. На улице, казалось, теснились одни книжные лавки и маленькие темные рюмочные. Вот и пришли. Рисунки с птицами и цветами, старые книги, фарфоровый кот в горошек. Круг открыл дверь.

Владелец магазина, Питер Квист, был человеком средних лет, со смуглым лицом, приплюснутым носом, черными подстриженными усиками и черными выщипанными волосами. На нем был летний костюм в сине-белую полоску, из тех, что можно стирать, – безыскусный, но опрятный. Когда Круг вошел, он прощался с пожилой дамой, шею которой обвивало старомодное пушисто-серое боа. Прежде чем опустить вуаль и удалиться, она пристально посмотрела на Круга.

«Знаете, кто это был?» – спросил Квист.

Круг покачал головой.

«Доводилось ли вам видеть вдову покойного президента?»

«Да, доводилось».

«А его сестру – доводилось?»

«Не думаю».

«Что ж, это была его сестра», – небрежно сказал Квист.

Круг высморкался и, вытирая нос, скользнул взглядом по содержимому магазина: книги по большей части. В углу гнила груда «Librairie Hachette» [74] (Мольер и все такое) – отвратительная бумага, оторванные корешки. Дивный эстамп из какой-то книги про насекомых, относящейся к началу XIX века, изображал глазчатого бражника и его шагреновую гусеницу, льнущую к ветке и выгибающую шею. Одна из панелей была украшена большой выцветшей фотографией (1894 года) с дюжиной одетых в трико усатых мужчин с искусственными конечностями (у некоторых – обе руки и нога) и многокрасочной картиной с плоскодонкой на Миссисипи.

«Что ж, – сказал Квист, – я определенно рад с вами познакомиться».

Последовало рукопожатие.

«Ваш адрес я получил от Турока, – сказал добродушный антиквар, когда они с Кругом устроились в креслах в глубине магазина. – Прежде чем мы придем к какому-либо соглашению, я хочу со всей откровенностью сообщить вам следующее: я всю жизнь занимаюсь контрабандой – наркотики, бриллианты, старые мастера... А теперь – люди. Я делаю это исключительно ради того, чтобы иметь возможность оплачивать свои личные прихоти и похоти, но работаю на совесть».

«Да, – сказал Круг, – да, понимаю. Некоторое время тому назад я пытался разыскать Турока, но он уезжал по делам».

«Ну, он получил ваше красноречивое письмо как раз перед арестом».

«Да, – сказал Круг, – да. Так его арестовали. Этого я не знал».

«Я поддерживаю связь со всей группой», – пояснил Квист с легким

поклоном.

«Скажите, – спросил Круг, – а нет ли у вас каких-либо сведений о моих друзьях – Максимовых, Эмбере, Гедроне?»

«Никаких, хотя мне легко себе представить, сколь ужасными должны им казаться тюремные порядки. Позвольте мне обнять вас, профессор».

Он наклонился вперед и по старомодному обычаю поцеловал Круга в левое плечо. На глазах у Круга выступили слезы. Квист смущенно кашлянул и продолжил:

«Однако не будем забывать, что я черствый делец и, стало быть, выше этих... излишних эмоций. Конечно, я хочу спасти вас, но еще я хочу получить за это деньги. Вам придется заплатить мне две тысячи крон».

«Не так и много», – сказал Круг.

«В любом случае, – сухо заметил Квист, – этого достаточно, чтоб нанять храбрецов, которые переправляют моих дрожащих от страха клиентов через границу».

Он поднялся, взял коробочку турецких папирос, предложил одну Кругу (тот отказался), закурил и аккуратно устроил горящую спичку в розово-лиловой морской раковине, служившей пепельницей, – так, чтобы она продолжала гореть. Ее кончик скрючился, почернел.

«Простите мне, что я поддался порыву симпатии и душевной экзальтации, – сказал он. – Видите этот шрам?»

Он показал тыльную сторону ладони.

«Я получил его, – сказал он, – на дуэли в Венгрии четыре года тому назад. Мы дрались на саблях. Несмотря на несколько полученных мною ран, я все же прикончил противника. Выдающийся был человек – блестящий ум, нежное сердце, – но он имел несчастье в шутку отозваться о моей младшей сестре как о “cette petite Phryné qui se croit Ophélie” [75]. Видите ли, романтическая малышка пыталась утопиться в его бассейне».

В молчании он затянулся и выпустил дым.

«Неужели нет никакого способа вытащить их оттуда?» – спросил Круг.

«Откуда? Ах да, конечно. Нет. Моя организация другого рода. На нашем профессиональном жаргоне мы зовемся fruntgenz [пограничные гуси], а не turmbrokhén [беглые колодники]. Вы все еще готовы заплатить мне столько, сколько я скажу? Вене [76]. А были бы готовы, запроси я все ваши деньги?»

«Конечно, – сказал Круг. – Любой заграничный университет возместит мне эти расходы».

Квист рассмеялся и несколько застенчиво принялся выуживать кусочек

ваты из пузырька с какими-то таблетками.

«Знаете что? – сказал он с ухмылкой. – Будь я agent provocateur[77], кем я, разумеется, не являюсь, я бы сделал следующее умозаключение: Мадамка (предположим, что это ваше прозвище в тайном отделении) горит желанием покинуть страну, чего бы это ему ни стоило».

«И, ей-богу, были бы правы», – сказал Круг.

«Вам, кроме того, придется сделать мне особенный подарок, – продолжил Квист. – А именно вашу библиотеку, ваши рукописи, каждый клочок бумаги. Покидая страну, вы должны быть голым, как дождевой червь».

«Отлично, – сказал Круг. – Я сохраню для вас содержимое моей мусорной корзины».

«Что ж, – сказал Квист. – Коли так, то, пожалуй, на этом все».

«Когда вы сможете это устроить?» – спросил Круг.

«Устроить что?»

«Мой побег».

«Ах, это. Что ж – А вы спешите?»

«Да. Ужасно спешу. Хочу поскорее вывезти отсюда моего ребенка».

«Ребенка?»

«Да, сына, ему восемь».

Последовало странное молчание. Лицо Квиста медленно залилось тусклым румянцем. Он опустил глаза. Своими мягкими когтями он пощипал и подергал себя за рот и щеки. Какими же олухами они были! Теперь-то повышение по службе ему обеспечено.

«Мои клиенты, – сказал Квист, – вынуждены проходить по двадцать миль через заросли черники и клюквенные болота. Остальное время они лежат на дне грузовиков, ощущая каждый толчок. Еда скудная, грубая. Чтобы справить нужду, приходится терпеть часов по десять, а то и дольше. Вы человек крепкий, выдержите. Но о том, чтобы взять с собой ребенка, конечно, не может быть и речи».

«О, я думаю, он будет тих как мышь, – сказал Круг. – И я смогу нести его столько, сколько смогу идти сам».

«Однажды, – пробормотал Квист, – вы не смогли пронести его и две мили до станции».

«Прошу прощения?»

«Я сказал: однажды вы не сможете пронести его даже отсюда до

станции. Впрочем, не это главное. Сознаете ли вы степень опасности?»

«Отчасти. Но я не в силах оставить своего ребенка здесь».

Последовало новое молчание. Квист намотал кусочек ваты на спичечную головку и принялся исследовать внутренние углубления левого уха. Он с удовольствием осмотрел добытое золото.

«Хорошо, — сказал он, — я подумаю, что можно сделать. Само собой, мы должны поддерживать связь».

«Не следует ли нам условиться о встрече? — предложил Круг, поднимаясь с кресла и оглядываясь в поисках шляпы. — Я имею в виду, что вам, возможно, понадобится задаток. Да, вижу. Она под столом. Спасибо».

«Пожалуйста, — сказал Квист. — Быть может, в один из дней на будущей неделе? Вторник подойдет? Часов в пять пополудни?»

«Это было бы идеально».

«Могли бы мы встретиться на мосту Нептуна? Скажем, возле двадцатого фонаря?»

«С удовольствием».

«К вашим услугам. Признаюсь, наш короткий разговор замечательным образом прояснил всю картину. Жаль, что вы не можете остаться подольше».

«Я с содроганием думаю о долгом пути домой, — сказал Круг. — Мне потребуется целая вечность, чтобы вернуться».

«Ах, вот что. Но я могу показать вам путь покороче, — сказал Квист. — Погодите минутку. Очень короткий и приятный прямой путь».

Он подошел к винтовой лестнице и, глядя вверх, позвал:

«Мак!»

Ответа не последовало. Он подождал, то обращая лицо кверху, то поворачиваясь к Кругу, — на самом деле не глядя на Круга, — моргая и прислушиваясь.

«Мак!»

Ответа снова не последовало, и, еще немного подождав, Квист решил сам подняться наверх и взять то, что ему было нужно.

Круг осмотрел несколько жалких вещей на полке: старый заржавевший велосипедный звонок, бурую теннисную ракету, держатель перьевой ручки из слоновой кости с крошечным хрустальным глазком. Он поглядел в него, прикрыв один глаз; увидел киноварный закат и черный мост. Gruss aus Padukbad[78].

Напевая и подскакивая, Квист спустился вниз со связкой ключей в руке. Он выбрал самый блестящий из них и отпер потайную дверцу под лестницей. Молча указал на длинный проход. Вдоль тусклыми лампами освещенных стен тянулись коленчатые водопроводные трубы и висели старые афиши.

«Ну и ну, очень вам признателен», – сказал Круг.

Но Квист уже закрыл за ним дверь. Круг двинулся по проходу, пальто расстегнуто, руки в карманах брюк. Его тень сопровождала его, как чернокожий носильщик, несущий слишком много чемоданов.

Вскоре он дошел до другой двери, сделанной из грубо сколоченных досок. Он толкнул ее и оказался на заднем дворе собственного дома. Утром следующего дня он спустился вниз, чтобы осмотреть этот выход с точки зрения входа. Однако теперь он был искусно замаскирован, частично сливаясь с досками, прислоненными к дворовой стене, а частично – с дверью пролетарской уборной. Приставленный к его дому скорбного вида сыщик и нечто вроде шарманщика, сидя неподалеку на куче кирпичей, играли в железку; у их ног на усыпанной пеплом земле валялась грязная девятка пик, и, озаренный нетерпеливой мечтой, он отчетливо представил себе перрон и посмотрел на игральную карту и кусочки апельсиновой кожуры, оживлявшие угольную пыль между рельсами под пульмановским вагоном, который все еще ждал его в смеси лета и дыма, но через минуту уже должен был катить со станции прочь, далеко, далеко, в светлую мглу немислимых Каролин. И, следуя за ним вдоль тонущих в сумраке болот, преданно вися в вечернем эфире, скользя по телеграфным проводам, столь же непорочный, как водяной знак на бумаге верже, и столь же мягко движущийся, как спутанный клубок клеток, поперечно плывущих в утомленных глазах, – лимонно-палевый двойник светильника, горящего над пассажиром, пустится в таинственное странствие по бирюзовому ландшафту в окне.

16

Три стула поставлены друг за другом. Идея та же.

«Что это?»

«Путеочиститель».

Путеочиститель изображался доской для игры в китайские шашки, прислоненной к ножкам первого стула. Последний стул представлял собой экскурсионный вагон, в котором пассажиры обозревают виды.

«Вот оно что. А теперь машинисту пора в постель».

«Поторопись, папочка! Садись же! Поезд отправляется!»

«Послушай, мой милый —»

«Ну пожалуйста, сядь хотя бы на минуту».

«Нет, мой милый — я тебе уже сказал».

«Но это только на одну минуту. Ах, папочка! Мариетта отказалась, ты отказался. Никто не хочет путешествовать со мной в моем суперпоезде».

«Не сейчас. Уже, правда, время —»

Ложиться спать, идти в школу — время спать, время обедать, время умываться, никогда не просто «время»; время вставать, время идти, время возвращаться домой; время гасить свет, время умирать.

Что за пытка, думал Круг, мыслитель, столь неистово любить маленькое создание, каким-то таинственным образом (еще более таинственным для нас, чем для самых первых мудрецов в их бледно-оливковых рощах) сотворенное слиянием двух таинств, или, скорее, двух наборов из триллиона таинств каждый; образованное слиянием, которое в одно и то же время есть следствие выбора, и следствие случая, и следствие чистого волшебства; образованное таким образом и пущенное накапливать триллионы собственных тайн; а все вместе исполнено сознания, которое является единственной реальностью в мире и величайшей тайной из всех.

Он увидел Давида, ставшего на год-два старше и присевшего на пестро-ярлычный дорожный сундук у здания таможни на причале.

Он увидел его, катящего на велосипеде между удивительно ярких кустов форзиции и тонких голубых березок по дорожке с табличкой «No bicycles»[79]. Он увидел его на краю плавательного бассейна, лежащим на животе в мокрых черных шортах, одна лопатка резко торчит, вытянутая рука вытряхивает радужную воду, затопившую игрушечный эсминец. Увидел его в одном из тех сказочных угловых «аптекарских магазинов», где с одной стороны продаются кремы для лица, а с другой — сладкие замороженные кремы, сидящим там на высоком вращающемся табурете у стойки молочного бара и тянущим шею к сиропным помпам. Увидел, как он бросает мяч особым стряхивающим движением запястья, неизвестным на его европейской родине. Увидел его юношей, пересекающим «техникolorовых» оттенков университетский двор. Увидел его в причудливом облачении (напоминающем жокейское, за исключением ботинок и чулок), которым щеголяют спортсмены в американских играх с мячом. Увидел, как он учится летать. Увидел его двухлетним, сидящим на ночном горшке, ерзающим, лепечущим что-то, рывками передвигающимся на этом горшке, скрипящем по полу детской. Он увидел его сорокалетним мужчиной.

Накануне назначенного Квистом дня он пришел на мост для разведки, поскольку ему подумалось, что место встречи может быть опасным из-за солдат; однако солдаты давно исчезли и мост пустовал — Квисту ничего

не мешало прийти в любое время. У Круга была лишь одна перчатка, и он забыл очки, и потому не мог перечитать детальной записки, которую дал ему Квист, со всеми паролями и адресами, схематической картой и ключом к шифру всей жизни Круга. Впрочем, это не имело большого значения. Небо прямо над его головой было подбито лиловым и рыхлым оком толстой тучи; очень крупные, сероватые, полупрозрачные снежинки неправильной формы медленно и строго отвесно опускались вниз, — и когда касались темной поверхности Кура, то — странное дело — плавали на воде, вместо того чтобы сразу же истаять. Дальше, за краем тучи, внезапная нагота неба и реки улыбнулась ограниченному мостом наблюдателю, и перламутровое сияние озарило изгибы далеких гор, откуда это сияние по-разному перенималось рекой, и улыбающейся печалью, и первыми вечерними огнями в окнах прибрежных домов. Следя за снежинками на темной и прекрасной воде, Круг пришел к выводу, что либо хлопья были настоящими, а вода — нет, либо вода была настоящей, а хлопья были сделаны из какого-то особого нерастворимого материала. Чтобы это проверить, он уронил с моста свою вдовую перчатку; однако ничего необычного не произошло: перчатка попросту вонзилась в рифленую поверхность воды вытянутым указательным пальцем, погрузилась и пропала.

На южном берегу (с которого он пришел) он мог обозревать, выше по течению, розовый дворец Падука, бронзовый купол собора и голые деревья городского сада. На другой стороне реки тянулись ряды старых доходных домов, за которыми (невидимый, но душераздирающе присутствующий) стоял госпиталь, где она умерла. Пока он размышлял таким образом, сидя бочком на каменной скамье и глядя на реку, вдаль появился буксир, волокущий баржу, и в тот же миг одна из последних снежинок (туча над головой, казалось, растворялась в щедро зарумянившемся небе) задела его нижнюю губу — обычное, мягкое и влажное снежное перышко, отметил он, хотя, возможно, те, что падали на саму воду, были другими. Буксир неуклонно приближался. Когда он уже готов был поднырнуть под мост, двое мужчин, оскалась от напряжения и ухватившись за веревку, оттянули назад и вниз громадную черную дымовую трубу, дважды опоясанную кольцами багрового цвета; один из них был китайцем, как и большинство речников и прачников города. На шедшей за буксиром барже сушилось с полдюжины ярких рубаш, на корме виднелось несколько горшков с геранью, и очень толстая Ольга в желтой кофте, которой он не любил, уперев руки в бока, глядела вверх на Круга, пока баржу в свой черед гладко заглатывала арка моста.

Он проснулся (неудобно лежащий в своем кожаном кресле) и тотчас понял, что случилось нечто необыкновенное. Это не имело никакого отношения ни к сновидению, ни к совершенно беспричинному и довольно нелепому физическому неудобству, которое он испытывал (локальная конгестия), ни к чему-либо еще, что он вспомнил, увидев свою комнату (неряшливую и пыльную в неряшливом и пыльном освещении), ни ко времени (четверть девятого вечера — он заснул после раннего ужина). А случилось вот что: к нему, как он осознал, вернулась способность сочинять.

Он пошел в ванную, принял, как славный маленький бойскаут, холодный душ и, весь дрожа от нетерпения и чувствуя себя очень уютно в чистой

пижамной паре и халате, дал своему вечному перу вдоволь напиться из чернильницы, но тут вспомнил, что Давид в это время ложится спать, и решил покончить с этим немедленно, чтобы потом не отвлекаться на зовы из детской. В коридоре по-прежнему один за другим стояли три стула. Давид лежал в постели и, очень быстро вперед-назад двигая графитовым карандашом, равномерно заштриховывал часть бумажного листа, положенного на волокнистую мелкозернистую обложку большой книги. Движения производили довольно приятный для слуха звук, одновременно шаркающий и шелковистый, с чем-то вроде нарастающей жужжащей вибрации, сопровождающей скоропись. Точечная фактура обложки постепенно проявлялась на бумаге в виде серой решетки, а затем с волшебной точностью и совершенно независимо от (непреднамеренно косога) направления карандашных штрихов высокими и узкими белыми буквами возникло оттиснутое слово АТЛАС. Любопытно, а что, если, таким же манером штрихуя свою жизнь –

Карандаш треснул. Давид попытался выровнять шатающийся кончик в сосновом гнезде и использовать карандаш таким образом, чтобы более длинный выступ дерева служил опорой, но грифель обломился непоправимо.

«Ничего, – сказал Круг, желавший поскорее вернуться к собственным писаниям, – все равно уже время гасить свет».

«Сперва рассказ о путешествии», – сказал Давид.

Круг несколько вечеров подряд развивал многосоставную историю о приключениях, ожидающих Давида на пути в далекую страну (мы остановились на том, как мы, затаив дыхание, дыша очень-очень тихо под овчинными одеялами и пустыми картофельными мешками, скорчились на дне саней).

«Нет, не сегодня, – сказал Круг. – Уже очень поздно, я занят».

«Еще совсем не поздно!» – воскликнул Давид, вдруг с горящими глазами садясь в постели и ударяя кулачком по атласу.

Круг убрал книгу и склонился над сыном, чтобы поцеловать его на ночь. Давид резко отвернулся к стене.

«Как знаешь, – сказал Круг, – но лучше пожелай мне покойной ночи, потому что я больше не приду».

Давид, дуясь, натянул одеяло на голову. Круг, кашлянув, выпрямился и погасил лампу.

«И не подумаю уснуть», – глухо сказал Давид.

«Тебе решать», – сказал Круг, стараясь подражать мягкому педагогическому тону Ольги.

В темноте наступило молчание.

«Покойной ночи, dushka [animula[80]]», – сказал Круг с порога.

Молчание. Не без раздражения он подумал, что ему придется вернуться через десять минут и повторить процедуру во всех деталях. Как нередко случалось, это был лишь первый черновой набросок ритуального пожелания спокойной ночи. С другой стороны, и сон, конечно, мог уладить дело. Он закрыл дверь и, завернув за угол коридора, столкнулся с Мариеттой: «Смотри, куда идешь, девочка», – резко сказал он и ударился коленом об один из стульев, оставленных Давидом.

В этом предварительном отчете о бесконечном сознании некоторая расплывчатость основных положений неизбежна. Мы должны обсуждать зрение, не имея возможности видеть. Приобретенное в ходе подобного обсуждения знание неминуемо будет находиться в таком же отношении к истине, в каком черное павлинье перо, интраокулярно возникающее при нажатии на глазное яблоко, находится по отношению к садовой дорожке, испещренной настоящим солнечным светом.

Ну конечно, скажет читатель со вздохом, – белок проблемы вместо ее желтка; *sonni, mon vieux!*[81] Все та же старая бесплодная софистика, все те же старые, покрытые пылью алембики – и мысль несется вперед, как ведьма на метле! Но ты ошибаешься, придирчивый болван.

Не обращай внимания на мой резкий выпад (хотелось тебя растормошить) и обдумай следующий пункт: можем ли мы довести себя до состояния панического ужаса, попытаюсь вообразить бесконечное число лет, бесконечные складки темного бархата (заполните их сухостью свой рот), одним словом, бесконечное прошлое, предшествующее дню нашего рождения? Нет, не можем. Отчего? По той простой причине, что мы уже прошли через вечность, уже однажды не существовали и обнаружили, что этот *néant*[82] никаких ужасов не содержит. То, что мы безуспешно пытаемся сделать, это наполнить благополучно пройденную нами бездну ужасами, позаимствованными из бездны, лежащей впереди, причем сама эта бездна заимствована из бесконечного прошлого. Таким образом, мы живем в чулке, который постоянно выворачивается наизнанку, и мы даже не знаем наверняка, какой фазе этого процесса соответствует наш момент сознания.

Начав работать, он продолжал писать с несколько даже трогательным (если посмотреть со стороны) жаром. Да, он был ранен, да, что-то в нем надломилось, но пока что прилив второсортного вдохновения и несколько вычурная образность поддерживали этот порыв. Через час или около того он остановился и перечитал исписанные им четыре с половиной страницы. Теперь путь был расчищен. Он, между прочим, в одном емком предложении упомянул несколько религий (не забыв и «ту чудесную еврейскую секту, чья греза о кротком молодом раввине, умирающем на римском *сгух*[83], распространилась по всем северным землям») и отбросил их вместе с призраками и кобольдами. Перед ним расстилались бледные звездные небеса ничем не стесненной философии, но он подумал, что не прочь выпить. Все еще держа в руке оголенное перо, он побрел в столовую. Снова она.

«Давид спит?» – спросил он в форме какого-то лишенного интонации брюзжания и не поворачивая головы, пока, склонившись, искал бренди в

нижнем отделении буфета.

«Должно быть», – ответила она.

Он откупорил бутылку и вылил часть ее содержимого в зеленый бокал.

«Спасибо», – сказала она.

Он не мог не посмотреть на нее. Она, сидя за столом, штопала чулок, ее голая шея и лодыжки казались необычайно белыми на фоне черного платья и черных туфелек.

Она оторвала глаза от работы, склонив голову набок; на лбу появились мягкие морщины.

«Что скажете?» – спросила она.

«Никакого спиртного, – ответил он. – Рутбир, если хотите. Кажется, есть в холодильнике».

«Какой вы гадкий, – сказала она, опуская свои неряшливые ресницы и иначе скрещивая ноги. – Вы ужасный человек. Сегодня вечером я чувствую себя весьма».

«Весьма что?» – спросил он, хлопнув дверцей буфета.

«Просто весьма. Весьма во всех отношениях».

«Покойной ночи, – сказал он. – Не засиживайтесь допоздна».

«Можно я побуду у вас в комнате, пока вы пишете?»

«Разумеется, нет».

Он повернулся, чтобы уйти, но она позвала его обратно:

«Вы забыли самописку на буфете».

Застонав, он, со стаканом в руке, вернулся и взял перо.

«Когда я остаюсь одна, – сказала она, – я сижу и делаю вот так, как сверчок. Послушайте, пожалуйста».

«Послушать что?»

«А вы разве не слышите?»

Она сидела, приоткрыв губы, слегка двигая плотно скрещенными ладонями, издавая крохотный звук, мягкий, лабиальный, с чередующимся стрекотом, как будто потирая ладони, которые, однако, лежали неподвижно.

«Стрекочу, как бедный одинокий сверчок», – сказала она.

«Я несколько глуховат», – заметил на это Круг и снова побрел к себе.

Он подумал, что ему следовало бы пойти посмотреть, уснул ли Давид. Ох, наверняка уснул, иначе он бы услышал отцовские шаги и позвал бы его. Кругу не хотелось снова проходить мимо открытой двери столовой, и потому он сказал себе, что Давид, верно, как раз засыпает и, вероятно, вторжение, каким бы благонамеренным оно ни было, его разбудит. Не вполне ясно, почему он предавался всем этим аскетическим ограничениям, когда с таким наслаждением мог бы избавиться от своего вполне естественного напряжения и неудобства с помощью этой пылкой puella[84] (за чей гибкий животик римляне помоложе, чем он, заплатили бы сирийским работникам не меньше двадцати тысяч денариев). Быть может, его удерживали какие-то острые сверхматримониальные угрызения совести или мрачная печаль всего происходящего. К сожалению, его писательский порыв внезапно угас, и он не знал, чем себя занять. Спать не хотелось, поскольку он выспался после ужина. Бренди только усилило чувство досады. Он был крупным грузным мужчиной густоволосого типа с несколько бетховенскими чертами лица. Он овдовел в ноябре. Он преподавал философию. Он обладал редкой мужской силой. Его звали Адам Круг.

Он перечитал написанное и вычеркнул ведьму на метле, после чего принялся ходить по комнате, засунув руки в карманы халата. Из-под кресла на него таранился грегус. Урчал радиатор. Улица за плотными синими шторами была тиха. Мало-помалу его мысли вернулись в прежнее таинственное русло. Щелкунчик, раскалывавший одну полу секунду за другой, вновь набрел на секунду, обильную содержанием. Появление нового фантома сопровождалось неясным звуком, похожим на эхо далекой оации.

Ноготок поскреб, постучал.

«В чем дело? Что вам нужно?»

Ответа не последовало. Гладкая тишина. Затем отчетливо слышимая рябь. Затем снова тишина.

Он открыл дверь. Там стояла она в ночной рубашке. Медленный перемиг скрыл и вновь обнаружил странную пристальность ее темных матовых глаз. Под мышкой она держала подушку, а в руке будильник. Она глубоко вздохнула.

«Прошу, впустите меня, – сказала она, и ее маленькое белое личико с чем-то лемурийским в очерке умоляюще сморщилось. – Мне страшно, я просто не могу оставаться одна. Я чувствую, что скоро случится что-то ужасное. Можно я переночую здесь? Пожалуйста!»

Она на цыпочках пересекла комнату и с величайшей осторожностью поставила круглый будильник на ночной столик. В пронизывающем свете лампы за легкой тканью ее облачения проявился персиковый силуэт ее тела.

«Вы не против? – шепнула она. – Я свернусь клубочком, вы и не заметите».

Круг отвернулся и, стоя перед книжным шкапом, прижал и снова отпустил оторванный край телячьей кожи на корешке старого латинского поэта. *Brevis lux. Da mi basia mille*[85]. Замедленным движением он стукнул кулаком по книге.

Когда он снова посмотрел на нее, она, засунув спереди под ночную рубашку подушку, тряслась от немого смеха. Похлопала себя по бутафорской беременности. Но Круг не рассмеялся.

Она нахмурилась, подушка и несколько персиковых лепестков упали на пол между ее лодыжек.

«Я вам совсем–совсем не нравлюсь?» – сказала она [inquit[86]].

Если бы мое сердце, подумал он, можно было слышать, как сердце Падука, то его громовое биенье пробудило бы даже мертвых. Но пусть мертвые спят.

Продолжая паясничать, она пала на посланную софу и легла ничком, ее густые каштановые волосы и краешек горящего уха ярко освещала лампа. Ее палево–бледные юные ножки манили шарящую ладонь старика.

Он сел рядом с ней; угрюмо, сжав зубы, принял банальное приглашение, но едва лишь коснулся ее, как она встала и, подняв и запрокинув свои тонкие, белые, пахнущие каштаном голые руки, зевнула.

«Пожалуй, я пойду к себе», – сказала она.

Круг не ответил, бедняжка Круг сидел на софе, мрачный и тяжелый, распираемый спелым, как виноградная гроздь, желанием.

Она вздохнула, уперлась коленом в одеяло и, оголив плечо, осмотрела отметины, оставленные на прозрачной коже зубами какого–то товарища по играм возле маленькой, очень темной родинки.

«Хотите, чтобы я ушла?» – спросила она.

Он покачал головой.

«А если я останусь, мы станем делать это?»

Он сжал ее хрупкие бедра, как если бы снимал ее с дерева.

«Ты либо совершенно невинна, либо чересчур уж опытна, – сказал он. – Если невинна, то беги, запишись, никогда не приближайся ко мне, потому что это будет звериный взрыв, он может тебя увечить. Предупреждаю тебя. Я почти втрое старше, и я громадный грустный боров. И я тебя не люблю».

Она сверху вниз посмотрела на муки его чувств. Весело прыснула.

«Ах, значит, не любишь?»

Mea puella, puella mea[87]. Моя горячая, вульгарная, божественно нежная маленькая puella. Это полупрозрачная амфора, которую я медленно опускаю, держа за ручки. Это розовый мотылек, прильнувший –

Оглушительный звон (дверной звонок, громкий стук) прервал эти антологические преамбулы.

«Ах, пожалуйста, – бормотала она, корчась верхом на нем, – давай продолжим, мы как раз успеем, пока они выбьют дверь, пожалуйста!»

Он яростно оттолкнул ее и схватил с пола свой халат.

«Это твой последний ша-анс», – пропела она на той особой восходящей ноте, которая порождает как бы легкое вопрошающее журчанье, текучее отражение вопросительного знака.

Ловя и торопливо завязывая концы коричневой тесьмы своего несколько монашеского одеяния, он мерным шагом в сопровождении Мариетты прошел по коридору и, снова сделавшись горбуном, отпер нетерпеливо сотрясаемую дверь.

Молодая женщина с пистолетом в обтянутой перчаткой руке; двое неотесанных юнцов из БШ (Бригада Школьников): отвратительные участки небритой кожи и прыщи, клетчатые шерстяные рубашки навывпуск с болтающимися лапами.

«Салют, Линда», – сказала Мариетта.

«Салют, Марихен», – сказала женщина. На ней была шинель солдата-эквиписта, небрежно наброшенная на плечи, а на искусно завитых медового цвета волосах лихо сидела заломленная фуражка. Круг ее сразу узнал.

«Мой жених ждет снаружи в автомобиле, – с улыбкой на губах поцеловав Мариетту, объяснила она. – Профессор может не переодеваться. Там, куда мы его отвезем, он получит отличную стерилизованную обновку, такую же, как у всех».

«Что, и до меня дошла очередь?» – спросил Круг.

«Как настроение, Марихен? После того, как отвезем профессора, двинем на вечеринку. Ты за?»

«Само собой, – сказала Мариетта, и, понизив голос, спросила: – А можно я поиграю с этими милыми мальчиками?»

«Брось, лапочка, ты достойна лучшего. Вообще-то у меня для тебя большой сюрприз. А вы, ребята, займитесь делом. Детская прямо по коридору».

«Нет, не пушу», – сказал Круг, преграждая путь.

«Дайте им пройти, профессор, они исполняют приказ. И они не украдут даже булавки».

«В сторону, док, у нас приказ».

В неплотно закрытую дверь передней деловито постучали костяшками пальцев, и когда Линда, в спину которой дверь мягко врезалась, настезь ее распахнула, звучной поступью борца-тяжеловеса вошел высокий широкоплечий человек в элегантной полуполицейской форме. У него были густые черные брови, тяжелая квадратная челюсть и белоснежные зубы.

«Мак, – сказала Линда, – это моя младшая сестра. Сбежала из школы-интерната во время пожара. Мариетта, это лучший друг моего жениха. Надеюсь, вы поладите».

«Я уж точно надеюсь, что так и будет», – сказал здоровяк Мак глубоким сочным голосом. Обнажив белые зубы, он протянул ладонь размером с бифштекс на пять персон.

«А я уж точно рада познакомиться с другом Густава», – с притворной скромностью сказала Мариетта.

Мак и Линда обменялись сияющими улыбками.

«Боюсь, мы не объясняли как следует, лапочка. Упомянутый жених, – это не Густав. Определенно не он. Бедняжка Густав уже превратился в абстракцию».

(«Я вас не пушу!» – гремел Круг, сдерживая двух молодчиков.)

«Что же случилось?» – спросила Мариетта.

«Ну, им пришлось свернуть ему шею. Он, знаешь, был schlapp'ом [неудачником]».

«Schlapp, произведший за свою короткую жизнь множество отличных арестов», – заметил Мак со свойственным ему великодушием и широтой взглядов.

«Это принадлежало ему», – доверительным тоном сообщила Линда, показывая сестре пистолет.

«Фонарик тоже?»

«Нет, это Мака».

«Ого!» – воскликнула Мариетта, уважительно потрогав толстую кожистую штуковину.

Один из отброшенных Кругом юнцов врезался в подставку для зонтиков.

«Ну-ну, ради Бога, прекратите эту неприличную возню», – сказал Мак, оттаскивая Круга назад (бедный Круг исполнил кекуок). Юнцы тут же устремились в детскую.

«Они его испугают, — сдавленным голосом, задыхаясь, сказал Круг, пытаюсь вырваться из Маковой хватки. — Сейчас же отпустите меня! Мариетта, сделай милость...»: он отчаянно показывал ей, беги, беги, мол, в детскую и проследи, чтобы мой сын, мой сын, мой сын —

Мариетта посмотрела на сестру и хихикнула. С поразительной профессиональной точностью и *savoir-faire*[88] Мак внезапно нанес Кругу резкий удар наотмашь ребром своей чугунной лапы: удар пришелся точно по внутренней стороне правой руки Круга и мгновенно парализовал ее; тем же образом Мак обработал Кругу и левую руку. Согнувшись пополам и держа свои мертвые руки в мертвых ладонях, Круг опустился на один из трех стульев (теперь косо сдвинутых и утративших свое назначение) в коридоре.

«Мак просто идеален в таких делах», — заметила Линда.

«Нет слов», — согласилась Мариетта.

Сестры давненько не виделись и сейчас не переставали улыбаться, радостно помаргивать и касаться друг друга мягкими девичьими жестами.

«Миленькая брошка», — сказала младшая.

«Три с полтиной», — сказала Линда, и у нее на подбородке добавилась складочка.

«Стоит ли мне пойти к себе и надеть черные кружевные трусики и испанское платье?» — спросила Мариетта.

«О, по-моему, тебе так к лицу эта мятая сорочка. Как думаешь, Мак?»

«А то», — пробасил Мак.

«И ты не простынешь, потому что в авто есть норковая шубка».

Из-за того, что дверь детской внезапно открылась (чтобы снова резко захлопнуться), на мгновение стал слышен голос Давида: как ни странно, ребенок, вместо того чтобы хныкать и звать на помощь, казалось, пытался урезонить своих невозможных гостей. Вероятно, он все же не уснул. Звучание этого почтительного и мягкого голоса было хуже самых мучительных стонов.

Круг пошевелил пальцами — онемение постепенно проходило. Как можно более невозмутимо. Как можно более невозмутимо он вновь воззвал к Мариетте.

«Кто-нибудь знает, чего ему от меня надо?» — спросила Мариетта.

«Слушайте, — сказал Мак Адаму, — либо вы делаете, что велят, либо нет. Но если нет, то будет чертовски больно, ясно? Встать!»

«Хорошо, — сказал Круг, — я встану. Что дальше?»

«Marsh vniz [Марш вниз]!»

И тут Давид начал кричать. Линда поцокала языком («эти болваны-мальчишки все-таки наломали дров»), и Мак посмотрел на нее, ожидая указаний. Круг, шатаясь, двинулся в детскую. В тот же миг Давид в светло-голубой пижаме, беспомощный малыш, выбежал оттуда, но был немедленно пойман. «Пустите меня к папе!» – крикнул он за сценой. Мариетта за открытой дверью ванной, напевая, подкрашивала губы. Кругу удалось добраться до сына. Один из негодяев прижимал Давида к кровати. Другой пытался схватить его отчаянно брыкавшиеся ноги.

«Оставьте его, merzavtzy! [жестокое оскорбление]», – закричал Круг.

«Они хотят только, чтобы он вел себя тихо», – сказал Мак, снова взяв ситуацию под контроль.

«Давид, милый, – сказал Круг, – все хорошо, они тебе ничего не сделают».

Мальчик, все еще удерживаемый двумя скалящимися юнцами, схватил Круга за полу халата.

Эту ручку придется разжать.

«Все в порядке, я сам, господа. Не трогайте его. Душка моя –»

Мак, которому все это надоело, без дальних слов ударил Круга по голени и вышвырнул из комнаты.

Они разорвали моего единственного малыша надвое.

«Послушай, скотина, – сказал он, стоя на согнутых ногах и хватаясь за платяной шкаф в коридоре (Мак тащил его за ворот халата), – я не могу оставить моего ребенка на растерзание. Дайте ему пойти со мной, куда бы вы меня ни отвели».

В ватерклозете спустили воду. Сестры присоединились к мужчинам и наблюдали за происходящим, как скучающие зрители.

«Дорогуша, – сказала Линда, – мы прекрасно понимаем, что это ваш ребенок или, по крайней мере, ребенок вашей покойной жены, а не фарфоровый совок или что-то в этом роде, но нам приказано забрать вас, а прочее нас не касается».

«Пожалуйста, пойдете уже, – взмолилась Мариетта, – становится ужасно поздно».

«Дайте мне позвонить Шамму (один из членов Совета старейшин), – сказал Круг. – Только это. Один телефонный звонок».

«Ох, да пойдете же!» – повторила Мариетта.

«Вопрос в том, – сказал Мак, – пойдешь ли ты тихо-мирно, на своих двоих, или мне придется тебя покалечить, а потом скатить по

ступенькам, как мы делали с бревнами в Лагодане?»

«Да, – сказал Круг, внезапно приняв решение. – Да. Бревна. Да. Поехали. Давайте поскорее доберемся туда. В конце концов, выход прост!»

«Погаси свет, Мариетта, – сказала Линда, – чтобы нас не обвинили в краже его электричества».

«Я вернусь через десять минут», – во всю силу своих легких крикнул Круг в сторону детской.

«Ох, Бога ради», – пробормотал Мак, подталкивая его к двери.

«Мак, – сказала Линда, – боюсь, ее может просквозить на лестнице. Пожалуй, ты лучше снеси ее вниз на руках. Слушай, пусть он идет первым, за ним – я, а потом вы с Мариеттой? Давай-ка, подними ее».

«Знаешь, я совсем не тяжелая», – сказала Мариетта, выставляя локти в сторону Мака.

Густо покраснев, молодой полицейский запустил одну вспотевшую лапу под благодарные ляжки девушки, а другой обхватил ее за ребра и легко поднял вверх. Одна из ее туфелек слетела.

«Это ничего, – быстро сказала она, – я могу просунуть ногу тебе в карман. Вот. А Лин понесет туфельку».

«Ты и впрямь не тяжелая», – сказал Мак.

«А теперь прижми меня покрепче, – сказала она. – Прижми покрепче. И дай мне этот фонарик, он больно давит».

Маленькая процессия спустилась по лестнице. В доме было тихо и темно. Круг шел впереди, на его склоненной непокрытой голове и коричневом халате играл ореол ручного фонаря, и он выглядел участником некой таинственной религиозной церемонии, написанной мастером светотени, или скопированной с такой картины, или скопированной с этой или какой-то другой копии. За ним, нацелив пистолет ему в спину, шла Линда, ее изящно изогнутые ступни грациозно попирали ступени. Затем шел Мак, несущий Мариетту. Преувеличенные части перил, а иногда и тень от волос и фуражки Линды скользили по спине Круга и вдоль призрачной стены, когда электрический фонарик, направляемый озорной Мариеттой, конвульсивно подрагивал. На ее очень узком запястье с внешней стороны забавно выступала косточка.

Теперь давайте обдумаем все это, давайте трезво посмотрим на вещи. Им удалось найти рукоятку. В ночь на двадцать первое Адама Круга арестовали. Этого он не ожидал, потому что не думал, что они найдут рукоятку. Собственно, он сам едва ли сознавал, что она существует. Давайте рассуждать логически. Они не станут причинять вред ребенку. Напротив, он их главная ценность. Давайте не будем фантазировать, давайте исходить из фактов.

«О, Мак, это божественно... Я бы хотела, чтобы здесь был биллион ступенек!»

Он может уснуть. Давайте помолимся, чтобы он уснул. Ольга как-то заметила, что биллион – это сильно простуженный миллион. Голень болит. Что угодно, что угодно, что угодно, что угодно. Твои сапоги, dragotzeny, на вкус отдадут засахаренными сливами. И смотри, мои губы кровоточат от твоих шпор.

«Я ничего не вижу, – сказала Линда. – Перестань играть фонариком, Марихен».

«Держи его прямо, детка», – пробасил Мак, дыша несколько прерывисто, его громадная грубая лапа неуклонно слабела, несмотря на легкость его золотисто-каштановой ноши, – из-за ее разгоряченной розы.

Продолжай убеждать себя – что бы они ни делали, они не причинят ему вреда. Их ужасное зловоние и обкусанные ногти – запах и грязца гимназистов. Они могут начать ломать его игрушки. Перебрасываться, бросать и ловить, фу-ты ну-ты, один из его любимых стеклянных шариков, тот, опаловый, единственный и неповторимый, священный, к которому даже я не смел прикоснуться. Он – между ними, стараясь остановить их, стараясь поймать его, стараясь спасти его от них. Или еще выкручивание рук, или какая-нибудь мерзкая подростковая забава, или – нет, все это неверно, погоди, я не должен ничего придумывать. Они дадут ему уснуть. Они просто обчистят квартиру и нажрутсЯ до отвала на кухне. И как только я доберусь до Шамма или до самой Жабы и скажу то, что должен сказать –

Штормовой ветер налетел на четверых наших друзей, выходящих из дома. Их поджидал элегантный автомобиль. За рулем сидел жених Линды, красивый блондин с белыми ресницами и –

«Ну, мы очень даже знакомы. Да, именно так. Собственно, я уже однажды имел честь услужить профессору в качестве шофера. А это, стало быть, младшая сестренка. Рад познакомиться, Марихен».

«Влезай давай, ты, толстый болван», – сказал Мак, и Круг тяжело опустился в кресло рядом с водителем.

«Вот твоя туфелька, а вот твои меха», – сказала Линда, передавая Маку обещанную шубку, чтобы он помог Мариетте ее надеть.

«Нет – просто накинь мне на плечи», – сказала дебютантка.

Она тряхнула гладкими русыми волосами, затем особым высвобождающим жестом (быстро проведя тыльной стороной ладони по шелковому затылку) с легким шорохом взметнула их, чтобы они не попали под воротник шубки.

«Здесь и трое сядут», – нежно пропела она из глубины салона своим лучшим иволговым голосом и, бочком придвинувшись к сестрице, похлопала по свободному месту с краю.

Но Мак разложил одно из дополнительных передних сидений, с тем чтобы оказаться прямо за спиной своего пленника; опершись локтями на край перегородки и жуя мятную резинку, он велел Кругу вести себя смирно.

«Ну что, все уселись?» – поинтересовался д-р Александер.

В эту минуту окно детской распахнулось (крайнее слева, четвертый этаж), и один из юнцов высунулся наружу, взывая о чем-то вопрошающим тоном. Порывистый ветер не давал разобрать искаженные слова, доносившиеся оттуда.

«Что?» – нетерпеливо сморщив носик, крикнула Линда.

«Углововглуву?» – спрашивал юнец из окна.

«Хорошо, – сказал Мак, ни к кому в частности не обращаясь. – Хорошо, – проворчал он. – Мы тебя слышим».

«Хорошо!» – сложив ладони рупором, крикнула Линда в сторону окна.

Второй юнец, порывисто двигаясь, промелькнул в пределах световой трапеции. Он шлепками останавливал Давида, который вскарабкался на стол в тщетной попытке добраться до окна. Светловолосая бледно-синяя фигурка исчезла. Круг, рыча и вырываясь, наполовину вывалился из автомобиля с повисшим на нем Маком, который обхватил его за бока. Машина тронулась с места. Бороться не имело смысла. По наклонной полосе обоев пробежала процессия маленьких разноцветных зверьков. Круг опустился обратно на свое место.

«Интересно, о чем он там спрашивал? – заметила Линда. – Ты уверен, Мак, что все в порядке? Я хочу сказать, что –»

«Но у них же свои инструкции, разве нет?»

«Думаю, да».

«Всех вас шестерых, – задыхаясь, сказал Круг, – всех шестерых сначала будут пытаться, а потом пристрелят, если мой ребенок пострадает».

«Ну-ну, что за некрасивые слова», – сказал Мак и, не слишком церемонясь, стукнул Круга расслабленными костяшками четырех пальцев под ухо.

Именно д-р Александер разрядил несколько напряженную обстановку (ибо все на один миг почувствовали, что что-то пошло не так):

«Что ж, – сказал он с утонченной полуулыбкой, – некрасивые слухи и грубые факты не всегда так же верны, как некрасивые невесты и грубые жены».

Мак сочно приснул от смеха – прямо в шею Круга.

«Должна сказать, у твоего нового жениха замечательное чувство юмора», – шепнула Мариетта сестре.

«Он по ученой части, – с широко раскрытыми глазами сказала Линда, благоговейно кивая и выпячивая нижнюю губу. – Знает просто все на свете. У меня от этого мурашки по коже. Видела бы ты его с предохранителем или гаечным ключом».

Две девушки устроились поуютнее, чтобы приятно поболтать, как обычно делают девицы в автомобилях на задних сиденьях.

«Расскажи мне еще о Густаве, – попросила Мариетта. – Как его удавили?»

«Ну, дело было так. Они пришли по черной лестнице, когда я готовила завтрак, и сказали, что им приказано от него избавиться. Я сказала “ага”, но не хочу, чтобы они перепачкали пол или подняли пальбу. Он заперся в платяном шкапу. Я слышала, как он дрожит там, как падает одежда и звякают плечики от каждого толчка. Просто омерзительно. Я им сказала: парни, у меня нет никакого желания смотреть, как вы это делаете, и я не хочу тратить весь день на уборку. Так что они затащили его в ванную и уже там принялись за него. И конечно, утро было испорчено. Мне назначено к дантисту на десять, а они торчат в ванной, откуда доносятся просто невозможные звуки, особенно от Густава. Они, должно быть, провозились минут двадцать, не меньше. Адамово яблоко у него, понимаешь, твердое, как пятка, – и, само собой, я опоздала».

«Как обычно», – прокомментировал д-р Александер.

Девушки рассмеялись. Мак повернулся к младшей из двух и, перестав жевать, спросил:

«Тебе правда не холодно, Син?»

Его баритон сочился любовью. Молоденькая девушка зарумянилась и украдкой сжала ему ладонь. Она сказала, что ей тепло, о да, очень тепло. Потрогай сам. А покраснела она оттого, что он назвал ее тайное уменьшительное имя, никому не известное, каким-то образом угаданное им. Интуиция – это сезам любви.

«Хорошо, хорошо, карамельные глазки, – сказал застенчивый молодой великан, высвобождая руку. – Не забывай, что я при исполнении».

И Круг вновь ощутил его мятное дыхание.

Автомобиль остановился у северных ворот тюрьмы. Д-р Александер, мягко манипулируя пухлой резиной гудка (белая рука, белокожий любовник, грушевидная грудь наложницы-негритянки), посигналил.

Последовал долгий железный зевок, и машина вползла во двор № 1. Там стоя охранников, частью в противогазах (в профиль имеющих разительное сходство с сильно увеличенными головами муравьев), облепила подножки и другие доступные части автомобиля, а двое или трое, побряхывая, даже забрались на крышу. Множество рук, некоторые в защитных перчатках, схватили оцепенело откинувшегося назад Круга (все еще находившегося в стадии личинки) и выволокли его наружу. Им занялись охранники А и Б; прочие зигзагами шустро разбежались в разные стороны в поисках новых жертв. Улыбаясь и небрежно отдавая честь, д-р Александер бросил охраннику А: «Еще увидимся», после чего сдал назад и принялся энергично выкручивать рулевое колесо. Утративший притягательность автомобиль развернулся и сорвался с места: д-р Александер повторил небрежное полуприветствие, а Мак, погрозив Кругу невиданных размеров указательным пальцем, втиснул свои ляжки на то место, которое Мариетта приготовила ему рядом с собой. И вот уже скрывшийся из виду автомобиль, празднично гудя, умчался на благоухающую мускусом частную квартиру. О ликующая, пылкая, нетерпеливая молодость!

Круга через несколько дворов провели к главному зданию. Во дворах № 3 и № 4 на кирпичной стене были мелом нарисованы силуэты приговоренных к казни людей – для учебной стрельбы. По старинной русской легенде, первое, что видит *gastreliany* [расстрелянный], попадая в «мир иной» (пожалуйста, не перебивайте, это преждевременно, уберите руки), – это не сонм обычных «теней» или «духов», или отталкивающие близких, невыразимо близких и невыразимо отталкивающих близких в старомодных одеждах, как вы могли бы подумать, а своего рода медленный и безмолвный балет, приветственную группу таких вот меловых силуэтов, волнообразно покачивающихся при движении, вроде прозрачных инфузорий; впрочем, долой эти мрачные суеверия.

Вошли в здание, и Круг оказался в необыкновенно пустой комнате. Совершенно круглая, с хорошо высокобленным цементным полом комната. Его конвоиры исчезли так внезапно, что, будь он героем романа, он вполне мог бы подумать, что все эти странные события и прочее – какое-то зловещее видение или что-то вроде того. У него пульсирующей болью болела голова: тот вид мигрени, при которой кажется, что боль выходит за пределы одной части головы, как краски в дешевых комиксах, и не полностью заполняет пространство другой ее части; и эта тупая пульсация повторяла: один, один, один, все никак не достигая двух, никогда. Из четырех дверей, расположенных в этой круглой комнате по сторонам света, только одна, одна, одна не была заперта. Круг толкнул ее.

«Да?» – сказал бледнолицый человек, не отрывая глаз от пресс-промакивателя, которым он прокатывал то, что только что написал.

«Я требую немедленных действий», – сказал Круг.

Чиновник посмотрел на него усталыми слезящимися глазами.

«Мое имя – Конкордий Филадельфович Колоколелитейщиков, – сказал он, – но все зовут меня Кол. Прошу садиться».

«Я...» – начал Круг заново.

Покачивая головой, Кол торопливо выбрал необходимые бланки:

«Погодите, сперва нужно ответить на все вопросы. Ваше имя?»

«Адам Круг. Не могли бы вы, пожалуйста, распорядиться, чтобы сюда немедленно доставили моего ребенка, немедленно –»

«Немного терпения, – сказал Кол, обмакивая перо. – Согласен, процедура довольно утомительная, но чем скорее мы с ней покончим, тем лучше. Итак, К, р, у, г. Возраст?»

«А будет ли нужда во всем этом вздоре, если я сразу скажу, что изменил свое решение?»

«Нужда будет в любом случае. Пол – мужской. Брови – кустистые. Имя отца?»

«Такое же, как у меня, будьте вы прокляты».

«Спокойнее, спокойнее, не надо меня проклинять. Я устал не меньше вашего. Вероисповедание?»

«Прочерк».

«Прочерк – это не ответ. Закон требует, чтобы всякий мужчина декларировал свою религиозную принадлежность. Католик? Виталист? Протестант?»

«Мне нечего ответить».

«Милостивый государь, вас хотя бы крестили?»

«Я не понимаю, о чем вы говорите».

«Ну это уже ни в какие – Вот, смотрите, я обязан здесь что-нибудь написать».

«Сколько еще осталось вопросов? Вы что, – указывает лихорадочно дрожащим пальцем на страницу, – должны заполнить все это?»

«Боюсь, что так».

«В таком случае я отказываюсь продолжать. Я нахожусь здесь, чтобы сделать заявление чрезвычайной важности, а вы отнимаете у меня время на всякий вздор».

«Вздор – это грубое слово».

«Послушайте, я подпишу что угодно, если мой сын —»

«У вас один ребенок?»

«Да, мальчик восьми лет».

«Нежный возраст. Понимаю, как вам сейчас нелегко, сударь. Я хочу сказать, что я сам отец и все такое. Однако я могу вас заверить, что ваш мальчик в полной безопасности».

«Ничего подобного! — вскричал Круг. — Вы подрядили двух подонков —»

«Я никого не подряжал. Перед вами обычный чиновник, с трудом сводящий концы с концами. Если хотите знать, я глубоко сожалею обо всем, что произошло в русской литературе».

«Все равно, на ком бы ни лежала ответственность, он должен решить: либо я умолкаю навсегда, либо же я говорю, подписываю, присягаю — делаю все, что желает правительство. Но делать все это, и даже больше, я стану только при условии, что мой ребенок будет немедленно доставлен сюда, в эту комнату».

Кол задумался. Дело принимало неожиданный оборот.

«Дело приняло неожиданный оборот, — медленно проговорил он, — но, полагаю, вы правы. Видите ли, стандартная процедура приблизительно такова: сперва требуется заполнить бланки, потом вы идете в свою камеру. Там у вас происходит душевный разговор с сокамерником — нашим агентом, само собой. Затем около двух часов ночи вас пробуждают от тягостного сна, и я снова начинаю допрос. Компетентные люди сошлись во мнении, что вы должны сломаться между шестью сорока и четвертью восьмого. Наш метеоролог предсказал особенно унылый рассвет. Д-р Александер, ваш коллега, согласился перевести на обыденный язык ваши загадочные высказывания, ведь никто не мог предвидеть такой прямоты, такого... Полагаю, я могу еще добавить, что вам дали бы послушать детский голос, издающий стоны притворной боли. Мы это отрепетировали с моими детишками, — они будут горько разочарованы. Вы действительно намерены подтвердить, что готовы присягнуть на верность государству и все такое прочее, если —»

«Вам лучше поторопиться. Кошмар может выйти из-под контроля».

«Хорошо-хорошо, разумеется, я немедленно распоряжусь. Такое отношение нас полностью удовлетворяет. Наша замечательная тюрьма сделала из вас человека. Весьма и весьма отрадно. А меня можно поздравить с тем, что я так быстро вас сломал. Прошу меня извинить».

Он встал (приземистый щуплый служащий с бледной головой и пилообразными челюстями), раздвинул складки бархатной портьеры, и пленник остался наедине со своим тупым «один, один, один». Картотечный шкаф скрывал вход, которым Круг воспользовался несколькими минутами ранее. То, что выглядело как занавешенное окно, оказалось занавешенным зеркалом. Он поправил воротник халата.

Прошло четыре года. Затем разрозненные части столетия. Обрывки разорванного времени. Скажем, всего двадцать два года. Дуб перед старой часовней лишился всех птиц; один только несгибаемый Круг не изменился.

Сначала портьера слегка всколыхнулась, или встопорщилась, или все это вместе, потом возникла его видимая рука, и только после этого вновь явился сам Конкордий Филадельфович. Он выглядел довольным.

«Ваш мальчик вот-вот будет здесь, мигнуть не успеете, – бодро сказал он. – Все испытывают большое облегчение. За ним присматривала опытная нянька. Говорит, малыш вел себя довольно плохо. Трудный ребенок, смею думать? Кстати, меня попросили узнать: желаете ли вы сами составить речь и заранее подать ее на рассмотрение или же используете готовый материал?»

«Материал. Я ужасно хочу пить».

«Сейчас мы немного закусим. А пока еще один вопрос. Вот несколько бумаг, которые нужно подписать. Давайте-ка приступим».

«Не раньше, чем я увижу своего ребенка».

«Вы, сударь, будете нарасхват, заверяю вас. Один-другой газетчик уже наверняка ошивается где-то здесь. Ух, как же мы все волновались! Мы думали, что университет никогда больше не откроется. А завтра, я полагаю, пройдут студенческие демонстрации, шествия, публичные возблагодарения. Знаете ли вы д'Абрикосова, киношного постановщика? Так вот он сказал, что всегда верил, что вы вдруг осознаете величие государства и все такое. Он сказал, что это как *la grâce* [89] в религии. Откровение. И сказал, что очень нелегко объяснить суть тому, кто не испытал этого внезапного ослепительного удара истины. Лично я счастлив, что мне выпала честь стать свидетелем вашего замечательного превращения. Все еще дуетесь? Будет вам, давайте разгладим эти морщины. Чу! Музыка!»

По всей видимости, он нажал какую-то кнопку или повернул колесико, потому что откуда-то вдруг раздались трубно-блудные звуки, и славный малый добавил благоговейным шепотом:

«Музыка в вашу честь».

Ликованье инструментов, однако, заглушила пронзительная телефонная трель. Очевидно, то были судьбоносные новости, потому что Кол положил трубку триумфальным взмахом руки и пригласительным жестом указал Кругу на спрятанную за портьерой дверь. После вас.

Он был человеком светским, в отличие от Круга, бросившегося вперед, как дикий боров.

Сцена без номера (во всяком случае, относящаяся к одному из последних актов): просторный зал ожидания в фешенебельной тюрьме. На каминной полке прелестная маленькая модель гильотины (рядом с

туговатенькой куклой в цилиндре) под стеклянным колпаком. Картины маслом, мрачно трактующие различные библейские сюжеты. Стопка журналов на низком столике («Geographical Magazine», «Столица и усадьба», «Die Woche», «The Tatler», «L'Illustration»[90]). Один или два книжных шкафчика с обычным набором («Маленькие женщины», третий том «Истории Ноттингема» и т. д.). Связка ключей на стуле (забытая одним из тюремщиков). Стол с закусками: тарелка сэндвичей с селедкой и ведро воды, окруженное несколькими кружками, прибывшими из различных немецких минеральных курортов. (На взятой Кругом кружке был вид Бад-Киссингена.)

В конце зала распахнулась дверь; несколько фотокорреспондентов и репортеров образовали живую галерею, пропуская двух крепкого сложения мужчин, ведущих хрупкого испуганного мальчика лет двенадцати или тринадцати. Его голова была свежеперевязана (по их словам, никто не виноват, он поскользнулся на отполированном до блеска полу «Детского музея» и ударился лбом о модель двигателя Стефенсона). Одет он был в черную школьную форму с ремнем. Когда один из сопровождавших его мужчин сделал резкий жест, призванный обуздать пыл газетчиков, он взметнул локоть, прикрывая лицо.

«Это не мой ребенок», – сказал Круг.

«Твой папа все время шутит, все время шутит», – ласково сказал Кол мальчику.

«Мне нужен мой ребенок. А это чей-то еще».

«О чем это вы? – взвинченным тоном спросил Кол. – Не ваш ребенок? Что за чушь, уважаемый. Протрите глаза».

Один из здоровяков (полицейский в штатском) достал бумагу и вручил ее Колу. В ней черным по белому значилось: Арвид Круг, сын профессора Мартина Круга, бывшего вице-президента Медицинской академии.

«Видимо, повязка его слегка изменила, – затараторил Кол, и в его скороговорке прозвучала нотка отчаяния. – И потом, конечно, мальчишки так быстро растут –»

Охранники сшибли наставленные фотоаппараты и вытолкнули репортеров из комнаты.

«Держите мальчишку», – распорядился чей-то жесткий голос.

Вновь прибывший, человек по имени Кристалсен (красное лицо, голубые глаза, высокий накрахмаленный воротничок), который, как вскоре выяснилось, был вторым секретарем Совета старейшин, подошел к Колу вплотную и, держа его за узел галстука, спросил, не считает ли Кол, что он, Кол, в некотором роде несет ответственность за это идиотское недоразумение. Кол все еще лелеял надежду, несмотря на безнадежность –

«Вы совершенно уверены, – продолжал он теребить Круга, – совершенно

уверены, что этот парнишка не ваш сын? Философы, знаете ли, люди рассеянные. И освещение в этой комнате оставляет желать —»

Круг закрыл глаза и процедил сквозь зубы:

«Мне нужен мой ребенок».

Кол, повернувшись к Кристалсену, развел руками и произвел губами беспомощный и безнадежный лопающийся звук (ппвт). Нежеланного мальчика тем временем вывели из комнаты.

«Приносим вам извинения, — сказал Кол Кругу. — Подобные ошибки неизбежны, когда производится так много арестов».

«Или недостаточно много», — сурово перебил его Кристалсен.

«Он имеет в виду, — сказал Кол Кругу, — что те, кто совершил эту ошибку, дорого за это заплатят».

Кристалсен, *même jeu*[91]:

«Или поплатятся головой».

«Так точно. Само собой, все будет немедленно улажено. В этом здании четыреста телефонов. Вашего пропавшего мальчугана мигом найдут. Теперь я понимаю, почему моей жене прошлой ночью приснился тот ужасный сон. Ох, Кристалсен, *was ver a trum!* [что за сон!]

Двое чиновников, один маленький, говорящий без умолку, поправляющий галстук, другой — хранящий мрачное молчание и прямо глядящий перед собой арктическим взором, вышли из комнаты.

Круг снова ждал.

В 23:24, ища Кристалсена, в комнату проскользнул полицейский (теперь облаченный в форменную пару). Он хотел знать, что делать с чужим мальчиком. Говорил он хриплым шепотом. Когда Круг показал, в какую сторону они ушли, он еще раз деликатно и вопросительно указал на дверь, прежде чем, неуверенно двигая кадыком, пересечь на цыпочках комнату. Прошли столетия, пока дверь совершенно бесшумно закрылась.

В 23:43 его же, но теперь с диким взором и всклокоченного, двое молодцев из Особой стражи провели через зал ожидания в обратном направлении, чтобы позже расстрелять в качестве второстепенного козла отпущения, вместе со вторым «крепкого сложения» мужчиной (*vide*[92] сцену без номера) и бедным Конкордием.

В 00:00 Круг все еще ждал.

Однако мало-помалу различные звуки, доносившиеся из соседних кабинетов, становились все громче и возбужденнее. Несколько раз клерки, затаив дыхание, пробегали через комнату, а однажды двое добросердечных коллег с каменными лицами пронесли на носилках в тюремный лазарет телефонистку (некую мисс Лавдейл), избитую самым

непочтительным образом.

В 01:08 пополудни слухи об аресте Круга достигли кучки заговорщиков–антиэквилистов, предводимой студентом Фокусом.

В 02:17 какой–то бородач, назвавшийся электриком, пришел проверить радиатор отопления, однако настороженный надзиратель сказал ему, что в их отопительных системах электричество не используется, и попросил его прийти в другой день.

Когда Кристалсен наконец вернулся, в окнах уже забрезжил призрачный сизый свет. Он был рад сообщить Кругу, что ребенок нашелся.

«Вы воссоединитесь через несколько минут», – сказал он, добавив, что для тех, кто допустил оплошность, уже готовится новая, оснащенная по высшему разряду камера пыток. Он хотел знать, правильно ли его проинформировали о том, что Адам Круг внезапно изменил свои взгляды. Круг ответил – так и есть, он готов в широком публичном обращении к нескольким иностранным государствам побогаче заявить о своей твердой поддержке эквилизма, но лишь при условии, что его ребенок будет возвращен ему живым и невредимым. Кристалсен повел его к полицейскому автомобилю, принявшись по пути излагать подробности.

Было совершенно ясно, что дело приняло дурной оборот; ребенка поместили в нечто вроде – ну, в Институт для дефективных детей, а не в самый лучший Государственный дом отдыха для путешественников, как планировалось. Вы мне ломаете запястье, милостивый государь. К несчастью, директор института решил, да и кто бы на его месте решил иначе, что доставленный ребенок – один из так называемых сирот, которые время от времени использовались в качестве «средства разрядки» на благо наиболее примечательных пациентов с так называемым уголовным прошлым (изнасилования, убийства, вандализм в отношении государственного имущества и т. п.). Теория – не станем сейчас обсуждать ее достоинства и недостатки, и вам придется заплатить за манжету, если вы ее порвете, – исходит из того, что если бы по–настоящему трудным пациентам раз в неделю было позволено насладиться возможностью полностью выплеснуть свои подавляемые желания (жгучее стремление причинять боль, разрушать и т. п.) на какое–нибудь маленькое человеческое создание, не представляющее для общества ни малейшей ценности, то тогда их злобные наклонности постепенно вышли бы наружу, были бы, так сказать, «извергнуты», и они бы со временем превратились в добропорядочных граждан. Сам по себе эксперимент, конечно, не свободен от критики, но суть не в этом (Кристалсен тщательно вытер окровавленные губы и предложил Кругу свой не слишком чистый платок – обтереть костяшки пальцев; Круг отказался; они сели в автомобиль; к ним присоединилось несколько солдат). Так вот, огороженный двор, где проходят «расслабляющие игры», расположен таким образом, что директор из окна своего кабинета, а также прочие врачи и научные сотрудники, мужчины и женщины (к примеру, доктор Амалия фон Витвиль, одна из самых очаровательных дам, которых только можно встретить, аристократка, вам было бы приятно познакомиться с ней при более счастливых обстоятельствах, убежден в этом), из других gemütlich[93] наблюдательных пунктов могут следить за происходящим и делать

заметки. Фельдшерица провела «сироту» вниз по мраморным ступеням. Двор представляет собой прелестную лужайку, покрытую газоном, да и все место, особенно в летние месяцы, выглядит необыкновенно привлекательным, напоминая один из тех театров под открытым небом, которыми так дорожили греки. «Сироту» или «человечка» оставили в одиночестве, разрешая ему побродить по дворику. На одной из фотографий он безутешно лежит на животе, безразличными пальцами выдергивая с корнем клочок дерна (на садовых ступенях вновь появилась фельдшерица и хлопнула ладонями, призывая его перестать. Он перестал.). Вскоре во двор впустили пациентов или «воспитуемых» (всего восемь человек). Сперва они держались на расстоянии, присматриваясь к «человечку». Было интересно наблюдать, как их постепенно охватывало групповое «бандитское» единение. Грубых, преступных, анархических индивидуумов теперь что-то объединяло – коллективный дух (положительное начало) возобладал над персональными пристрастиями (отрицательное начало), поскольку впервые в жизни они были организованы. Д-р фон Витвиль неизменно отмечает этот чудесный момент: чувствуется, что, как она причудливо выражается, «что-то действительно свершается», или, говоря языком специальных терминов: «ячесть» эго выходит «ouf» (вон), а беспримесная ячейка (общинный экстракт всех эго) «остаётся». И тут начинается потеха. Один из пациентов («представитель группы» или «потенциальный лидер»), крупный красивый малый лет семнадцати, подошел к «человечку», сел рядом на траву и сказал: «Открой рот». «Человечек» повиновался, и парень с безошибочной точностью выплюнул камешек в открытый рот ребенка. (Это было немного против правил, потому что, вообще говоря, любые снаряды, орудия, оружие и т. п. запрещены.) Иногда «игра в тумак» начиналась сразу после «игры в плевки», а бывало, что переход от безобидных щипков и тычков или умеренных проб сексуального характера к отрыванию конечностей, ломанию костей, выдавливанию глаз и т. п. занимал длительное время. Случаи со смертельным исходом, конечно, были неизбежны, но довольно часто «человечка» после игр подлатывали и азартно принуждали вернуться к схватке. В следующее воскресенье, малыш, ты снова поиграешь с большими мальчиками. Подлатанный «человечек» обеспечивал особенно глубокое «расслабление».

Теперь мы берем все это, сжимаем в шарик и помещаем его в центр мозга Круга, где он плавно расширяется.

Поездка была долгой. Где-то в суровом горном краю на высоте четырех-пяти тысяч футов над уровнем моря они остановились: солдаты хотели съесть свой *frishtik* [легкий завтрак] и были не прочь устроить из этого скромный пикник в столь диком и живописном месте. Автомобиль, слегка накренившись, стоял с заглушенным двигателем среди темных скал и лоскутов мертвого белого снега. Они достали хлеб, огурцы и полковые термосы и угрюмо жевали, сгорбившись на подножке или прямо на жухлой и клочковатой жесткой траве у шоссе. Королевское Ущелье, одно из чудес природы, за несколько геологических эр прорезанное насыщенными песком водами бурной реки Сакры, являло сцены величия и неземной красоты. На нашем ранчо «Невестина фата» мы всеми силами стараемся понять и учесть то умонастроение, с которым многочисленные наши гости приезжают к нам, оставив свои городские дома и дела, и по этой причине мы стремимся к тому, чтобы наши гости развлекались,

занимались спортом и отдыхали именно так, как им хочется.

Кругу разрешили ненадолго выйти из автомобиля. Кристалсен, лишенный чувства прекрасного, остался внутри, грызя яблоко и просматривая длинное частное письмо, полученное накануне, но так и не дочитанное (даже у этих стальных людей случаются семейные неприятности). Круг стоял спиной к солдатам перед скалой. Это продолжалось так долго, что наконец один из солдат со смехом заметил:

«Podi galonishcha dva vysvital za-noch» [Поди, галлонища два высвистал за ночь].

Здесь она попала в аварию. Круг вернулся и медленно, мучительно забрался в автомобиль, сев рядом с Кристалсеном, все еще читавшим письмо.

«Доброе утро», – пробормотал тот, отставляя ногу. Затем он поднял голову, поспешно засунул письмо в карман и позвал солдат.

Шоссе № 76 вывело их в другую часть долины, и очень скоро они увидели дымящиеся трубы фабричного городка, по соседству с которым располагалась знаменитая экспериментальная станция. Заведовал ею д-р Хаммеке: приземистый, плотный, с густыми желтовато-белыми усами, с глазами навывкате и короткими толстыми ногами. Он, его помощники и фельдшерицы находились в состоянии экзальтации, граничащей с обычной паникой. Кристалсен сообщил им, что пока не знает, будут ли они ликвидированы или нет; он сказал, что ожидает в скором времени (он посмотрел на часы) соответствующих деструкций (фрунеризм от «инструкций») по телефону. Они всем скопом пресмыкались перед Кругом и просто исходили подобострастием, предлагая ему душ, услуги хорошенькой массажистки, губную гармошку, конфискованную у «воспитуемого», кружку пива, рюмку бренди, завтрак, утреннюю газету, бритье, партию бриджа, мужской костюм, что пожелаете. Они явно тянули время. Наконец Круга провели в проекционный зал. Они сказали, что через несколько минут отведут его к ребенку (мальчик еще спит, сказали они), а пока не угодно ли ему посмотреть фильм, снятый всего несколько часов тому назад? Вы увидите, сказали они, каким здоровеньким и счастливым был ребенок.

Он сел. Он принял фляжку бренди, которую одна из дрожащих и улыбающихся фельдшериц сунула ему прямо в лицо (она была так напугана, что сначала сама попыталась напоить его, как младенца). Д-р Хаммеке, у которого вставные зубы стучали во рту, как игральные кости в стакане, распорядился начать представление. Молодой китаец принес отороченное мехом пальтишко Давида (да, я узнаю его, это его пальто) и быстрыми движениями иллюзиониста повернул его внутренней и внешней сторонами (только что из чистки, а дырочки все зашиты, видите?), чтобы продемонстрировать, что никакого обмана нет: ребенок действительно найден. После этого, издав от волнения возглас, он вытащил из кармашка пальто игрушечный автомобиль (да, мы вместе его купили) и детское серебряное колечко с почти совсем сошедшей эмалью (да). Затем он поклонился и удалился. Кристалсен, сидевший рядом с Кругом в первом ряду, выглядел хмурым и подозрительным; его руки были скрещены. «Трюк, чортов трюк», – бормотал он.

Свет погас, на экране засиял мерцающий квадрат. Однако жужжание аппарата сразу прервалось (оператор поддался всеобщей нервозности). В темноте д-р Хаммеке наклонился к Кругу и понес густым потоком тревоги и дурного запаха изо рта следующее:

«Мы так рады, что вы здесь, с нами. Мы надеемся, что фильм вам понравится. В интересах ануки. Заболчите за нас словечко. Старались, как могли».

Стрекот возобновился, появилась перевернутая надпись, и аппарат опять заглох.

У одной из фельдшериц вырвался смешок.

«А ну-ка потише, пожалуйста!» – сказал доктор.

Кристалсен, которому все это надоело, быстро покинул свое место; несчастный Хаммеке пытался его удержать, но сердитый чиновник молча стряхнул его.

На экране возникла дрожащая надпись: «Тест 656». Она растворилась в изящный подзаголовок: «Ночное развлечение на лужайке». Появились вооруженные фельдшерицы, отпирающие двери. Воспитуемые, толпясь и моргая, вышли наружу. Следующая надпись гласила: «Фрау доктор фон Витвиль, руководитель эксперимента (пожалуйста, воздержитесь от свиста!)». Даже несмотря на свое ужасное положение, д-р Хаммеке не мог не испустить одобрительного «ха-ха». Госпожа Витвиль, статная блондинка, с хлыстом в одной руке и хронометром в другой, надменно проплыла по экрану. «Оцените эти линии»: появляется изображенная на школьной доске темпераментная кривая; рука в резиновой перчатке указкой отмечает кульминационные точки и другие интересные моменты яровизации эго.

«Пациенты выстроены у Розариевого входа во двор. Их обыскивают на предмет спрятанного оружия». Один из докторов вытаскивает из рукава самого толстого мальчика пилу лесоруба. «Не повезло, жирняга!» Крупный план лотка с коллекцией маркированных инструментов: уже показанная пила, обломок свинцовой трубы, губная гармошка, кусок веревки, один из тех складных перочинных ножей с двадцатью четырьмя лезвиями и разными шуковинами, игрушечный горохострел, нешуточный самострел, шила, сверла, граммофонные иглы, старинный боевой топор. «Затаившись в засаде». Они затаились в засаде. «Появляется человек».

Он сходит по освещенным прожектором мраморным ступеням, ведущим в сад. Сопровождает его фельдшерица в белом, которая останавливается и побуждает мальчика спуститься вниз в одиночестве. На Давиде – его самое теплое пальто, но на босых ногах только домашние тапочки. Все это длилось одно мгновение: он поднял лицо к фельдшерице, его ресницы дрогнули, по волосам скользнул яркий свет; затем он огляделся, встретился взглядом с Кругом, не подал виду, что узнал его, и робко сошел вниз по нескольким оставшимся ступенькам. Его лицо увеличилось, стало размытым и исчезло, соприкоснувшись с моим.

Фельдшерица осталась стоять на ступенях, легкая, не лишенная нежности улыбка, играла на ее темных губах. «Какое удовольствие для человечка, – сообщила новая надпись, – погулять среди ночи!», а затем: «Ой-ой. Это еще кто?»

Д-р Хаммеке громко кашлянул, и треск аппарата оборвался. Снова зажегся свет.

Я хочу проснуться. Где же он? Я умру, если не проснусь.

Он отверг закуски, отказался расписаться в книге выдающихся посетителей и прошел сквозь людей, преграждавших ему путь, как сквозь паутину. Д-р Хаммеке, вращая глазами, тяжело дыша, прижимая руку к больному сердцу, жестом велел старшей сестре проводить Круга в лазарет.

Остается прибавить немного. В коридоре Кристалсен с толстой сигарой во рту был занят тем, что записывал всю историю в блокнотик, который он прижимал к желтой стене на уровне лба. Он резким движением большого пальца указал в сторону двери А-1. Круг вошел. Фрау д-р фон Витвиль, урожденная Баховен (третья, старшая сестра), нежно, почти мечтательно встряхивала градусник, глядя вниз на кровать, подле которой она стояла в дальнем углу комнаты. Затем она повернулась к Кругу и подошла к нему.

«Крепитесь, – тихо сказала она. – Произошел несчастный случай. Мы сделали все возможное –»

Круг с такой силой оттолкнул ее, что она врезалась в белые медицинские весы и разбила градусник, все еще бывший у нее в руке.

«Ах!» – вскрикнула она.

Голову убитого ребенка покрывал багряно-золотой тюрбан; лицо его было искусно подкрашено и напудрено: лиловое одеяло, изысканно-гладкое, доходило до подбородка. Что-то вроде пушистой пегой собачонки было со вкусом положено в изножье кровати. Прежде чем выбежать из палаты, Круг сшиб этот предмет с одеяла, из-за чего ожившее существо взрычало от боли и щелкнуло челюстями, едва не цапнув его за руку.

Круга на ходу ухватил благодушный солдат.

«Yablochko, kuda-zh ty tak kotishsa? [Яблочко, куда ж ты так котишься?] – спросил он и добавил: – А po zhabram, mila, khochesh? [А по жабрам, милый, хочешь?]

Tut pocherk zhizni stanovitsa krane nerazborchivym [Тут почерк жизни становится крайне неразборчивым]. Ochevidtzy, sredi kotorykh byl i evo vnutrenni sogliadata [Очевидцы, среди которых был и его собственный кто-то («внутренний шпион»? «частный сыщик»? Смысл до конца не ясен)], potom govorili [потом говорили], shto evo prishlos' sviazat' [что его пришлось связать]. Mezhdue tem [среди тем? (Возможно: среди тем его зачарованного состояния)] Kristalsen,

nevozmuto dymia sigaro [Кристалсен, невозмутимо дымя сигарой], sobral ves' shtat v aktovom zale [собрал весь штат в актовом зале] и сообщил им [i soobshchil im], что он только что получил телефонограмму, согласно которой они предстанут перед военным трибуналом за убийство единственного сына профессора Круга, знаменитого философа, президента университета, вице-президента Медицинской академии. Малодушный Хаммеке сполз со стула, продолжил скольжение, быстро съезжая по извилистым склонам, и, плавно бухнувшись в обморок, наконец остановился, как брошенные сани в девственных снегах безымянной смерти. Госпожа Витвиль, не теряя самообладания, проглотила капсулу с ядом. Допросив и сбросив в яму остальных сотрудников и подпалив здание с запертыми в нем гудящими пациентами, солдаты перетащили Круга в автомобиль.

Путь обратно в столицу лежал через дикие горы. За перевалом Лагодан на долины уже пала вечерняя мгла. Среди громадных елей у знаменитого Водопада воцарилась ночь. За рулем была Ольга, Круг, не умевший управлять автомобилем, сидел рядом с ней, положив руки в перчатках на колени; сзади покачивались Эмбер и американский профессор философии, сухопарый седой человек с впалыми щеками, который проделал долгий путь из своей далекой страны, чтобы обсудить с Кругом иллюзорность субстанции. Пресытившись видами и обильной местной едой (пирожками с неверным ударением и штчами с неверными звуками, и еще одним непроизносимым блюдом, за которым последовал горячий, покрытый крестообразной корочкой вишневый пирог), кроткий ученый муж уснул. Эмбер все пытался вспомнить американское название похожего вида пихты, растущей в Скалистых горах. Две вещи произошли разом: Эмбер сказал «Дуглас» и ослепленная лань бросилась в яркий свет наших фар.

18

«Этого ни при каких обстоятельствах не должно было случиться. Мы глубоко сожалеем. Вашему ребенку будут устроены самые блистательные похороны, о каких только может мечтать дитя европейца; но все же мы прекрасно понимаем, что для тех, кто продолжает жить, это – (два слова неразборчивы). Мы испытываем нечто большее, чем сожаление. Собственно говоря, можно с уверенностью утверждать, что никогда в истории нашей великой страны партия, правительство или правитель не были так огорчены, как мы сегодня».

(Круга привели в просторный зал Министерства юстиции, впечатляющий мегаподовыми фресками. Самим зданием, каким оно было задумано, но еще не построено, – вследствие пожаров Юстиция и Образование делили отель «Астория» – можно было полюбоваться на картине, изображавшей белый небоскреб, врезающийся, словно собор альбиносов, в морфяно-голубые небеса. Голос, принадлежавший одному из членов Совета старейшин, собравшегося на экстренное заседание во Дворце в двух

кварталах отсюда, лился из элегантного комода орехового дерева. В другой части зала Кристалсен шептался с несколькими мелкими служащими.)

«Однако мы исходим из того, – продолжал ореховый голос, – что наши отношения, узы, договоренности, о которых вы, Адам Круг, столь торжественно заявили перед тем, как произошла эта трагедия, остаются нерушимыми. Жизнь отдельного человека хрупка; но мы гарантируем бессмертие государства. Граждане умирают, чтобы Град продолжал жить. Мы не допускаем мысли, что какая-либо личная утрата может встать между вами и нашим Правителем. Со всем тем, наша готовность к воздаянию практически безгранична. Прежде всего, наше лучшее похоронное бюро согласилось предоставить бронзовый погребальный ларь с гранатово-бирюзовой инкрустацией. В нем упокоится ваш маленький Арвид, держа в руках любимую игрушку – коробочку оловянных солдатиков, которых в это самое время группа экспертов Военного министерства тщательно проверяет на предмет соответствия амуниции и вооружения. Далее, шестеро главных виновников будут казнены неопытным палачом в вашем присутствии. Это неслыханное предложение».

(Несколькими минутами ранее Кругу показали этих людей в их камерах смертников. Двое смуглых прыщавых юнцов строили из себя бесстрашных героев – главным образом в силу недостатка воображения – перед католическим священником, пришедшим их исповедать. Мариетта сидела с закрытыми глазами в обморочном оцепенении, тихо истекая кровью. Относительно трех других чем меньше будет сказано, тем лучше.)

«Безусловно, вы оцените, – сказал орехово-кремовый голос, – те усилия, которые мы прилагаем, чтобы загладить самую грубую ошибку, которую только можно было допустить в данных обстоятельствах. Мы готовы смотреть сквозь пальцы на многие вещи, включая убийство, но есть одно преступление, которое ни в коем случае не подлежит прощению, и это – небрежность при исполнении служебных обязанностей. Мы также исходим из того, что, оговорив только что перечисленные щедрые возмещения, мы покончили со всем этим прискорбным делом и больше не станем к нему возвращаться. Вам будет приятно узнать, что мы готовы обсудить с вами различные детали вашего нового назначения».

Кристалсен приблизился к тому месту, где сидел Круг (все еще в домашнем халате, подпирающий щетинистую щеку ободранными костяшками пальцев), и разложил перед ним на львинолапом столе, на край которого опирался локоть Круга, несколько бумаг. Двухцветным красно-синим карандашом синеглазый и краснолицый чиновник тут и там крестиками отметил места, показывая Кругу, где нужно подписать.

Круг молча взял бумаги, медленно смял их и разорвал своими большими волосатыми руками. Один из служащих, тощий и нервный молодой человек, знавший, сколько душевных сил и трудов потребовала печать этих документов (на драгоценной эдельвейсовой бумаге!), схватился за голову и выпустил стон неподдельного страдания. Круг, не поднимаясь с места, схватил молодого человека за полу сюртука и такими же неуклюжими, сокрушающими и медленными движениями принялся душить свою жертву, но его обуздали.

Кристалсен, единственный в зале, кто сохранял полнейшее спокойствие, сообщил в микрофон следующее:

«Вы только что слышали, господа, как Адам Круг порвал бумаги, которые он обещал подписать прошлой ночью. Кроме того, он совершил попытку задушить одного из моих помощников».

Воцарилось молчание. Кристалсен сел и принялся чистить ногти стальным крючком для застегивания штиблеточных пуговиц, содержащимся вместе с двадцатью тремя другими инструментами в толстеньком карманном ноже, который он где-то стащил в течение дня. Ползая по полу, служащие собирали и разглаживали то, что осталось от документов.

Старейшины, по-видимому, совещались. Затем голос произнес:

«Мы готовы пойти еще дальше. Мы предлагаем вам, Адам Круг, собственноручно расправиться с виновными. Это необыкновенное, особое предложение, которое вряд ли когда-либо повторится».

«Итак?» – спросил Кристалсен, не поднимая глаз.

«Идите вы – (три неразборчивых слова)», – сказал Круг.

Последовало новое молчание. («Он не в себе... совершенно не в себе, – прошептал один женоподобный клерк другому. – Отвергнуть такое предложение! Невероятно! Никогда о таком не слыхал». – «Я тоже». – «Интересно, где это шеф обзавелся таким ножом?»)

Старейшины пришли к определенному решению, но, прежде чем огласить его, самые добросовестные из них потребовали прослушать запись с начала. Они услышали молчание Круга, осматривающего заключенных. Они услышали тиканье часов на руке у одного из юнцов и негромкое печальное бульканье в животе оставшегося без ужина священника. Они услышали, как на пол капнула кровь. Они услышали, как сорок удовлетворенных солдат обмениваются плотскими впечатлениями в смежной караульной казарме. Они услышали, как Круга повели в зал, оснащенный радиостанцией. Они услышали голос одного из них, говорившего о том, как всем им жаль и как они готовы загладить вину: радующая глаз гробница для жертвы небрежности, суровое возмездие для нерадивых. Они услышали, как Кристалсен раскладывал бумаги, а Круг их рвал. Они услышали стон впечатлительного молодого служащего, звуки борьбы, а затем резкий голос Кристалсена. Они услышали, как крепкие ногти Кристалсена скрипнули на одной из двадцати четырех частей тугого складного ножа. Они услышали голос одного из них, передающий их щедрое предложение, и вульгарный ответ Круга. Они услышали, как Кристалсен щелчком сложил нож и как зашептали служащие. Они услышали, как сами слушают все это.

Ореховый комод облизнул губы:

«Проводите его до постели», – сказал он.

Сказано — сделано. В тюрьме ему отвели просторную камеру, настолько просторную и приятную, что директор не раз предоставлял ее бедным родственникам жены, когда они приезжали в город. На втором соломенном тюфяке, брошенном прямо на пол, лицом к стене лежал человек, дрожащий всем телом. Его голову скрывал пышный каштановой парик с длинными кудрями. На нем был костюм старинного вагабунда. Он, надо думать, совершил какое-то действительно страшное злодеяние. Едва дверь закрылась и Круг тяжело опустился на собственный участок соломы и мешковины, дрожь его сокамерника перестала быть видимой, но сразу же стала слышимой — в виде гнусавого и прерывистого, умело измененного голоса:

«Не выведывай, кто я такой. Мой лик будет обращен к стене. К стене обращен будет лик мой. Ныне и присно к стене обращен будет лик мой. Ты, безумец. Горда и черна душа твоя, как сырой макам в ночи. Горе! Горе! Попытай преступленье свое — ты узришь бездну вины своей. Тучи темны и становятся гуще и гуще. Скачет Ловец на страшном коне. Хо-йо-то-хо! Хо-йо-то-хо!»

(Сказать, чтоб прекратил? — подумал Круг. — Да что проку? В аду полным-полно таких паяцев.)

«Хо-йо-то-хо! А теперь слушай, друг. Внимай, Гурдамак. Мы собираемся сделать тебе последнее предложение. У тебя было четыре близких друга, четыре стойких и преданных друга. Глубоко в темнице томятся и стонут они. Послушай, Друг, послушай, Камерад, я готов подарить им и еще двадцати другим liberalishkam [либералишкам] свободу, если ты согласишься на то, на что уже практически согласился вчера. Такой пустяк! Жизнь двадцати четырех человек в твоих руках. Скажешь “нет” — и их уничтожат, скажешь “да” — и они живут. Подумай только, какая дивная власть! Напиши свое имя — и двадцать четыре человека, среди которых две женщины, гурьбой выйдут к солнечным лучам. Это твой последний шанс. Скажи “да”, Мадамка!»

«Иди к чорту, ты, грязная Жаба!» — устало сказал Круг.

Человек гневно взвизгнул и, выхватив из-под тюфяка бронзовый пастуший колокольчик, яростно затряс им. В камеру ворвались стражники в масках, с японскими фонариками и копьями, и почтительно помогли ему подняться. Прикрывая лицо погаными локонами своего рыжевато-русого парика, он прошел мимо Круга, едва его не задев. Его ботфорты папахивали навозом и блестели бесчисленными слезинками. В камере снова стало темно. Донесся хруст спинных позвонков директора тюрьмы и его голос, расписывающий Жабе, какой он превосходный актер, и какое великолепное представление, и что за наслаждение. Гулкие шаги удалились. Тишина. Теперь, наконец, ты можешь подумать.

Но из-за обморока или дремы он впал в беспамятство прежде, чем смог как следует схватиться со своим горем. Все, что он чувствовал, это медленное погружение, сгущение тьмы и нежности, постепенное нарастание мягкого тепла. Две их головы, его и Ольги, щека к щеке, две головы, соединенные вместе парой маленьких пытливых ладоней, протянутых вверх из темной постели, к которой их головы (или их голова — ибо они образовали единство) опускались все ниже и ниже — к

третьей точке, к безмолвно смеющемуся лицу. Как только его и ее губы дотянулись до прохладного лба и горячей щеки ребенка, раздался тихий ликующий смех, но спуск на этом не закончился, и Круг продолжил погружаться в душераздирающую доброту и мягкость, в черные слепящие глубины запоздалой, но – не беда – вечной ласки.

Посреди ночи в его сне произошло что-то такое, из-за чего он выпал из сна в то, что на самом деле было тюремной камерой со световой решеткой (и отдельным бледным отблеском, похожим на след ноги какого-то фосфоресцирующего островитянина), прорывавшей тьму. Поначалу, как иногда бывает, обстановка его пробуждения не соответствовала ни одной возможной форме реальности. Увиденный им световой узор, несмотря на свое скромное происхождение (конус неусыпного прожектора, мертвенно-бледный угол тюремного двора, косой луч, льющийся сквозь какую-то щель или пулевое отверстие в запертых на засов и на висячий замок ставнях), приобрел странное, возможно, роковое значение, ключ к которому был полускрыт створкой темного сознания на мерцающем полу полузабытого кошмара. Казалось, что какое-то обещание нарушено, какой-то замысел сорван, какая-то возможность упущена – или же использована с такой грубостью и чрезмерностью, что оставила ореол чего-то греховного и стыдного. Световой узор каким-то образом был следствием некоего крадущегося, условно-мстительного, шарящего, вторгающегося движения, происходившего во сне или за сном, в спутанном клубке незапамятных козней, ныне лишенных формы и цели. Представьте себе знак, который предупреждает вас о взрыве таким тайным или детским языком, что вы задаетесь вопросом, а не было ли все это – и знак, и замерший под оконным карнизом взрыв, и сама ваша трепещущая душа – устроено искусственно, здесь и сейчас, по особой зазеркальной договоренности с сознанием.

Именно в эту минуту, сразу после того, как Круг провалился сквозь дно своего бессвязного сна и, хватая воздух, сел на солому, – за миг до того, как его страшная явь с неискоренимым из памяти ужасным горем едва не бросилась на него, – именно тогда я почувствовал укол жалости к Адаму и скользнул к нему по наклонному лучу бледного света, вызвав мгновенное помешательство, но, по крайности, избавив его от бессмысленной агонии его рациональной участи.

С улыбкой бесконечного облегчения на заплаканном лице Круг откинулся на солому. Он лежал в ясной темноте, изумленный и счастливый, прислушиваясь к обычным ночным звукам большой тюрьмы: редкие зевки надзирателя (ах-ха-ха-аха), старательное бормотанье пожилых заключенных, скрашивающих бессонницу изучением английских пособий («My aunt has a visa. Uncle Saul wants to see Uncle Samuel. The child is bold»[94]), сердцебиение мужчин помоложе, бесшумно роющих подземный ход к свободе и новому аресту, легкий ритмичный стук excrementa[95] летучих мышей, осторожный треск жестоко смятой и брошенной в мусорную корзину страницы, предпринявшей трогательную попытку расправиться и пожить еще немного.

Когда на рассвете четверо элегантных офицеров (три графа и грузинский князь) явились за ним, чтобы отвезти на чрезвычайно важную встречу с друзьями, он отказался пошевелиться и продолжал

лежать, улыбаясь им и пытаясь игриво потрепать их за шейку босыми пальцами ног. Заставить его одеться не удалось, и после торопливого совещания четверо молодых гвардейцев, бранясь на устаревшем французском, отнесли его, как есть, то есть в одной (белой) пижаме, в тот же самый автомобиль, которым некогда так ловко управлял покойный д-р Александер.

Ему сунули программу церемонии очной ставки и провели через некое подобие туннеля в центральный двор.

Пока он осматривал очертания двора, выступающий козырек вон того крыльца, зияющую арку туннелеобразного прохода, приведшего его сюда, Круга с какой-то легкомысленной точностью, которую трудно выразить, осенило, что это двор его школы; но само здание изменилось, окна стали больше, и за ними виднелась стайка наемных лакеев из «Астории», накрывающих стол для сказочного пира.

Так он стоял в своей белой пижаме, с непокрытой головой, босой, моргая и глядя по сторонам. Он заметил множество неожиданных людей: у грязноватой стены, отделяющей двор от мастерской угрюмого старика-соседа, который никогда не перебрасывал мяч обратно, скучала молчаливая и чопорная кучка охранников вместе с увешанными медалями вельможами, и среди них, скрестив руки на груди, постукивая каблуком по стене, стоял Падук. В другой, более темной части двора, несколько бедно одетых мужчин и две женщины «представляли заложников», как сообщала данная Кругу программка. Его свояченица сидела на качелях, стараясь достать ногами до земли, и ее светлородый муж как раз потянул за одну из веревок, когда она огрызнулась на него, чтобы он прекратил раскачивать, неловко соскочила и помахала Кругу. Чуть в стороне стояли Гедрон, Эмбер, Руфель и какой-то человек, которого он не мог точно определить, а также Максимов с женой. Всем хотелось поговорить с сияющим философом (поскольку они не знали, что его ребенок мертв, а сам он безумен), но солдаты действовали согласно приказу и разрешали просителям приближаться только по двое.

Один из старейшин, человек по имени Шамм, склонил к Падуку украшенную плюмажем голову и, полууказывая боязливо-нервным перстом, как бы беря назад каждый сделанный им резкий тычок и используя другой палец для повторения жеста, вполголоса пояснил, что происходит. Падук кивнул, уставился в пространство и снова кивнул.

Профессор Руфель, вскидчивый, угловатый, необыкновенно лохматый маленький человек с ввалившимися щеками и желтыми зубами, подошел к Кругу вместе с –

«Боже мой, Шимпффер! – воскликнул Круг. – Вот так встреча, здесь, после стольких лет – дай-ка подумать –»

«Четверть века», – низким голосом сказал Шимпффер.

«Ну и ну, прямо как в старые времена, – продолжал Круг со смехом. – А что до Жабы вон там –»

Порыв ветра опрокинул пустую звонкую урну; по двору пронесся

небольшой вихрь пыли.

«Меня выбрали переговорщиком, – сказал Руфель. – Обстоятельства вам известны. Не стану вдаваться в детали – у нас мало времени. Знайте, что мы бы не хотели, чтобы наше тяжелое положение оказало на вас какое-либо влияние. Мы очень хотим жить, действительно очень, но мы не будем держать на вас зла, совсем –»

Он прочистил горло. Эмбер, все еще находившийся в отдалении, подскакивал и выпрямлялся, как балаганный Петрушка, стараясь углядеть Круга из-за спин и голов.

«Никакого зла, совсем нет, – скороговоркой продолжил Руфель. – Собственно, мы нисколько не удивимся, если вы откажетесь уступить – *Vu ronimaete, o chom rech? Daite zhe mne znak, shto vy ronimaete* – [Вы понимаете, о чем речь? Дайте же мне знак, что вы понимаете...]»

«Все в порядке, продолжайте, – сказал Круг. – Я просто пытался вспомнить. Вас арестовали – дайте-ка подумать – как раз перед тем, как кошка вышла из комнаты. Я полагаю – (Круг помахал Эмберу, чей крупный нос и красные уши то тут, то там появлялись между плечами пленников и стражников.) – Да, кажется, теперь вспомнил».

«Мы попросили профессора Руфеля переговорить с тобой от нашего имени», – сказал Шимпффер.

«Да, понимаю. Прекрасный оратор. Я помню, Руфель, как вы однажды выступали, в пору вашего расцвета, – с высокой трибуны, среди цветов и флагов. Отчего яркие цвета –»

«Друг мой, – сказал Руфель, – времени мало. Пожалуйста, позвольте мне продолжить. Мы не герои. Смерть отвратительна. Среди нас две женщины – им придется разделить нашу участь. Наша плоть затрепетала бы от неизъяснимого ликования, если бы вы согласились спасти наши жизни, продав свою душу. Но мы не просим вас продавать свою душу. Мы лишь –»

Жестом остановив его, Круг скорчил ужасную гримасу. Толпа замерла, затаив дыхание. Круг разорвал тишину, оглушительно чихнув.

«Глупые вы люди, – сказал он, вытирая нос рукой. – Ну чего вы, скажите на милость, боитесь? Какое все это имеет значение? Смешно! Вроде тех детских забав – Ольга с мальчиком участвовала в каких-то дурацких спектаклях, она тонула, он терял жизнь или что-то такое в железнодорожной катастрофе. Да какое это имеет значение?»

«Ну, если это не имеет значения, – сказал Руфель, тяжело дыша, – тогда, чорт возьми, скажите им, что вы готовы сделать все от вас зависящее, и стойте на этом, и нас не расстреляют».

«Слушай, это какой-то кошмар, – сказал Шимпффер, который был обыкновенным смелым рыжеволосым мальчишкой, а теперь имел бледное одутловатое лицо с веснушками, виднеющимися сквозь редкие волосы. – Нам сказали, что если ты отвергнешь условия правительства, то это

наш последний день. У меня большая фабрика спортивных товаров в Аст-Лагоде. Меня схватили посреди ночи и бросили в тюрьму. Я законопослушный гражданин и вообще не понимаю, кой чорт кому бы то ни было отвергать правительственные предложения, но я знаю, что ты человек исключительный и у тебя могут быть исключительные причины, и, поверь, мне бы вовсе не хотелось заставлять тебя делать что-то низкое или глупое».

«Круг, вы слушаете нас?» – вдруг резко спросил Руфель, и поскольку Круг продолжал смотреть на них с той же благожелательной улыбкой, застывшей на слегка обвислых губах, они с ужасом осознали, что обращаются к умалишенному.

«Khoroshen'koe polozhen'itze [красивое дело]», – сказал Руфель ошарашенному Шимпфферу.

Цветная фотография, снятая минуту или две спустя, запечатлела следующее: справа (если стать лицом к выходу), у серой стены, на только что принесенном для него из здания стуле, раздвинув бедра, сидит Падук. На нем крапчатая зелено-коричневая униформа одного из его любимых полков. Его лицо под непромокаемой фуражкой (изобретенной когда-то его отцом) как тускло-розовая клякса. Он щеголяет коричневыми гетрами бутылочной формы. Шамм, импозантная особа в медном нагруднике и широкополой шляпе черного бархата с белым плюмажем, что-то объясняя, склоняется к маленькому угрюмому диктатору. Трое других старейшин, закутанные в черные плащи, возвышаются рядом, как кипарисы или заговорщики. Несколько красивых юношей в оперных мундирах, вооруженные крапчатыми зелено-коричневыми пистолетами, защитным полукругом обступают эту группу. В кадр попало непристойное слово, мелом нацарапанное каким-то школьником на стене, – прямо над головой Падука; этот вопиющий недосмотр совершенно испортил правую часть снимка. Слева, посреди двора, с непокрытой головой и треплемыми ветром жесткими седовато-черными прядями, одетый в подпоясанную шелковым пояском просторную белую пару и босой, как древний святой, виднеется Круг. Охранники наставили винтовки на Руфеля и Шимпффера, которые пытаются им что-то втолковать. Ольгина сестра, чье лицо нервно подергивается, а глаза тщетно стараются глядеть беззаботно, понукает своего непутевого мужа сделать несколько шагов вперед и занять более выгодное положение, чтобы они могли добраться до Круга следующими. На заднем плане медицинская сестра делает Максиму иньекцию: старик потерял сознание, а его коленопреклоненная жена укрывает ему ноги своей черной шалью (с обоими жестоко обошлись в тюрьме). Гедрон, или, вернее, необыкновенно одаренный актер (поскольку настоящий Гедрон за несколько дней до этого покончил с собой), курит трубку Данхилл. Дрожащий (очертания размыты), несмотря на каракулевое пальто, Эмбер воспользовался перебранкой между охранниками и первой парой в очереди и оказался в шаге от Круга. Можете снова двигаться.

Руфель жестикулировал. Эмбер схватил Круга за руку, и тот быстро повернулся к другу.

«Погоди минуту, – сказал Круг. – Не начинай плакаться, пока я не улажу это недоразумение. Потому что, видишь ли, вся эта очная ставка

– полное недоразумение. Нынче ночью я видел сон, да, сон... 0, все равно, назови это сном или назови галлюцинацией, вызванной световым ореолом, – один из тех косых лучей, пересекающих келью отшельника – взгляни на мои босые ноги – холодные, как мрамор, конечно, но – На чем я остановился? Слушай, ты ведь не такой глупый, как остальные, правда? Ты же знаешь не хуже меня, что бояться нечего?»

«Дорогой мой Адам, – сказал Эмбер, – давай не будем вдаваться в такие пустяки, как страх. Я готов умереть... Но есть кое-что, что я больше терпеть не в силах, *c'est la tragédie des cabinets*[96], это убивает меня. Как ты знаешь, у меня очень слабый желудок, а они ежедневно на минуту выводят меня на сальный сквозняк, в преисподнюю нечистот. *C'est atroce*[97]. Я бы предпочел, чтобы меня тут же расстреляли».

Поскольку Руфель и Шимпффер все еще продолжали спорить и доказывать охранникам, что они не закончили говорить с Кругом, один из солдат воззвал к старейшинам, после чего к ним подошел Шамм и негромко заговорил.

«Так дело не пойдет, – сказал он, очень четко выговаривая слова (исключительно волевым усилием он в юности избавился от взрывного заикания). – Программа должна исполняться без всей этой болтовни и неразберихи. Давайте-ка покончим с этим. Скажите им (он повернулся к Кругу), что вы избраны министром образования и юстиции и в этом своем качестве приняли решение всех их помиловать».

«Что за прелесть этот твой нагрудник!» – проговорил Круг и всеми десятью пальцами быстро побарабанил по металлической выпуклости.

«Дни наших щенячьих игр на этом дворе прошли», – сурово сказал Шамм.

Круг дотянулся до Шаммовой шляпы и ловко нахлобучил ее на собственные лохмы.

Это был котиковый бонет маменькиного сынка. Заикаясь от ярости, мальчишка попытался его вернуть. Адам Круг бросил его Рыжику Шимпфферу, который, в свой черед, забросил его на запорошенный снегом штабель березовых дров, где он и застрял. Шамм бегом бросился обратно в школу – жаловаться. Жаба, направляясь домой, крался вдоль низкой стены к выходу. Адам Круг закинул ранец за плечо и заметил Шимпфферу, что вот как забавно – а бывает ли у Шимпффера такое же ощущение «повторяющейся последовательности», как будто все это уже было: меховая шапка, я бросил ее тебе, ты подбросил ее вверх, дрова, снег на дровах, шапка зацепилась, появляется Жаба?.. Отличающийся практичным складом ума Шимпффер вместо рассуждений предложил задать Жабе хорошую взбучку. Двое мальчиков наблюдали за ним из-за дров. Жаба замер у стены, очевидно поджидая Мамша. С пронзительным «ура!» Круг возглавил атаку.

«Ради Бога, остановите его! – закричал Руфель. – Он спятил! Мы не отвечаем за его действия. Остановите его!»

Взяв стремительный разгон, Круг неся к стене, у которой Падук, с

размытыми испариной страха чертами лица, соскользнул со стула и попытался исчезнуть. Двор охватило дикое смятение. Круг увернулся от объятий охранника. Затем левая сторона его головы, казалось, вспыхнула огнем – первая пуля оторвала ему часть уха, – но он радостно ковылял дальше:

«Живее, Шримп, живее! – ревел он, не оглядываясь. – Отделаем его как следует, выьем из него дух, эгей!»

Он увидел, как Жаба скорчился у основания стены, дрожа, растворяясь, все быстрее повторяя свои визгливые заклинания, защищая тускнеющее лицо прозрачной рукой, и Круг подбежал к нему, и всего за долю мгновения до того, как в него ударила вторая, более меткая пуля, он снова крикнул: «Ты, ты...» – и стена исчезла, как быстро выдернутый слайд, и я потянулся и встал среди хаоса исписанных и переписанных страниц, чтобы посмотреть, что это там со звонким «памм!» ударилось в проволочную сетку моего окна.

Как я и думал, за сетку, на ее ночной стороне, цеплялась мохнатыми лапками крупная ночница. Ее мрамористые крылья все еще подрагивали, глазки горели, как два миниатюрных уголька. Я только успел различить ее коричневато-розовое обтекаемое тельце и пару цветных пятнышек, после чего она снялась и порхнула обратно в теплый и влажный мрак.

Что ж, вот и все. Различные части моего относительного рая – лампа у кровати, снотворные пилюли, стакан молока – с совершенной покорностью смотрели мне в глаза. Я знал, что бессмертие, дарованное мною бедняге, было увертливым софизмом, игрой слов. Но самый последний круг в его жизни был исполнен счастья, и он убедился, что смерть – не более чем вопрос стиля. Какие-то башенные часы, точное местонахождение которых я никак не мог определить и которых, собственно, я никогда не слышал днем, пробили дважды, затем призадумались и сменились ровной быстрой тишиной, продолжившей струиться по венам моих ноющих висков; вопрос ритма.

На той стороне переулка только два окна все еще были живы. В одном тень руки расчесывала невидимые волосы; или, может быть, это качались ветки; другое окно черным наклонным стволом пересекал тополь. Рассеянный луч уличного фонаря осветил ярко-зеленый край самшитовой изгороди. А еще я мог разглядеть блеск одной особенной лужи (той, которую Круг каким-то образом различил сквозь толщу собственной жизни), – продолговатой лужи, неизменно приобретающей один и тот же вид после каждого дождя из-за исходной лопаточной формы углубления в земле. Быть может, нечто подобное происходит и с тем отпечатком, который мы сами оставляем в сокровенной текстуре пространства. Памм! Покойная ночь для беспокойной ловитвы.

Андрей Бабилов

Адамово яблоко

Первый американский роман Набокова

1

Между Автором и Богом

После переезда с женой и сыном из Франции в Америку в мае 1940 года Набоков планировал дописать роман «Solus Rex», частично уже напечатанный в «Современных записках», сочинить продолжение «Дара» о жизни Федора Годунова–Чердынцева в предвоенном Париже и трагической смерти Зины, создать инсценировку «Дон Кихота» для русского театра в Коннектикуте и, стараясь «не слишком калечить музу», написать по–английски коммерческий детективный роман[98]. Из этих проектов ничего не вышло. Вместо этого он написал по–английски литературную биографию Гоголя (1944) для издательства «New Directions», несколько английских рассказов и энтомологических работ и надолго засел за «очень большую и довольно чудовищную штуку» (как он писал сестре 25 октября 1945 года[99]), ставшую после ряда метаморфоз его первым американским романом «Bend Sinister».

«Чудовищная штука» по–своему и на другом языке преломляла более ранний набоковский замысел «Приглашения на казнь» (1935), в котором дошкольный учитель Цинциннат отказывается принять окружающую его бутафорскую действительность, заключается в тюрьму и отправляется на смерть. 14 мая 1946 года в письме к сестре Набоков обратил внимание на сходство двух произведений: «Много занимаюсь последнее время длинным и страшным романом, думаю его кончить через месяц. Это немножко в линии “Приглашения на казнь”, но, так сказать, для баса»[100].

Тема противостояния талантливого индивида шаблонному диктатору, причем не постороннему человеку, а, как и в случае «Незаконнорожденных», хорошо известному ему с молодых лет «жестокому и мрачному пошляку с болезненным гонором», развита в рассказе Набокова «Истребление тиранов» (1938). Другой подхваченной в новой книге линией была тема незавершенного «Solus Rex» – одиночество потерявшего жену героя, который ищет способ снестись с ней в мире ином и пишет ей письмо (одна из глав «Незаконнорожденных» представляет собой «отрывки из письма, адресованного мертвой женщине в царство небесное ее пьяным мужем»).

Начало работы над романом относится к лету или к осени 1942 года[101], когда он еще назывался «Человек из Порлока» (с отсылкой к незавершенной поэме Кольриджа «Кубла Хан, или Видение во сне»), однако его сочинение, разделаться с которым Набоков предполагал летом 1944 года[102], несколько раз прерывалось, и книга вышла в издательстве «Holt» только 12 июня 1947 года. За пять лет замысел

претерпел существенные изменения, что следует из переписки Набокова с влиятельным американским критиком и писателем Эдмундом Уилсоном и синопсиса книги, изложенного Набоковым в письме к редактору издательства «Doubleday» в марте 1944 года. 18 января 1944 года Набоков послал Уилсону первые готовые главы (37 страниц) для проверки и передачи в это издательство. Он прибавил, что «ближе к концу книги, которая составит всего 315 страниц, начнет вырисовываться и развиваться идея, к которой еще никто не обращался»[103]. О чем-то столь же интригующем и туманном он вскоре после этого (22 марта) написал и редактору «Doubleday» Д. Б. Элдеру: «...идея книги значительно шире, чем страдание, испытываемое свободными умами на худших поворотах ухабистого века; ее идея, по сути, является чем-то принципиально новым и посему требует трактовки, несовместимой с простым описанием общей темы» (см. в настоящем издании Приложение, I).

В чем эта идея состояла, можно догадаться, вновь обратившись к переписке Набокова с Уилсоном. Прочитав готовую книгу, получившую к тому времени свое окончательное название, Уилсон 30 января 1947 года подробно разобрал (или скорее разбил) ее и заметил следующее: «Жаль, что ты отказался от идеи столкнуть своего героя с его создателем»[104]. По-видимому, в более ранней версии романа, которая была известна Уилсону или о которой Набоков рассказывал ему при встрече, Адам Круг в конце книги не просто лишился рассудка в результате вмешательства Автора, но оказывался в его мире и, возможно, беседовал с ним[105]. Если так, то, действительно, в романах, написанных до середины XX века, подобных смелых примеров пересечения «линии рампы» мы не находим. Довольно хорошо развитая модернистами и самим Набоковым (начиная уже с его второго романа «Король, дама, валет», 1928) тема авторского присутствия в таком случае получила бы совершенно новое наполнение. Вместе с тем она бы не столь уж существенно отличалась от кульминаций средневековых видений, с их описанием загробного мира и даже (как, например, в «Божественной комедии») встречи с Творцом («...И взор мой жадно был к Нему воздет. / Как геометр, напрягший все старанья, / Чтобы измерить круг, схватить умом / Искомого не может основанья, / Таков был я при новом диве том: / Хотел постичь, как сочтаны были / Лицо и круг в слиянии своем...»[106]).

Намеки на возможность подобного прочтения романа оставляет сам Набоков, сравнивающий своего Адама с «древним святым» и называющий самого себя (в предисловии) олицетворением антропоморфного божества, дарующего герою благодать безумия. Главным тематическим новшеством в таком столкновении современного, рационально мыслящего персонажа со своим создателем стало бы осознание первым истинной (иррациональной) природы мира – его сочиненности, сделанности, искусственности и – разумеется – неизбежной злокачественности. Однако Круг погибает прежде, чем успевает обдумать все поразительные следствия такого открытия.

Здесь кстати оказывается «Гамлет», разбору которого посвящена изрядная часть романа и к идее русского перевода которого (оставшейся нереализованной) Набоков вернулся в 1942 году. По проницательному замечанию С. Шумана[107], источник простой и

сводящей с ума мысли, что мир романа не реален, а создан Автором, обнаруживается в рассказе Гамлета о его внезапном ночном пробуждении на корабле:

В моей душе как будто шла борьба,
Мешавшая мне спать; лежать мне было
Тяжеле, чем колоднику. Внезапно, –
Хвала внезапности: нас безрассудство
Иной раз выручает там, где гибнет
Глубокий замысел; то божество
Намерения наши довершает,
Хотя бы ум наметил и не так...[108]

Схожим образом Круга, неизменно исключавшего теологию из своих философских концепций, на грани пробуждения «выручает» его создатель, посылая ему спасительную благодать помешательства, отменяющую все то, что Круг наметил в своих попытках определить «совершенное знание» с помощью инструментов логики. К наблюдению Шумана стоит добавить, что герой Шекспира не только подозревает наличие кого-то, кто направляет его, но и, умирая, на границе жизни и смерти открывает потусторонний план бытия, обращаясь к тем, «трепетным и бледным, / Безмолвно созерцающим игру», кто из своего мира иного наблюдает за развязкой, подобно Автору романа, кончающему книгу смертельным ранением уязвимого, но все же победоносного героя.

Круг, однако, до последних мгновений остается в своем сочиненном мире, иная реальность ему не открывается.

В «Solus Rex» смерть жены побуждает художника Синеусова искать ответ на вопрос о Боге и бессмертии души у другого набоковского Адама, предшественника Круга, – практичного и жизнелюбивого математика и коммерсанта Адама Ильича Фальтера, которому внезапно открылась суть вещей, главная тайна мира. Его, Фальтерова, «Mirokonzepsia» переменилась в одночасье – как произошло и с Кругом, и хотя Фальтер не сошел с ума, в отличие от своего более позднего товарища по универсальному знанию, он все же утратил обычное восприятие реальности и вскоре умер. Цинциннат, Фальтер и Круг (и в меньшей степени Годунов–Чердынцев, Найт, Пнин, Шейд и Хью Пёрсон), каждый по-своему, но в конечном счете с тем же исходом, соприкасаются с чем-то грандиозным, опасным и запретным, что несовместимо с каузальной ограниченностью нашего «чугунно–решетчатого мира причин и следствий» (говоря словами Гумберта Гумберта), но что предполагает волнующее продление лучшего и самого хрупкого – духовного,

вдохновенного, исключительного – из их смертного состава в мире ином. «Ведь я знаю, – пишет Цинциннат в своей камере смертника, – что ужас смерти – это только так, безвредное, – может быть, даже здоровое для души – содрогание <...> и хотя я все это знаю, и еще знаю одну главную, главнейшую вещь, которой никто здесь не знает <...>»[109]. Ему вторит Фальтер: «...природа моего открытия ничего не имеет общего с природой физических или философских домыслов: итак, то главное во мне, что соответствует главному в мире, не подлежит телесному трепету, который меня так разбил»[110]. Прозревший Адам Круг заключает: «Глупые вы люди <...>. Ну чего вы, скажите на милость, боитесь? Какое все это имеет значение? Смешно! Вроде тех детских забав – Ольга с мальчиком участвовала в каких-то дурацких спектаклях, она тонула, он терял жизнь или что-то такое в железнодорожной катастрофе. Да какое это имеет значение?»

Финал романа подсказывает нам, что добытая в муках колеблющегося познания философская «мироконцепция» Адама Круга оказывается метафорой библейского грехопадения, вкушением запретного плода (на что намекает сцена соблазнения его Мариеттой-Лилит и стойкий мотив яблока – от вымышленного бервовского до шекспировского «яблока св. Иоанна»), тогда как перед смертью он обретает новое, окончательное знание, преображающее все его прежние умозаключения. Круг описан: Автор-Создатель рассматривает в финале книги ту самую округлой формы лужу, на которую смотрит его герой из окна госпиталя в первой главе, – и бьющаяся в поисках рационального выхода мысль Круга, оттолкнувшись от начальной попытки осмыслить смерть жены и пройдя все стадии метафизического сомнения и отвержения, в конце концов возвращается к иррациональному творческому началу своего создателя, как дважды описанная в романе бабочка-психея прилетает из ночной тьмы к свету, льющемуся из комнаты автора.

Стройное, математически точное разрешение темы, смелый онтологический сдвиг планов, новым светом озаряющий все здание книги...

И все же, дочитав роман и перечитав набоковское предисловие к нему, остаешься в некоторой растерянности. Так ли уж хорош этот прямолинейный финал, явно пародирующий старинный театральный прием *deux ex machina*? Убежден ли читатель, что милосердный Автор – это сам Набоков, «помиловавший» своего героя безумием, которое прерывает естественное развитие в нем нестерпимых страданий от мысли, что он мог сделать, но не сделал, чтобы спасти своего ребенка? Иными словами, верим ли мы, что искусственное, а не настоящее помешательство героя с его болью и, возможно, попытками самоубийства действительно благо? Другой набоковский герой, потерявший сына и задававшийся вопросами о Боге и смерти, Александр Чернышевский в «Даре», медленно сходит с ума и наконец умирает, придя к заключению, что после смерти «ничего нет»: «Он вздохнул, прислушался к плеску и журчанию за окном и повторил необыкновенно отчетливо: “Ничего нет. Это так же ясно, как то, что идет дождь”». А между тем за окном играло на черепицах крыш весеннее солнце, небо было задумчиво и безоблачно, и верхняя квартирантка поливала цветы по краю своего балкона <...>»[111]. Сама постановка вопроса и возможность такого рода заключений по аналогии с чувственным восприятием явлений тут же

Набоковым опровергаются, Чернышевский не совершает никакого открытия и умирает, пребывая в нелепом заблуждении, и все же его скромная человеческая участь, его умственные и душевные потемки кажутся значительней и предпочтительней ослепительных, но лежащих за пределами людской природы истин Фальтера и Круга.

Остается спросить напрямик, как Синеусов допытывал Фальтера: не оборачивается ли авторская убежденность в литературной ловкости финального маневра и благости такого потустороннего вмешательства одной из самых каверзных набоковских уловок и не подсказана ли читателю горькая правда эпиграфом к «Приглашению на казнь», с которым «Bend Sinister» составляет своего рода русско-английский диптих: «Comme un fou se croit Dieu nous nous croyons mortels» – «Как безумец мнит себя Богом, так мы полагаем, что мы смертные»?

В самом деле, уже история Германа в «Отчаянии» или, позднее, Кинбота в «Бледном огне» показывает, что излишняя самоуверенность в своих творческих силах и претензия на право вершить судьбы людей может быть следствием простого безумия или обратной – темной, порочной – стороной гениальности. Последняя страница романа, на которой некое «я» поднимается «среди хаоса исписанных и переписанных страниц», не становится автобиографическим эпилогом или авторским постскриптом (как в «Николае Гоголе», где Набоков в конце беседует со своим издателем Дж. Лохлиным в штате Юта в принадлежащей последнему лыжной гостинице), не выходит за рамки фикции, а, напротив, соединяется с первой страницей романа через ту самую волшебную лужу («водяной знак книги», по удачному замечанию А. Филоновой-Гоув), на которую из госпиталя глядит Круг и которую Автор обзревает из своей комнаты. Здесь перед читателем, конечно, не сам Набоков, а еще один его персонаж-писатель, – быть может, портретно близкий ему, как прозаик Владимир в «Даре» («Под пиджаком у него был спортивный свэтер с оранжево-черной каймой по вырезу, убыль волос по бокам лба преувеличивала его размеры, крупный нос был, что называется, с костью, неприятно блестели серовато-желтые зубы из-под слегка приподнятой губы, глаза смотрели умно и равнодушно, – кажется, он учился в Оксфорде и гордился своим псевдобританским пошибом»[112]), но от этого нисколько не теряющий своей литературной неуязвимости. Трудно представить себе, чтобы энтомолог Набоков, занимавшийся в годы создания романа в лаборатории Гарвардского музея сравнительной зоологии изучением мельчайшего строения бабочек, не смог бы назвать сидящую у него за окном легко распознаваемую ночницу (глазчатый бражник) и ограничился бы ее любительским описанием: «Ее мрамористые крылья все еще подрагивали, глазки горели, как два миниатюрных уголька». Так мог бы поступить Вадим Вадимович, полуавтобиографический герой последнего заверченного романа Набокова «Взгляни на арлекинов!» (1974), знаменитый двуязычный писатель, который «не смыслил в бабочках ни аза», хотя и любил подмечать их окраску, но Набоков, конечно, прекрасно знал всех бабочек, водившихся в Кембридже (Массачусетс), где он прожил несколько лет и где был окончен роман – «более или менее так, как описано в конце восемнадцатой главы», по его собственным словам в предисловии. Не мог бы он оставить без внимания и того обстоятельства, что глазчатый бражник в США не встречается[113].

Антропоморфное божество романа всего лишь «олицетворяется» его автором, русско-американским писателем Набоковым, вовсе не мнящим себя Богом. Напротив, в ранней версии первой главы романа сам этот автор, наделенный значительно большим числом набоковских автобиографических черт, встречается в горах во время ловли бабочек того, «кто действительно знает» и кому нет нужды что-либо олицетворять: «Как-то утром я повстречал на альпийском лугу Б., и он спросил, чем я там занимался с сеткой в руках. Очень доброжелательный и, конечно, отвечающий за общее устройство, но слабо знакомый с нашими приспособлениями и маленькими удовольствиями. “Вот как, понимаю. Это, должно быть, весело. И что же вы с ними потом делаете?”» Исключение этого места из опубликованной версии диктовалось, по-видимому, теми же соображениями, которые мы высказали в отношении невозможности введения реальной авторской фигуры в полотно вымысла: как Набоков в романе со всей неизбежностью превращается в персонажа, так и Б. становится лишь плодом писательского воображения, такой же фикцией, как Максимов (списанный с М. Карповича) или Падук.

При таком освещении образ набоковского Автора в «Незаконнорожденных» продолжает важную в романе тему ложного авторства шекспировских сочинений (Круг с Эмбером «обсуждали возможность стать создателями всех произведений Уильяма Шекспира, потратив баснословные деньги на мистификацию, взятками заткнув рты бесчисленным издателям, библиотекарям, жителям Стратфорда-на-Эйвоне»). С другой стороны, он напоминает того «злокозненного гения», существование которого Р. Декарт допускает в «Размышлении о первой философии», рассуждая об истинности познания и доказательствах бытия Божьего (основное положение картезианства дважды упоминается в романе):

Итак, я сделаю допущение, что не всеблагой Бог, источник истины, но какой-то злокозненный гений, очень могущественный и склонный к обману, приложил всю свою изобретательность к тому, чтобы ввести меня в заблуждение: я буду мнить небо, воздух, землю, цвета, очертания, звуки и все вообще внешние вещи всего лишь пригрезившимися мне ловушками, расставленными моей доверчивости усилиями этого гения; я буду рассматривать себя как существо, лишенное рук, глаз, плоти и крови, каких-либо чувств: обладание всем этим, стану я полагать, было лишь моим ложным мнением; я прочно укореню в себе это предположение, и тем самым, даже если и не в моей власти окажется познать что-то истинное, по крайней мере, от меня будет зависеть отказ от признания лжи, и я, укрепив свой разум, уберегу себя от обманов этого гения, каким бы он ни был могущественным и искусным. <...> Я похож на пленника, наслаждавшегося во сне воображаемой свободой, но потом спохватившегося, что он спит: он боится проснуться и во сне размягченно потекает приятным иллюзиям; так и я невольно соскальзываю к старым своим представлениям и страшусь пробудиться <...> [114].

В интервью 1962 года на замечание, что из его книг создается впечатление, будто он «испытывает почти извращенное удовольствие от литературного обмана», Набоков ответил: «Ложный ход в шахматной задаче, иллюзия решения или магия фокусника: в детстве я был маленьким волшебником. Я любил делать простые трюки – превращать

воду в вино, такого рода вещи; но, полагаю, я в хорошей компании, потому что любое искусство – это обман, как и природа; все обман в этом добром мошенничестве, от насекомого, которое притворяется листком, до ходких приманок размножения»[115].

Ироничные замечания Набокова в отношении «популярных верований», его убеждение в возможности исключительно индивидуального, а не коллективного приобщения к высшим материям, его нежелание распахивать перед читателем душу привнесли в его сочинения привкус насмешливого скептицизма и холодности и дали повод видеть в нем всего только искусного манипулятора, расчетливого пуппенмейстера, заводящего своих героев (и вместе с ними читателей) в беспросветные лабиринты отчаяния и камеры обскура. Обычно скрывающий свои этические интенции, в предисловии к «Незаконнорожденным» он, однако, оставляет сдержанные намеки на то, что созданный в романе мир принадлежит низшему разряду действительности, с привычной черствостью обывателей, торжествующим фрейдизмом, опытными станциями, где мучают детей, кровавыми репрессиями, но что в нем есть «расселина», «ведущая в иной мир нежности, яркости и красоты». «Сделанность», фарсовость созданного Набоковым мира нисколько не умаляет трагичности судеб его невольников и жертв. Чувствуют и страдают они по-настоящему и гибнут тоже взаправду[116]. Еще до того, как Автор, испытав «укол жалости к своему созданию», посылает ему «благодать помешательства», Круг переживает намного более значительное и подлинное единение с высшей любовью и добротой мироздания, которая – как знать – могла бы после пробуждения спасти его от сокрушительного удара горя, если бы не вмешался Автор (или автор со строчной буквы, одна из набоковских креатур), ищущий эффектной концовки для своего романа:

Но из-за обморока или дремы он впал в беспамятство прежде, чем смог как следует схватиться со своим горем. Все, что он чувствовал, это медленное погружение, сгущение тьмы и нежности, постепенное нарастание мягкого тепла. Две их головы, его и Ольги, щека к щеке, две головы, соединенные вместе парой маленьких пытливых ладоней, протянутых вверх из темной постели, к которой их головы (или их голова – ибо они образовали единство) опускались все ниже и ниже – к третьей точке, к безмолвно смеющемуся лицу. Как только его и ее губы дотянулись до прохладного лба и горячей щеки ребенка, раздался тихий ликующий смех, но спуск на этом не закончился, и Круг продолжил погружаться в душераздирающую доброту и мягкость, в черные слепящие глубины запоздалой, но – не беда – вечной ласки.

Обдумывая сказанное, приходится допустить, что, сколь бы ни были благими намерения Автора, его вмешательство прерывает развитие чего-то очень важного в душе героя и что всемогущий Автор невольно становится для Круга тем самым «Человеком из Порлока», развеявшим поэтическое видение.

Все это трудно согласовать с расхожим мнением о набоковском бездушии, цинизме, какой-то герметичной элитарности, с замечаниями о том, что «никакого трагизма, ни малейшего, в творчестве Набокова нет» и что «Набоков тоже в конце концов – “спекуляция на понижение”»[117]. Напротив, ставки у Набокова в искусстве

чрезвычайно высоки, роль автора (а значит, и читателя), при всей набоковской любви к парадоксам, загадкам и двойным решениям, необычайно значительна; долгая же, многих обанкротившая «игра на понижение» ведется скорее его критиками, начиная с Г. Иванова и З. Гиппиус и кончая современными профессиональными спекулянтами. Глубже и обоснованнее приведенного мнения, на наш взгляд, замечание эмигрантского писателя и эссеиста В. Варшавского, сделанное в отношении «Приглашения на казнь», но применимое и к «Незаконнорожденным»:

Цинциннату предлагается выбор между двумя видами уничтожения: или перестать быть самим собою, перестать быть человеком, личным существом, или смертная казнь. Он выбирает казнь. В этом выборе и в мужестве отчаянья, с каким Цинциннат борется за свою человеческую подлинность, – все значение романа. Цинциннату открылось «я есмь». Правда, может показаться, что в своем героическом самоутверждении он не понял, что «я есмь» значит, что и все другие люди «суть». Он не пытается разглядеть в каждом из окружающих его обобществленных персонажей такого же человека, как он сам. Это как будто придает его монологам смущающий привкус солипсизма (крайнего индивидуализма). Но это, может быть, только на первый взгляд так кажется. Сколько бы Набоков ни твердил о своем безбожье, цинциннатовское утверждение своего личного бытия рождается из вечного стремления сознания к соединению с чаемым абсолютным бытием и, тем самым, с божественной любовью[118].

Оба набоковских героя, Цинциннат и Круг, совершают одинаковое «преступление» – их «гносеологическая гнусность» состоит в том, что они обладают способностью по-декартовски «ясного и отчетливого» восприятия истины. По мере того как, с одной стороны, вокруг них все больше сгущается атмосфера ложной реальности, а с другой – крепнет их сопротивление, по мере того, как обнажается и определяется их «Я», в них проясняется идея чего-то настоящего, истинного, лежащего за пределами гнетуще-иллюзорного мира, пока, наконец, не происходит финальное столкновение, разом отменяющее, подобно пробуждению, весь долгий морок фальшивой жизни. По справедливому замечанию Б. Бойда, «Незаконнорожденные» «вовсе не политический роман, это роман философский, нацеленный на изложение определенной философии сознания, – что, разумеется, само по себе не лишено связи с политикой. Исходное положение Набокова состоит в том, что нет ничего важнее индивидуального сознания, названного в романе “единственной реальностью мира и величайшим его таинством”»[119].

Со всем тем пересечение политики и философии (а в более широком смысле – свободного индивида и несвободного общества) в романе выступает одной из главных его контрверз, в первую очередь, конечно, из-за фигуры героя, по сути, принуждаемого к отказу от своей свободной «мироконцепции» в пользу скотомской политической философии эквилизма. И здесь нельзя не вспомнить об одном из самых влиятельных философов XX века М. Хайдеггере (1889–1976), который после прихода нацистов к власти принял пост ректора Фрайбургского университета, участвовал в политической жизни Германии и опубликовал ряд работ[120]. «Характер ученых интересов Круга и положение международно известного профессора философии, которому режим

предлагает позицию президента университета, – писал об этом А. Эткинд, – соответствуют интересам и положению Мартина Хайдеггера. Здесь сходство кончается: Хайдеггер согласился на сотрудничество, Круг отказался. Падук спрашивает у Адама, “не приходится ли ему родственником профессор Мартин Круг?”»[121].

2

Поминки по Кругу

Сновидческая логика «Незаконнорожденных», как и кольцевая структура его композиции, повторяет приемы Дж. Джойса в «Поминках по Финнегану» (1939), которые становятся у Набокова предметом пристального внимания и решительной полемики. По-своему подхваченная им интерлингвистическая каламбурная техника Джойса лишь отчасти оправдывается в романе сновидческой подоплекой происходящего; главным же источником уродливых русско-немецко-французско-латинских гибридов становится искаженный, мрачный, лишенный гармонии мещанский и деспотический мир книги, в котором меркнет и замирает сама природа. Серое полотно нелепой и жестокой романной реальности изредка озаряется лучами солнца, игрой света, поэзией, отблеском лучшего – божественного – мира, просвечивающего из своего инобытия. Иначе обстоит дело с карнавально-мифологическим миром «Поминок», в которых, по замечанию С. Хоружего, «всемирная история сочетается с шуточной балаганной балладой»[122]. В романе Джойса, программно лишенном фигуры автора, а вместе с ним и фигуры Творца, дурная цикличность тождественных исторических моделей не способна произвести ничего, кроме восстановления того же изначального status quo героя баллады, окропленного живительным ирландским виски и восставшего из мертвых к своей постылой обыденности. Никакого «пробуждения» не происходит («История – это кошмар, от которого я пытаюсь проснуться», – замечает Стивен Дедал в «Улиссе»): «Все есть замкнутый круг – и мировая история и роман, что ее содержит и выражает. И воскресение – только возвращенье начала»[123]. Кончаясь словами «Finn, again! <...> A way a lone a last a loved a long the...», роман беспрепятственно и бестрепетно, ни на миг не прерывая своего словесного маскарада, продолжается собственной начальной строкой: «...riverrun, past Eve and Adam's, from swerve of shore to bend of bay...»[124]. Подметив здесь и Адама, и «bend», и кольцевую структуру, Набоков, однако, совершает нечто противоположное Джойсу – выводит своего Адама за пределы горестной безысходности. Причем финальный переход повествования из одного плана в другой задумывается как новый художественный прием: «Этот своеобразный апофеоз (еще не применявшийся в литературе прием), – писал Набоков редактору “Doubleday” в уже приводившемся письме, – являет собой, если хотите, своего рода символ божественной власти. Я, Автор, возвращаю Круга в свое лоно, и ужасы жизни, которые он пережил, оказываются художественным вымыслом Автора».

Вместо калейдоскопического историко-мифологического круговорота явлений и событий «Поминок» в романе Набокова – кривозеркальные, но легко узнаваемые черты диктаторских режимов XX века, прямые выдержки

из Сталинской Конституции, точный очерк политической жизни, психологические портреты карателей и арестантов – набоковских современников, таких же незащищенных людей, как его брат Сергей, погибший в концентрационном лагере под Гамбургом. «Мне совершенно не приходило в голову, – писал Набоков М. Алданову в конце 1945 года, – что он мог быть арестован (я полагал, что он спокойно живет в Париже или Австрии), но накануне получения известия о его гибели я в ужасном сне видел его лежащим на нарах и хватающим воздух в смертных содроганиях»[125].

Набокова, встречавшегося с Джойсом в Париже в 1930-х годах и едва не ставшего русским переводчиком «Улисса», очевидно, живо интересовали формальные новшества итогового произведения ирландского писателя. В интервью университетской газете в декабре 1942 года он назвал его в ряду своих любимых авторов: «Шекспир, Марсель Пруст, Джеймс Джойс и Пушкин»[126]. Однако если смелые стилистические поиски «Поминок» задели собственную игровую жилку Набокова, то их содержание едва ли могло его увлечь. Не удивительно, что восхищение Джойсом у Набокова вскоре после публикации «Незаконнорожденных» сменилось разочарованием, о чем он написал Р. Гринбергу 11 сентября 1950 года:

Я остыл к Жоузе'у, которого как писателя очень любил, хотя, как писатель же, ничем ему не был обязан. Теперь нахожу в «Улиссе» досадные недостатки промеж гениальных мест – stream of consciousness[127] звучит условно и неубедительно (никто не ходит, вспоминая с утра до ночи свою прошлую жизнь, кроме авторов), половой момент под стать гимназисту-онанисту, желудочные авантюры (с пердунцами, занимающими целые страницы) слишком растянуты – как монологи в старых пьесах – и еврейство Блума не избегает ни одного шаблона (семьянин хороший, глаза с десятилетиями поволокой, расчетлив и т. д.). Скажи это Edmund'у[128], если увидишь его – я боюсь[129].

Позднее, в интервью А. Аппелю 1966 года, он схожим образом отозвался и о «Поминках»: «бесформенная и унылая масса поддельного фольклора, холодный пудинг книги, непрерывный храп в соседней комнате, особенно несносный при моей бессоннице. К тому же я всегда питал отвращение к региональной литературе, полной чудаковатых старожил и имитированного выговора. За фасадом “Поминок по Финнегану” скрывается очень традиционный и скучный многоквартирный дом, и только изредка звучащие божественные интонации искупают их полное безвкушие»[130].

При всей категоричности приведенных суждений «гениальные места» и «божественные интонации» двух романов Джойса останутся для Набокова непреходящей ценностью.

В своем позднем и на редкость откровенном разъяснительном предисловии к роману Набоков детально остановился на многих его сложных предметах – системе мотивов и образов, параномазии и игре слов, литературных аллюзиях и особенностях кульминации, однако название книги охарактеризовал с излишней краткостью: «Термином “bend sinister” (“левая перевязь”) в геральдике называется полоса, проведенная с левой стороны герба (и по распространенному, но ложному представлению, отмечающая внебрачность происхождения)». Как кажется, Набоков заставляет читателя задуматься прежде всего о противоречивости старинного термина, – с одной стороны, говорящего о благородстве и высоких достоинствах носителя герба, а с другой – опороченного невежественной интерпретацией, и об этом стоит сказать подробнее.

Перевязь – почетная геральдическая фигура в виде диагональной полосы, идущей из верхнего угла щита в противоположный нижний угол. Перевязь, идущая от правого угла, называется правой перевязью (или перевязью вправо – bend dexter), а от левого угла – левой перевязью (или перевязью влево). В самом деле, на незаконнорожденность в гербе указывает не направление перевязи, а неполнота или видоизменения в фигурах: «К какому бы из означенных разрядов герб ни принадлежал, он может быть или полный (armoirie pleine) или видоизмененный (brisée). Вполне, без прибавки и убавки, герб переходил к старшему в роде и в этом виде сохранялся всегда в старшем поколении, а видоизменения в фигурах, красках означают гербы младших членов рода, равно как незаконнорожденных, наконец, лиц, обесславивших себя поступками неблагородными (arm. diffamée)»[131]. О том же читаем в авторитетном справочнике Дж. Паркера: «Согласно Нисбету, левая перевязь была широко распространена в Шотландии, но в позднее время, как правило, заменялась на перевязь вправо из-за ошибочного представления о том, что перевязь влево всегда означает незаконность рождения. Только sinister baton (жезл, изображенный от левой стороны герба) или уменьшенная обрезанная перевязь обозначают это бесчестие»[132].

Несмотря на ложность трактовки этой гербовой фигуры как знака незаконности рождения, такое представление, как верно пишет Набоков, все же закрепилось, – по-видимому, в силу того, что правая сторона считается стороной большей чести, например, при разделении герба на две части. А. Нисбет писал, что некоторые семьи меняли свой родовой герб с «bend sinister» на «bend dexter», «воображая какие-то отступления или позор за положением “bend sinister”, однако мне не приходилось видеть герба, который говорил бы что-либо о своем бесчестии, и все считают левостороннее положение столь же почетным, как правостороннее»[133]. По наблюдению М. О’Ши в работе «Джеймс Джойс и геральдика»[134], это неверное представление отразилось в романе почитавшегося Набоковым Л. Стерна «Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена» (1759–1767), в котором используется и обсуждается термин «bend sinister»: «instead of the bend-dexter, which since Harry the Eighth’s reign was honestly our due – a bend-sinister, by some of these fatalities, had been drawn quite across the field of the Shandy arms»[135]. Приведем русский перевод этого

отрывка, который мог подразумевать Набоков, делая свое замечание о распространенности ложного понимания фигуры «bend sinister»: «Мой рассказ много выиграл бы, если бы я сказал вам с самого начала, что в то время, когда герб моей матери был присоединен к гербу Шенди <...> случилась с красильщиком такая штука, оттого ли, что он рисовал все свои произведения левой рукой, подобно Турпилию Римлянину или Гансу Гольбейну Базельскому, или более благодаря ошибке головы, нежели руки <...> как бы то ни было, на наш позор, случилось то, что вместо наклона вправо, который по всей чести принадлежал нам с царствования Гарри Восьмого, через все поле герба Шенди нарисован был <...> наклон влево. Почти невероятно, чтобы мысль столь разумного человека, каким был мой отец, так тревожилась от такого пустого обстоятельства. Слово карета <...> никогда не могли произносить в нашем семействе без того, чтобы он не пускался в жалобы о том, что он носит на дверях своих такой гнусный символ незаконности»[136].

В предисловии к роману Набоков писал: «Такой выбор названия диктовался стремлением обратить внимание на абрис, нарушенный преломлением, на искажение в зеркале бытия, неверный поворот жизни, на левеющий (sinistral) и зловещий (sinister) мир». Д. Б. Джонсон превосходно истолковал это замечание, указав на то, что возникающая в начале и в конце книги пересеченная полосой лужа, на которую смотрит сначала Круг, а потом сам автор, являет собой образ гербового щита с перевязью – с точки зрения Круга это полоса влево, а с точки зрения автора, смотрящего с обратной стороны, – полоса вправо: «Гербовый щит – это зеркало-окно между двумя мирами: темной вымышленной вселенной Круга и яркой “реальной” вселенной авторской персоны. Эти два героя смотрят с противоположных сторон на геральдическую лужу, которая одновременно и разъединяет, и объединяет два их мира»[137]. В развитие этой мысли стоит добавить, что замечание об «искажении в зеркале бытия» может нести дополнительный смысл, относясь к вульгарной трактовке термина «bend sinister», а значит, «геральдическая лужа» разделяет оба мира и по ключевой для романа оппозиции верного (благородного, божественного) и ложного (бастардного, «скотомского») отношения к жизни.

Нежданном источником названия романа и образа диктатора Падука могли быть американские комиксы о Супермене, которые Набоков в 1942 году читал со своим восьмилетним сыном Дмитрием. На сюжет обложки майского выпуска комикса 1942 года (№ 16) он сочинил стихотворение «Жалобная песнь Супермена», которое до недавнего времени считалось утерянным[138]. В одной из историй этого выпуска герою противостоит омерзительный злодей Mister Sinister (мистер Зловещий), изобретатель, стремящийся к мировому господству. Его серо-зеленая накидка, сизая лысая или обритая голова и жабье лицо могли повлиять на образ гнусного Падука, прозванного Toad (жаба, отвратительный человек), предпочитающего серое полевое сукно и тоже бреющего голову. В романе есть несколько отсылок к комиксам, начиная с ранней редакции первой главы, в которой упоминаются герои популярного американского комикса Мэтт и Джефф; особенно примечательно, однако, что именно Падук тщательно копирует определенный комиковый образ – придуманного Набоковым Этермона, эталона Среднего Человека. Зловещий мир мистера Синистера находится в четвертом измерении, куда он способен переносить предметы и людей. Он шантажирует героев тем, что

не пускает их в «ваш нормальный мир» до тех пор, пока они не подчинятся его воле. После финальной схватки Супермена с мистером Синистером от последнего остается лишь тень на постаменте, подобно тому как с приближением бегущего растерзать его Круга исчезает Падук: «Он увидел, как Жаба скорчился у основания стены, дрожа, растворяясь, все быстрее повторяя свои визгливые заклинания, защищая тускнеющее лицо прозрачной рукой <...>». Здесь автоаллюзия на концовку «Приглашения на казнь» («Сквозь поясицу все еще вращавшегося палача просвечивали перила») неожиданно поддерживается выразительным образчиком скромного массового искусства.

Как следует из названия немецкого перевода романа, подготовленного Д. Циммером в 1962 году под общим контролем Набокова («Das Bastardzeichen» – т. е. «Знак бастарда»), в нем должна была превалировать тема незаконнорожденности, неблагородного направления или уклона в жизни общества, с чем связывается типичное левачество, насильственный и карикатурный леворадикализм победившей в романе партии эквилистов[139]. С темой левизны в ее политическом аспекте, помимо насилия (англ. bend в глагольной форме означает, кроме прочего, «принуждать», «подчинять», «склонять»), пересекается также тема порочности выведенных в романе прислужников эквилизма (чему в названии отвечает англ. sin – грех, порок) и содомических наклонностей самого главы партии диктатора Падука. Образное сравнение мужеложества с леворукостью (эта тема в романе сквозит в седьмой главе в описании Друшаутского портрета Шекспира в Первом фолио, якобы нарочно составленного, как полагал бэкониец Э. Дернинг–Лоуренс, из двух левых рук: «Уильям Икс, искусно составленный из двух левых рук и маски») появляется у Набокова уже в конце 1920-х годов в «Соглядатае»: «господин Смуров принадлежит к той любопытной касте людей, которую я как-то назвал “сексуальными левшами”, – пишет своему приятелю персонаж повести, самодовольный графоман Роман Богданович. – Весь облик господина Смурова, его хрупкость, декадентство, жеманство жестов, любовь к пудре, а в особенности те быстрые, страстные взгляды, которые он постоянно кидает на Вашего покорного слугу, все это давно утвердило меня в моей догадке»[140].

Ряд образов и комбинаторных словесных форм в «Незаконнорожденных», связанных с реками, сновидческим восприятием реальности, поэзией и «Гамлетом», восходят к «Поминкам по Финнегану», первый же неологизм (и первое слово) которых, «riverrun», представляет собой соединение двух слов, «river» и «ran», из третьей строчки незавершенной поэмы С. Кольриджа «Кубла Хан, или Видение во сне» (1816): «Where Alph, the sacred river, ran...» («Где Альф, река богов, текла...»[141]). Долгое время роман Набокова носил название «Человек из Порлока», отсылающее к поэме Кольриджа, которая, по позднему воспоминанию поэта, привиделась ему во сне, но перенесение строк на бумагу прервал деловой визит «человека из Порлока», после чего оставшая часть прекрасной поэмы совершенно забылась[142]. На связь «Поминок» с поэмой Кольриджа и с романом Набокова обратил внимание Р. Боуи, комментируя седьмую главу «Незаконнорожденных»[143]. Исследователь, однако, не отметил, что в той же первой строке «Поминок» возникает имя Адам и слово «bend», о чем мы уже сказали, и что далее в романе Джойса появляется выражение «sinister dexterity» (букв.: дурная или

зловещая проворность), явно смешивающее соответствующие геральдические термины[144].

Хотя мы и не располагаем прямыми документальными доказательствами того, что русское название романа – «Под знаком незаконнорожденных» – принадлежит Набокову, мы считаем, что он мог его по крайней мере одобрить (авторизовать), поскольку оно возникает вскоре после выхода книги в русском отзыве эмигрантского критика Александра Назарова, прозвучавшем 6 сентября 1947 года в радиопередаче станции «Голос Америки» и отложившемся в виде чистовой машинописи в вашингтонском архиве Набокова: «Сегодня я расскажу вам о романе Владимира Набокова "Под знаком незаконнорожденных", который был недавно выпущен издательством "Хенри Холт" в Нью-Йорке <...>»[145]. Под таким же русским названием роман фигурирует в прижизненном парижском издании «Защиты Лужина» 1967 года (в списке произведений Набокова) и в авторских (или авторизованных) примечаниях к ардисовскому изданию «Других берегов» (1978). Наконец, как отмечал сам Набоков, «Bend Sinister» имеет тематическую преемственность с его более ранним «Приглашением на казнь», и нельзя не заметить определенного сходства двух русских названий: заглавная «п», по три слова в каждом. Кроме того, тема незаконнорожденности отражена и в названии набоковского романа «Пнин» (1957), фамилия героя которого, русского профессора славистики в Америке, указывает на выдающегося русского поэта и публициста-просветителя Ивана Пнина (1773–1805), внебрачного сына кн. Н. В. Репнина (отсюда его усеченная фамилия). И. П. Пнин был автором сочинения в защиту прав бастардов «Вопль невинности, отвергаемой законами» (1802).

Саму идею вынести геральдический термин в название романа Набоков мог почерпнуть в комментированном издании «Гамлета» Г. Г. Фэрнеса[146], которым пользовался при сочинении шекспировской главы романа. На обложке этого издания изображен герб Шекспира, имеющий геральдическую полосу, но в положении bend dexter: на темной перевязи посеребренное стальное копье. В таком случае Набоков мог иметь в виду противопоставление описанного в книге зловещего (sinister) мира диктатора Падука, отрицающего исключительность художника, правильному (правому, dexter) миру искусства (и, в частности, миру научных занятий и филологических упражнений переводчика Шекспира Эмбера, арестованного во время чтения и обсуждения «Гамлета»). Мотив левизны и зеркальности проходит через весь роман, и сам мир романа – это своего рода ряд политико-социальных, исторических, лингвистических и автобиографических отражений (Круг, Ольга и Давид как сам Набоков, его жена Вера и их сын Дмитрий[147]), но отражений в страшной, искривленной, «бастардной» версии.

Общий мотив зеркальности находит свое выражение в романе в более специальном и при этом необыкновенно стойком мотиве игры слов, семантических перестановок, спунеризмов, анаграмм и т. п., имеющих отношение к серии набоковских отсылок в «Незаконнорожденных» к «Поминкам по Финнегану». Падук привычно анаграммирует имена однокашников, превращая Адама Круга в Гурдамака, Эмбер шутливо предлагает видеть в имени Офелии анаграмму греческого речного бога Алфея, а в Эльсиноре сокрытую Розалину из «Ромео и

Джюльетты» (Elsinore – Roseline). Все это побуждает искать анаграммированное послание автора не только в тексте романа, но и в самом его названии. Как блестяще показал Г. А. Барабтарло, название предыдущего романа Набокова «The Real Life of Sebastian Knight» (1939), точнее, само имя его героя, таинственного писателя Севастьяна Найта, содержит анаграмму-подсказку «Knight is absent» (т. е. Найт отсутствует, его в романе нет). Схожим образом, на наш взгляд, Набоков поступил и с долго подбиравшимся и менявшимся названием своего второго английского романа (он испробовал, кроме «Человека из Порлока», и «Solus Rex», и «Vortex», и «Game to Gun» [148]), в котором обнаруживается анаграмма «B. Sirin's end» (т. е. «Конец В. Сирина»). Известный русский писатель Владимир Сирин – псевдоним Набокова до 1940 года – прекратил свое существование к середине 1940-х годов, когда Набоков, перейдя на английский язык, завершал «Bend Sinister». Начальная английская «В» в названии романа может служить указанием как на русское имя Набокова (рассмотренная выше тема отражений работает и здесь) – Владимир, так и на его писательское двуязычие, а начальные литеры названия (BS) соответствуют его сокращенному написанию, совпадающему в том числе с английской версией последнего русского псевдонима Набокова, использованного перед отъездом из Франции в Америку, – Василий Шишков (Basilio Shishkov).

Наше предположение кажется тем более вероятным, что позднее в «Аде» (1969) Набоков тем же образом обыгрывает свой литературный псевдоним и графическую идентичность русской «Вэ» и английской «Би» в имени «толкователя анаграмматических сновидений Бен Сирина» (в оригинале Ben Sirine, воспроизводящий французскую транслитерацию псевдонима Набокова: V. Sirine), имея в виду мусульманского богослова, комментатора Корана и толкователя снов Мухаммада ибн Сирина [149]. Похожий прием находим и в следующем после «Ады» романе Набокова «Сквозняк из прошлого» («Transparent Things», 1972), где, как заметил Д. Б. Джонсон, английский инициал «R» в имени знаменитого писателя отражает русскую «Я» [150].

Подсказкой к такому прочтению названия «Bend Sinister», на наш взгляд, служит странный каламбур в гл. 4 романа, звучащий в словах преподавателя славянской метрики Яновского (отметим начальную «Я» и намек на Н.В. Гоголя–Яновского, героя первой американской книги Набокова), сказанных по поводу слухов о попытке короля и одного министра, «личность которого остается невыясненной», бежать из охваченной революцией страны: «министр – Ми Нистер» (в оригинале «One of the Cabinet Ministers – Me Nisters»). Этот каламбур превращает должность в имя (как геральдический термин превращается в псевдоним), причем англ. *me* означает «мне, меня, мной», *it is me* – «это я» (название первой версии автобиографии Набокова, сочинявшейся в 1936 году, – «It is Me»), а «Nisters» представляет собой почти полную анаграмму второй части названия романа.

Иное возможное анаграмматическое прочтение названия: «Sirin[’s] best end» – «Лучший конец (или результат, итог) Сирина», что может намекать как на исчезновение европейского писателя Сирина из-за переезда Набокова в Америку и перехода на английский язык (в прямом смысле «исчезает» у Набокова поэт Василий Шишков, герой его

последнего русского рассказа 1939 года), так и на художественные достоинства романа – слово «end» означает не только «конец» или «смерть», но и «развязка», «результат», «следствие», «итог», а в разговорном американском похвальное выражение «the end» используется в значении «вершина», «предел совершенства». Персонализированность анаграммы в «Севастьяне Найте» и в «Bend Sinister» (писатель Найт в первом случае, писатель Сирин во втором) служит знаком скрытого авторского присутствия, что в настоящем романе, с его темой перехода повествования в авторский план бытия, приобретает особое значение. По всей видимости, в этой автобиографической плоскости и следует искать объяснение слов Набокова в письме к Д. Б. Элдеру о том, что его Автор, присутствие которого внезапно осознает герой романа, это он сам, «человек, пишущий книгу своей жизни».

* * *

Хранящаяся в вашингтонском архиве Набокова рукопись романа на 272 страницах (автограф) означена как «полный манускрипт, частью написанный карандашом, некоторые страницы исписаны с двух сторон» (The Library of Congress. Collection of the Manuscript Division / Vladimir Nabokov papers. Box 1, folder 72–73; box 2, folder 1–2). Это описание неточно в главном: в рукописи отсутствует по меньшей мере одна страница (что отмечено в тексте по-русски рукой Веры Набоковой на с. 118), часть страниц из разных глав перепутана и пронумерована (точнее, перепронумерована) неверно. Затрудняет расшифровку текста и то, что часть романа была написана на особой стираемой печатной бумаге Eaton's Corrasable Bond USA Berkshire 116, имеющей специальное покрытие. Такой тип бумаги не предназначался для рукописных текстов и длительного хранения: эти страницы рукописи со временем сильно потемнели. Кроме обычной писчей бумаги, Набоков использовал также бумагу с водяными знаками двух американских марок: «Hammermill De Luxe» и «Cronicon U. S. A.».

Изучение рукописи и ее сверка с опубликованным текстом осуществлены нами впервые для настоящего издания, многие отвергнутые, выпавшие при перепечатке или измененные фрагменты учтены в наших комментариях. Наибольший интерес представляют страницы первой главы, претерпевшей значительное сокращение. Ее полный текст публикуется впервые в нашем переводе в Приложении. Выявленные нами в результате сверки рукописи романа с опубликованным текстом ошибки, допущенные либо при перепечатке рукописи, либо уже в наборе, позволяют внести исправления во все издания романа и его переводы на другие языки. Некоторые даты и имена, искаженные при публикации (к примеру: Секоми (с. 161 рукописи), а не Сакоми; 1566 (год уничтожения «бландинских рукописей» Горация), а не 1556), в рукописи написаны верно. Восстанавливаются по рукописи и необходимое в ряде мест выделение слов курсивом и – в двух или трех случаях – отсутствующие в опубликованном тексте абзацные отступы.

Благодарности / Acknowledgements

Приношу выражение глубокой признательности за поддержку моего проекта комментированного перевода романа ректору Сиенского университета для иностранцев (Università per Stranieri di Siena) проф. Томазо Монтанари и проф. Джулии Маркуччи, с которой мы обсуждали и замысел книги, и проблемы ее перевода. Созданная университетом атмосфера живого и заинтересованного участия в продвижении книги повлияла на нее самым благотворным образом. Я сердечно благодарен проф. Брайану Бойду и проф. Ольге Ворониной, а также Эндрю Уайли (Andrew Wylie), Джеймсу Пуллену (James Pullen) и членам The Vladimir Nabokov Literary Foundation за всемерное содействие в моих набоковедческих исследованиях и в осуществлении настоящего издания. Мой давний проницательный собеседник проф. Стивен Блэквелл (Университет Теннесси, Ноксвилл) любезно откликнулся на предложение поразмыслить над зашифрованными местами романа, а мой коллега Николай Герасимов (Дом русского зарубежья, Москва) охотно брался разбирать различные предположения по части философских взглядов Адама Круга и самого Набокова. Мне приятно поблагодарить проф. Василия Зубакина (Москва) и Марию Данилову (Вашингтон), без щедрой помощи которых получение копии рукописи романа и сопутствующих материалов обернулось бы для меня настоящим испытанием. Наши с Зубакиным беседы о восприятии Набоковым Джойса побудили меня обратить более пристальное внимание на эту тему в романе. Я от души благодарю главного редактора издательства Corpus Варю Горностаеву за неизменное внимание ко всем стадиям подготовки книги и редактора настоящего издания Игоря Кириенкова за ценные замечания и обсуждение места романа в писательской эволюции Набокова.

Комментарии

При подготовке комментариев нами учитывались наблюдения и сведения, содержащиеся в следующих изданиях и публикациях:

Барабтарло Г. Сверкающий обруч. О движущей силе у Набокова. СПб.: Гиперион, 2003.

Бойд Б. Владимир Набоков. Американские годы. Биография / Пер. с англ. М. Бирвуд-Хеджер, А. Глебовской, Т. Изотовой, С. Ильина. СПб.: Симпозиум, 2010.

Джонсон Д. Б. Миры и антимирy Владимира Набокова / Пер. с англ. Т. Стрелковой. СПб.: Симпозиум, 2011.

Набоков В. Собр. соч. американского периода: В 5 т. / Сост. С. Ильина и А. Кононова. СПб.: Симпозиум, 1997. Т. 1. С. 571–602

(коммент. А. Люксембурга к переводу С. Ильина).

Bowie R. "Bend Sinister" Annotations: Chapter Seven and Shakespeare // The Nabokovian. 1994 (Spring). № 32. P. 28–51.

Foster J. B., Jr. "Bend Sinister" // The Garland Companion to Vladimir Nabokov / Ed. by V. E. Alexandrov. N. Y. & L.: Routledge, 1995. P. 25–35.

Grabes H. Nabokov and Shakespeare: The English Works // The Garland Companion to Vladimir Nabokov / Ed. by V. E. Alexandrov. N. Y. & L.: Routledge, 1995. P. 498–506.

Nabokov V. Novels and Memoirs 1941–1951 / Ed. by Brian Boyd. N. Y.: The Library of America, 1996. P. 680–695 (примеч. Б. Бойда).

Nabokov V. Œuvres romanesques complètes / Édition publiée sous la direction de M. Couturier / Tome II. Paris: Gallimard, collection Bibliothèque de la Pléiade, 2010. P. 1567–1608 (коммент. Рене Алладае).

Список условных сокращений

НСС Набоков В. Собр. соч. американского периода: В 5 т. / Сост. С. Ильина и А. Кононова. СПб.: Симпозиум, 1997. Т. 1.

NaM Nabokov V. Novels and Memoirs 1941–1951 / Ed. by Brian Boyd. N. Y.: The Library of America, 1996.

Œrc Nabokov V. Œuvres romanesques complètes / Édition publiée sous la direction de M. Couturier / Tome II. Paris: Gallimard, collection Bibliothèque de la Pléiade, 2010.

Предисловие

Предисловие было написано в сентябре 1963 г. для переиздания романа в серии «Time Reading Program Special Edition» (New York, 1964).

С. 13. ...в середине 1940-х годов... – Изменено в набоковском экземпляре романа вместо слов «зимой и весной 1945–1946 годов» (NaM, 673). Изменение вызвано, по-видимому, тем, что указанный в печатной версии предисловия узкий отрезок времени плохо соотносится со следующими далее словами об «особенно безоблачном и деятельном периоде моей жизни», продолжавшемся значительно дольше зимы и весны 1945–1946 гг. и включавшем несколько лет энтомологических лабораторных исследований в Гарвардском музее сравнительной зоологии и преподавания в колледже Уэллсли.

С. 13–14. камера-люцида – старинный оптический прибор, позволяющий проецировать изображение на бумагу.

С. 14. Мой добрый друг Эдмунд Уилсон... – Влиятельный американский критик и плодовитый писатель Эдмунд (Банни) Уилсон (1895–1972), содействовавший писательской и академической карьере Набокова в США. Их дружеские отношения расстроятся в результате резкой полемики вокруг набоковского перевода «Евгения Онегина», изданного в 1964 г. Черты Уилсона угадываются в тучном университетском коллеге Круга Эдмоне Бёре, профессоре французской литературы, и в близком друге Круга филологе и переводчике Эмбере (отметим созвучие: Эдмунд – Эдмон, Э. Бёре – Эмбер).

Термином «bend sinister» («левая перевязь») в геральдике называется полоса, проведенная с левой стороны герба (и по распространенному, но ложному представлению, отмечающая внебрачность происхождения). – Перевязь – почетная геральдическая фигура в виде диагональной полосы, идущей из верхнего угла щита в противоположный нижний угол. Подробнее о названии романа и его возможных интерпретациях см. нашу статью «Адамово яблоко» в наст. изд.

С. 15. ...с оригинальными сочинениями Кафки или с клишированными опусами Оруэлла <...> не смог прочитать ни великого немецкого писателя... – Неточность: Ф. Кафка (1883–1924) был не немецким, а немецкоязычным писателем и австрийским подданным, жившим в Праге. Кафку и Оруэлла в связи с «Незаконнорожденными» Набоков упомянул и в предисловии 1959 г. к английскому переводу «Приглашения на казнь»: «Эмигрантские рецензенты <...> усмотрели в нем влияние Кафки, не зная, что я не владею немецким, не был знаком с современной немецкой литературой и в то время еще не читал французских или английских переводов его произведений. Несомненно, есть определенные стилистические связи между этой книгой и, скажем, моими ранними рассказами (или более поздним романом “Под знаком незаконнорожденных”), но между “Приглашением на казнь” и “Замком” или “Процессом” их нет. В моей литературоведческой концепции нет места духовному родству, но если бы мне пришлось выбирать родственную душу, то я, безусловно, выбрал бы этого великого художника, а не Дж. Х. Оруэлла или другого популярного автора иллюстрированных идей и публицистической беллетристики» (Nabokov V. Foreword // Nabokov V. Invitation to a Beheading / Transl. by D. Nabokov in collabor. with the author. L.: Penguin Books, 1963. P. 7. Пер. мой). Уничтожительность высказывания в адрес английского писателя подчеркивается тем, что Набоков добавляет к псевдонику Дж. Оруэлла (настоящее имя которого Эрик Артур Блэр, 1903–1950) инициал «Х» («G. H. Orwell»), который указывает на другого английского писателя и автора популярной антиутопии О. Л. Хаксли (Huxley, 1894–1963).

С. 19. аморандола – см. коммент. к гл. 2.

С. 20. ...в Падукграде и Омибоге... – В оригинале Omigod, что фонетически схоже с выражением «Oh my God» (Боже мой). В рукописи романа это название носит переулок, в котором живет Круг; изменено на Перегольм, по-видимому, на более поздних стадиях подготовки книги. Переулок Омибог упоминается в гл. 2 романа, он находится рядом с госпиталем, на противоположной от дома Круга стороне реки,

причем в рукописи это слово вписано над первоначально безымянным «cobbed lane» (мощный переулочек) как *Omygod*.

...с явными следами древнего куранианского языка <...> однако разговорный русский и немецкий тоже в ходу... — Под древним куранианским языком Набоков мог подразумевать куршский (куронский) язык балтийского племени куршей, распространенный на балтийском побережье Латвии и Литвы до XVII в., а также куршникское наречие латышского языка. Название здесь же упомянутой Набоковым реки Кур отсылает к Курляндии — Курляндская губерния входила в состав Российской империи, причем исторически официальным языком в этой области (вассальное герцогство Курляндия и Семигалия) был немецкий. Последним действующим губернатором Курляндии был дядя Набокова С. Д. Набоков (1866–1940). Б. Бойд полагает, что «куранианский» смешивает язык Курляндии с украинским (NaM, 680), однако никаких явных следов украинского языка или украинизмов в набоковских гибридных конструкциях нет.

Название денежной единицы придуманной Набоковым страны, круна, произведено от чехословацкой коруны (*koruna*), которая была введена в обращение в 1919 г. вместо австро-венгерской кроны и с 1939 г. чеканилась также в протекторате Богемии и Моравии.

Синистербад — от англ. *sinister* (дурной, зловеший; левый) и названия чешского курорта Карлсбада (Карловы Вары); в гл. 15 приводится немецкая фраза «Gruss aus Radukbad» («Привет из Радукбада»), в гл. 17 упоминается кружка с видом Бад-Киссингена — немецкого минерального курорта.

С. 21. ...отсылка к дрянной «Песни Бернадетте» Верфеля... — См. коммент. к гл. 3.

гостия (от лат. *hostia* — жертва) — евхаристический хлеб у католиков.

...замене названия «Унесенные ветром» (стянутого из «Цинары» Доусона) на «Брошенные розы» (выхваченные из того же стихотворения)... — См. коммент. к гл. 6.

С. 22. Стефан Малларме оставил три или четыре бессмертные вещицы, среди которых «L'Après-Midi d'un Faune» (первая редакция — 1865). — Символистская эклога С. Малларме (1842–1898) «Послеполуденный отдых фавна», названная П. Валери лучшим произведением французской поэзии, создавалась в 1865–1875 гг. (первая редакция 1865 г., «Фавн. Героическая интермедия», кардинально переделывалась на протяжении десяти лет) и первоначально предназначалась для сценического исполнения (Малларме С. Сочинения в стихах и прозе / Сост. Р. Дубровкин, коммент. Р. Дубровкина, И. Стаф, Е. Лившиц. М.: Радуга, 1995. С. 496–497).

...фавн обвиняет нимфу в том, что она высвободилась из его объятий «sans pitié du sanglot dont j'étais encore ivre»... — Приведем соответствующий отрывок из эклоги С. Малларме в переводе И. Эренбурга:

Их первый страх преодолеть, рукой дрожащей

Распутать их волос нетронутые чащи,

Разнять упорные уста для близких нег –

Я это совершил, и свой багровый смех

Я спрятал на груди одной из них, другая

Лежала рядом, и, ее рукой лаская,

Я жаждал, чтоб сестры растущий быстро пыл

Ее невинность ярким блеском озарил,

Но маленькая девственница не краснела.

Они ушли, когда я, слабый, онемелый,

Бросал, всегда неблагодарным, легкий стон,

Которым был еще как будто опьянен (Малларме С. Сочинения в стихах и прозе. С. 451). Последнюю строку в эротическом контексте вспоминает на берегу берлинского озера молодой поэт Ф. К. Годунов–Чердынцев в пятой главе «Дара» (1938); сюжет эклоги позднее отразится и в «Аде» (1969).

Стоит заметить, что в романе Набокова в сцене соблазнения Мариеттой Круга происходит нечто обратное тому, что описано в эклоге («Ах, пожалуйста, – бормотала она, корчась верхом на нем, – давай продолжим, мы как раз успеем, пока они выбьют дверь, пожалуйста!» – гл. 16).

С. 23. ...Панкрат Цикутин <...> Сократова Отрава... – См. коммент. к гл. 13.

Сол Стейнберг (1914–1999) – американский художник–карикатурист, виртуозный рисовальщик. Сотрудничал с журналом «Нью-Йоркер», в котором печатался Набоков.

...Джеймс Джойс, написавший «Виннипег Лейк»... – «Winnipeg Lake» (крупное озеро в канадской провинции Манитоба, к северу от города Виннипег) созвучно с названием последнего романа Дж. Джойса «Finnegans Wake» («Поминки по Финнегану», 1939). См. также коммент. к гл. 7.

...последнее слово книги («nothing») не опечатка... – См. коммент. к гл. 18.

мобили (от лат. mobilis – подвижный) – термин французского художника–новатора М. Дюшана (1887–1968) для популярных в США и Европе в 1930–1960-х гг. абстрактных скульптур или определенного рода произведений кинетического искусства, представляющих собой

подвижные конструкции, обычно из легкого металла и пластика, меняющие форму при движении воздуха или с помощью механических устройств, а также создающие разного рода цветные, световые и звуковые эффекты. Самыми ранними произведениями такого рода стали движущиеся композиции американского скульптора А. Колдера. Образчик придуманного Набоковым мобиля описан в гл. 7 романа: «Это было похоже на то, как если бы кто-то, увидев дуб (далее называемый Определенный Д), растущий в некоей местности и отбрасывающий собственную уникальную тень на зелено-бурую почву, решил установить в своем саду необыкновенно сложную конструкцию, которая сама по себе столь же отличалась от этого или любого другого дерева, как отличны вдохновение и язык переводчика от авторских, но которая благодаря хитроумной комбинации деталей, световым эффектам и двигателям, производящим легкий ветерок, могла бы после завершения работы отбрасывать тень, в точности похожую на тень Определенного Д – те же очертания, меняющиеся тем же образом, с такими же двойными или одиночными солнечными пятнами, колеблющимися в том же положении и в то же время дня». О философском содержании этого фрагмента романа см. рассуждения С. Блэквелла в его новой книге «Сокровенные деревья Набокова»: Blackwell S. Nabokov's Secret Trees. Toronto et al.: University of Toronto Press, 2024. P. 86–91.

1

С. 26. трискелион (или трискель) – древний символ в виде трех лучей, выходящих из одной точки; нередко соотносится со свастикой. Этот мотив, связанный с символом нацистской Германии, продолжится во второй главе в словах Круга, обращенных к солдатам-эквилистам: «Нацарапайте крестик <...> или свастику», и затем в описании эмблемы нового правительства на красном флажке, «разительно напоминающей раздавленного, расчлененного, но все еще продолжающего корчиться паука» (гл. 3).

2

С. 31. Слово, означающее «биться», она произнесла с северо-западным акцентом: «fakhtung» вместо «fahung». – Соединение нем. Achtung (внимание; осторожно; берегитесь) с англ. fighting (бой, сражение).

На больничной кровати – (gospitalisha kruvka <...> и он чувствовал себя тяжелым вороном – kruv... – «Госпитальная койка» на местном языке, с ассоциацией «кровать» – «кров» (возможно, и «кровь») и англ. crow (ворон) – «круг».

С. 32. ...пули все еще flukhtung... – От нем. Flucht (бегство), Flug (полет) и англ. flight (полет; бегство, побег; залп). Набоков подмечает, что английское буквосочетание gh встречается в словах германского происхождения (и родственно немецкому сочетанию ch) и что этимология англ. flight восходит к протогерманскому flukhtiz.

Нотабены, незабудки. – На отдельной странице рукописи (после с. 7) в начале этой главы сделаны заметки, не вошедшие в роман, но любопытные как возможные примеры мыслей Круга (которые, по-видимому, предназначались для его записок и/или для разговора с Падуком в гл. 11). Первая заметка, как и в комментируемом месте, обыгрывает созвучие и значение англ. forget-me-not (незабудка) и footnote (сноска, подстрочное примечание):

Forget-me-nots: blue footnotes to the running stream.

Religion: I hate everything that binds. I decline to pool my soul. You treat her, Toad, as a former mistress.

Patriotism: a beloved landscape, falsified history, the familiar comfort of idiomatic speech. <Незабудки: синие нотабены к текущему потоку.

Религия: я не терплю всего того, что связывает. Я не позволяю вовлекать мою душу в объединения. Ты обходишься с ней, Жаба, как с бывшей любовницей.

Патриотизм: любимый пейзаж, фальсифицированная история, привычный комфорт идиоматической речи.> Здесь и далее переводы из рукописи романа мои – А. Б.

С. 33. эквилисты (от учения Ф. Скотомы об эквилизме, см. коммент. к гл. 5) – уравниатели; от англ. equal – одинаковый, равный; идентичный.

С. 37. Он живет в Бервоке. – В рукописи город носит название Berkau (Беркау), что напоминает о саксонском промышленном городе Цвиккау (Zwickau), название которого имеет славянское происхождение.

С. 38. ...оба чтят Правителя с благословенного семнадцатого числа прошлого месяца. – Намек на Октябрьскую революцию 1917 г.

Литературных критиков, хвалящих книги своих друзей или сторонников. – Первые четыре страницы рукописи второй главы романа представляют собой аккуратно переписанный карандашом беловик с незначительными правками и вставками. Это предложение (с. 10) имеет продолжение, которое, возможно, было выпущено при перепечатке по недосмотру: «...или таких авторов, которых другие авторы из года в год перевозноят столь основательно, что дорожка к истине безнадежно теряется».

С. 39. Флоберовских farseurs. – В «Лексиконе прописных истин» один из любимых писателей Набокова Г. Флобер (1821–1880) этим словом называет светских пошляков и посредственностей: «Банкет. <...> Шутник [farseur] должен сказать: “Тот злополучный гость на жизненном банкете”» (Флобер Г. Собр. соч.: В 4 т. / Под ред. Н. М. Любимова. М., 1971. Т. 4. С. 397. Пер. Т. Ириновой). Здесь Набоков мог подразумевать аптекаря Омэ, персонажа «Госпожи Бовари» (1856), которого он в университетских лекциях назвал «процветающим мещанином» (Набоков В. Лекции по зарубежной литературе. СПб., 2010. С. 215).

Членов читательских клубов. – В рукописи следует продолжение: «...этих детей в лесу», что подразумевает анонимную английскую балладу «The Babes in the Wood» на сюжет сказки о двух детях, брате и сестре, которых умирающие родители отдают на попечение их жестокого дяди, решившего вскоре от них избавиться. Набоков впоследствии использует этот сюжет в романе «Ада» (см. об этом наш коммент.: Набоков В. Ада, или Отрада. Семейная хроника / Пер., коммент. А. Бабилова. 2-е изд., уточн. М.: Corpus, 2023. С. 796–797). На этот источник в «Аде» впервые указал Б. Бойд.

Всех тех, кто существует потому, что не мыслит, опровергая тем самым картезианство. – *Cogito ergo sum* («Я мыслю, следовательно, существую») – исходное положение философии Р. Декарта (1596–1650), искавшего несомненные основания всякого знания. Картезианством (от латинизированной формы его имени) называют учение Декарта и основанное на нем направление в философии и естествознании XVII–XVIII вв.

С. 42. «...отправиться в свою постель на улицу Перегольм». – В рукописи романа Круг не называет свою улицу (которая, как мы уже указали, носила название Омибог), а просит лишь отпустить его домой в Старый город. Деление Падукграда на Новый и Старый город, по двум сторонам реки, в рукописи позднее было снято.

С. 43. ...до которого донеслись последние сказанные слова... – Как Набоков отметил в Предисловии, эта фраза представляет собой образчик повествовательного клише.

С. 44. «Симплициссимус» и «Стрекоза» – вновь объединяют в романе немецкую и русскую культуры. Первое издание – популярный немецкий сатирический иллюстрированный еженедельник, названный по плутовскому роману Г. Я. Гриммельсгаузена (1621–1676) «Похождения Симплициссимуса» (1669) и выходивший с 1896 по 1944 г., затем в 1954–1967 гг. (с дальнейшими попытками возрождения); второе – еженедельник сатиры и юмора либеральной направленности, выходивший в Петербурге в 1875–1908 гг.; после перерыва издавался в 1915–1918 гг. и был закрыт большевиками. Утверждение А. Люксембурга, что «Симплициссимус» был закрыт ведомством Геббельса в 1942 г. (НСС, 575), ложно. С апреля 1933 г. редакция круто изменила независимую политику журнала в угоду нацистской идеологии, начав публиковать отвечающий интересам нового режима материал и просуществовав в этом виде до 13 сентября 1944 г., когда еженедельник перестал выходить из-за банальной нехватки бумаги. Остававшийся до января 1937 г. в Германии Набоков был свидетелем этой метаморфозы.

С. 46. теллурийцы – земляне.

...бывший, похоже, у них за главного... – Еще одно повествовательное клише. В тексте романа курсивом не выделено.

С. 47. «Пиши Гурк». <...> Гурк-огурец. – Набоков отметил в Предисловии, что здесь обыгрывается нем. *Gurke* – огурец (в оригинале англ. *cucumber* – огурец). Он, видимо, учитывал созвучие немецкого

слова с русским «огурец» и зап. юж. огурок. Д. Б. Джонсон добавил, что этот «палиндром скоро начинает жить своей жизнью. После того как Кругу наконец разрешают перейти мост, его заворачивают назад на южном конце <...>. Философ идет назад, чтобы получить подпись неграмотного Гурка. Палиндромная природа имен противопоставленных героев, Круга и Гурка, буквально воспроизводит многократные переходы моста и является миниатюрным зеркальным отражением абсурдности обреченных усилий Круга. Инверсия имеет и другие отзывы в этом эпизоде» (Джонсон Д. Б. Миры и антимирy Владимира Набокова. С. 265).

С. 47–48. ...имитируя при этом паровоз <...> Пародия на ребенка – моего ребенка. – По сновидческой логике происходящего, эта сцена предвосхищает игру Давида в поезд в конце романа. О предвосхищении во снах будущих событий см. проведенный Набоковым в 1964 г. по книге Дж. У. Дунна «эксперимент со временем» (Я/сновидения Набокова / Сост., публ. и коммент. Г. Барабтарло. СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2001). См. также коммент. к с. 75.

С. 49. Гоедон. – Одеон, здание для певческих и музыкальных состязаний, построенное в Афинах при Перикле, совмещено с англ. god (бог, божество), вновь и вновь возникающим в романе в связи с темой «божественного» авторского присутствия. Знаменитый парижский театр «Одеон» был открыт в 1782 г. С учетом многочисленных отсылок в романе к Дж. Джойсу Набоков мог подразумевать и знаменитое цюрихское кафе «Одеон», завсегдатаем которого был Джойс (а также Ленин, Муссолини, Мата Хари, С. Цвейг, А. Эйнштейн и еще многие известные политики, ученые и писатели). В названии, кроме того, может содержаться аллюзия к Гедеону, библейскому военачальнику, одному из «судей израильских», отказавшемуся, в отличие от Падука (а также Ленина, Муссолини и других притеснителей муз), от верховной власти.

С. 53. ...пощипывал в темноте семиструнную аморандолу... – Набоков в Предисловии поясняет, что так называется местная гитара, не раскрывая собственно каламбурной комбинации. Придумывая свой «двусмысленный неологизм», он, вероятно, исходил из следующего франко-английского ряда: фр. amour (любовь), англ. amorous songs (любовные песни), amoral (аморальный) и mandolin (мандолина). Вместе с тем семиструнность инструмента, указывая на русскую гитару, подразумевает романс А. А. Григорьева «О, говори хоть ты со мной...» (1857), с его «подругой семиструнной» и лунной ночью. Начало этого романса Набоков перевел на английский, намеренно искажив его, для романа «Ада, или Отрада» (Ч. II, гл. 8).

С. 54. ...меццо-тинто чуда да Винчи <...> посуда предоставлена монахами-доминиканцами... – Стенная роспись «Тайная вечеря» (ок. 1495–1498) Леонардо да Винчи украшает трапезную доминиканского монастыря Санта-

Мария делле Грацие в Милане. Меццо-тинто – разновидность тоновой гравюры на металле в технике глубокой печати. В 1942 г., выступая перед студентами американского колледжа, Набоков заметил, что «Тайная вечеря» «открывает в реалистичности фигур, “которые превосходят реальность обычной жизни”, особый вклад Леонардо в искусство, “более полнокровную реальность”» и что «личность Леонардо представляла собой смесь самых лучших человеческих ингредиентов» (Mr. Nabokov Ranks Art of Da Vinci Far Above His Science Notebooks // Wellesley College News. 1942. Feb. 26. P. 5. Пер. мой). Еще раньше, в русском эссе «Определения» (1940), Набоков противопоставил Леонардо да Винчи Гитлеру: «Народные вожди, полководцы, исторические любимцы публики относятся обыкновенно к низшему сорту великих людей. Отнимите у <Леонардо> да Винчи свободу, Италию, зрение, – и он все-таки останется великим; отнимите у Хитлера <sic> пушку, – и он будет лишь автором бешеной брошюры, т. е. ничтожеством. У гениев войны нет метафизического будущего» (цит. по: Бабинов А. Прочтение Набокова. Изыскания и материалы. СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2019. С. 544).

С. 60. Господин Эмбер. – Фамилия близкого друга Адама Круга образована от англ. ember – тлеющие (в золе) угли, красные угольки (в тексте обыгрывается созвучие с англ. amber – янтарь, янтарный, а в рукописи, кроме того, с англ. member – член, участник, партнер), что Набоков, по-видимому, связывал с буквальным значением слова «Адам» – созданный из красной земли (глины). Библейскому значению имени Адам – «человек», отвечает венг. ember – человек. На это значение (без связи с Адамом) указала еще А. Филонова-Гоув (позднее наблюдение развил Д. Б. Джонсон в книге «Миры и антимирсы Владимира Набокова», 1985), заметившая, что Эмбер, как и Круг, входит в число персонажей романа, знающих русский (Filonov Gove A. Multilingualism and Ranges of Tone in Nabokov's "Invitation of a Beheading" // Slavic Review. 1973. Vol. 32. № 1. P. 88). В свете темы божественного авторского присутствия в романе (автора русского, что подчеркнуто в рукописи в расширенной редакции первой главы – см. Приложение, IV) имена двух друзей-писателей, таким образом, содержат намек на то, что они являются его творениями и несут в себе частицу его творческого начала (см. также коммент. к гл. 10 относительно Мариетты).

С. 62. ...«Komparatiwn Stuhdar en Sophistat tuen Pekrekh» <...> «Философия греха»... – Исходное название образовано из смеси искаженных немецких, французских и русских слов с гибридными соединительными союзами (нем. Komparativ – сравнительный, компаративный; нем. Studien – изыскания, штудии; en и tuen – от англ. and и to, возможно, в соединении с датским en – и, а; Sophistat – от нем. philosophisch (философский); Pekrekh – смешение фр. péché с рус. грех) и может быть передано как «Сравнительное изыскание по философии греха». Название «The Philosophy of Sin» носит философско-теологический труд шотландского евангелиста Освальда Чемберса (1874–1917), изданный в 1937 г. на основе прочитанных им в 1911–1915 гг. в Лондоне лекций.

С. 63. ...с «Прямым смывом», этой грубоватой сатирой <...> с романом Элизабет Дюшарм о Диксиленде «Когда поезд проходит»; <...> с фаворитом книжных клубов «По городам и деревням» <...> с этой занятой смесью

определенного вида вафельки и леденца на палочке, – «Аннунциатой» Луи Зонтага, которая так славно начинается в Пещерах св. Варфоломея, а кончается в разделе комиксов. – Вымышленные авторы и романы (см. Предисловие Набокова). В названии «Прямой смыв» в оригинале игра слов: англ. straight flush может означать как «прямой смыв», так и покерный термин стрит-флеш.

В примечаниях к «Лолите» (1955) Набоков заметил, что американизм «Диксиленд» – это «пошрое прозвище южных штатов» (Набоков В. Лолита / Заметка, примеч. А. Бабилова. М.: АСТ: Corpus, 2021. С. 524).

«Аннунциата» (Сантиссима–Аннунциата – распространенный в Италии эпитет Богоматери) – название незавершенного романа Н. В. Гоголя, из которого был опубликован отрывок «Рим» (1842). Как Набоков отметил в Предисловии, он подразумевал «Песнь Бернадетте» (1941), роман австрийского писателя, поэта и драматурга Ф. Верфеля (1890–1945), который пользовался большим успехом в США (английский перевод вышел в 1942 г., голливудская экранизация состоялась в 1943 г.) и о котором Набоков пренебрежительно отозвался в письме к Э. Уилсону 16 июня 1942 г. Под пещерами св. Варфоломея подразумевается грот Масабьель в Лурде (о котором заходит речь во второй главе романа Верфеля), один из крупнейших центров паломничества католиков в Европе, где Бернадетте Субиру в 1858 г. являлась Дева Мария.

Замечание о газетном разделе комиксов, в котором кончается роман, требует пояснения. Б. Бойд пишет, что в США роман Верфеля печатался в газете рядом с разделом комиксов (НаМ, 681); подтверждения этому найти не удалось: перевод вышел отдельной книгой в Нью-Йорке в издательстве «The Viking Press» в апреле 1942 г. (не в 1944 г., как пишет Бойд). На наш взгляд, Набоков имел в виду не газетные комиксы в прямом смысле слова, а условный характер мелодраматического финала романа и последние его слова, описание будничных явлений трезвого XX в. после канонизации Бернадетты: «Мимо несутся потоки машин. Продавец мороженого звоночком созывает уличных мальчишек и служанок. Из боковых переулков доносятся заунывные голоса торговцев, предлагающих купить апельсины, фенхель и лук. Под небом Рима, где собрались все святые, чтобы поздравить новую святую, с грохотом проносится военный самолет» (Верфель Ф. Песнь Бернадетте. Черная месса. СПб.: Азбука, 2023. С. 435. Пер. Е. Маркович, Е. Михелевич). Заявленная таким образом в начале романа Набокова тема комиксов продолжается в описании придуманного им комикса об Этермоне, в котором переосмыслена линия чудесного и загробного из романа Верфеля. Набоковский Этермон, как условное творение массового искусства, «совершенно бессознательно являл собой ходячее опровержение индивидуального бессмертия, поскольку весь его образ жизни представлял собой тупик, в котором ничто не могло или не было достойно продлиться за границу смертного состояния. Никто и не мог бы, впрочем, представить себе Этермона действительно умирающим <...>; так что, с одной стороны, Этермон, являясь олицетворенным опровержением бессмертия, сам был бессмертен, а с другой – не мог и мечтать насладиться какой-либо формой загробной жизни – просто потому, что в своем во всех прочих отношениях хорошо спланированном доме он был лишен элементарного комфорта камеры смертников» (гл. 5).

В имени Зонтаг Набоков зашифровал аллюзию на христианскую тематику романа Верфеля, образовав его от нем. Sonntag – воскресенье.

С. 64. аллювиальная почва – галечники, пески, суглинки и т. п., отложенные водными потоками.

...togliwn ochnat divodiv [ежедневный сюрприз пробуждения]... – В этой фразе искаженное нем. täglich (ежедневный) и Nacht (ночь) соседствует с русскими словами «ночь» и «диво»; кроме того, в ней содержатся анаграммы «Давид», «night» (ночь) и английское предупреждение: «go not to lawn, D[a]vid» («Не ходи на лужайку, Д[а]вид»), которое может иметь отношение к обстоятельствам смерти Давида, ночью отведенного для расправы во двор, «представляющий собой прелестную лужайку». Если Набоков действительно предполагал здесь английскую анаграмму, предвосхищающую трагичную смерть единственного ребенка Ольги и Круга (не случайно фразу произносит именно Ольга), то в ней можно заметить сходство с анаграммой в написанном позднее «Бледном огне» (в котором университетский профессор и поэт Джон Шейд тоже теряет единственного ребенка), раскрытой Г. Барабтарло как искаженное предостережение «не ходить в Гольдсворт» (где Шейда будет поджидать убийца): «not ogo old wart <...> Это заботливый дух тетушки предупреждает Шейда о грозящей ему опасности» (Барабтарло Г. Сочинение Набокова. СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2011. С. 116–117). Фраза «ежедневный сюрприз пробуждения» предвосхищает рассуждения Круга в гл. 6: «Теоретически не существует неопровержимого доказательства того, что утреннее пробуждение (когда обнаруживаешь, что снова сидишь в седле своей личности) на самом деле не является совершенно беспрецедентным событием, первородным появлением на свет». См. также коммент. к с. 320.

...ее великолепный тридцатисемилетний возраст... – что объясняет названное в первой главе романа число листьев, сберегшихся только «на одной стороне дерева».

С. 65. ...radabarbara [красивая женщина в цвете лет]... – Русские слова «рад», «дар», «баба» соединяются с греч. barbaros (иноземец) и производными от него женскими именами. Англоязычному читателю слово могло напомнить англ. barbarous – варварский, дикий, грубый. В романе еще два слова местного языка с тем же корнем перекликаются с «радабарбарой» – в этой главе barbarn (искусственное множественное число от «жена», «женщина») и, в гл. 7, barbok (пирог с отверстием посередине для растопленного масла). См. также коммент. относительно поговорки «Domusta barbarn kapusta».

Лагодан – от Ладоги, старого русского поселения недалеко от Петербурга, и Ладожского озера. См. также коммент. к гл. 18 относительно Аст-Лагоды.

С. 66. ...наложенных друг на друга английских «I» (я) в составленном по первым строкам указателе к поэтической антологии. Я озеро. <...> Я буду. – В оригинале следующий набор строк: «I am a lake. I am a tongue. I am a spirit. I am fevered. I am not covetous. I am the

Dark Cavalier. I am the torch. I arise. I ask. I blow. I bring. I cannot change. I cannot look. I climb the hill. I come. I dream. I envy. I found. I heard. I intended an Ode. I know. I love. I must not grieve, my love. I never. I pant. I remember. I saw thee once. I travelled. I wandered. I will. I will. I will. I will». Набоков, по-видимому, использовал реальные начальные строки английских стихотворений, большую часть которых нам удалось идентифицировать. Из какой именно поэтической антологии они взяты, трудно сказать. Проверка двух наиболее авторитетных и представительных антологий, снабженных указателем включенных в них стихотворений по первым строкам, *The Oxford Book of English Verse, 1250–1918* / Ed. by Sir Arthur Quiller-Couch. New Edition. Oxford, 1940, и *The Oxford Book of Modern Verse, 1892–1935* / Ed. by W. B. Yeats. Oxford, 1936, показала частичное совпадение. Судя по фразе из шекспировского «Генриха V», Набоков включил в список не только первые строки (или слова) стихотворений, но и просто известные поэтические строки и, конечно, мог чередовать подлинные строки с вымышленными (или условными), особенно в случае слишком коротких для идентификации «I come», «I love» и т. п. или четырежды повторенных «I will» (что напоминает знаменитое «Never, never, never, never, never!» в «Короле Лире», позднее обыгранное Набоковым в «Аде»). Поскольку темы и мотивы некоторых стихотворений из этого перечня имеют значение для романа, мы посчитали необходимым дать их в переводе, пожертвовав алфавитным порядком оригинала, вместо того чтобы подыскивать стихотворные строки из какой-нибудь русской поэтической антологии, сохранив алфавитный порядок, но потеряв важные литературные отсылки, говорящие в том числе о круге произведений, читавшихся Набоковым при написании романа.

«Я в лихорадке» – начало стихотворения американского поэта Р. Хоувея (1864–1900) «The Sea Gipsy» (1896): «I am fevered with the sunset...» («Я в лихорадке из-за заката...»).

«Я не алчен» – слова короля в исторической хронике У. Шекспира «Генрих V» (акт IV, сц. 3): «By Jove, I am not covetous for gold» («Клянусь Юпитером, не алчен я! / Мне все равно...» (пер. Е. Бируковой).

«Я Темный Всадник» – стихотворение американской писательницы и поэта М. Уиддемер (1884–1978) «The Dark Cavalier» (сб. «Старая дорога в рай», 1918): «I am the Dark Cavalier; I am the last lover...» («Я Темный Всадник; я последний влюбленный...» – пер. мой).

«Я факел» – начало стихотворения А. Саймонса (1865–1945) «Modern Beauty» из сб. «Образы добра и зла» (1899): «I am the torch, she saith, and what to me / If the moth die of me? <...>» («Я факел, молвила она, и что мне до того, / Что гибнет мотылек из-за меня?» – пер. мой).

«Я проснулся» – начало «Индийской серенады» (1819) П. Б. Шелли (1792–1822): «I arise from dreams of thee...» (*The Oxford Book of English Verse, 1250–1918*. P. 726): «Я проснулся, задрожал, / Мне во сне явилась ты...» (пер. К. Бальмонта).

«Я не могу измениться» – начало «Constancy» английского поэта Дж. Уилмота (1647–1680): «I cannot change as others do...» (The Oxford Book of English Verse, 1250–1918. P. 492).

«Я задумал оду» – из стихотворения английского поэта и эссеиста Г. О. Добсона (1840–1921) «Urceus Exit»: «I intended an Ode, / And it turn'd to a Sonnet...» (The Oxford Book of English Verse, 1250–1918. P. 1005).

«Я не должен горевать, любовь моя» – начало шестого сонета в цикле «Beauty, Time, and Love» («Красота, Время и Любовь») английского поэта, драматурга и историка С. Дэниела (1562–1619): «I must not grieve my Love, whose eyes would read / Lines of delight...» («Я не должен горевать, моя любовь, / Чьи глаза прочтут / Отрадные строки...» – пер. мой).

«Я страстно желаю» – начало стихотворения «Музыка» (1824) П. Б. Шелли: «I pant for the music which is divine...» («Умолкли музыки божественные звуки, / Пленив меня на миг своим небесным сном...» – пер. К. Бальмонта). Выражение «I pant for» означает мечтать, страстно желать чего-либо.

«Я видел тебя однажды» – начало стихотворения Э. А. По (1809–1849) «К Елене» (1848): «I saw thee once – once only – years ago...» («Тебя я видел раз, один лишь раз...» – пер. К. Бальмонта).

«Я странствовал» – начало третьего стихотворения из цикла «Люси» (1798–1801) У. Вордсворта (1770–1850): «I travell'd among unknown men, / In lands beyond the sea...» («Я странствовал среди незнакомцев, / В заморских краях...» – пер. мой) (The Oxford Book of English Verse, 1250–1918. P. 612).

«Я блуждал» – начало стихотворения У. Вордсворта «Daffodils» («Нарциссы», 1807): «I wander'd lonely as a cloud...» («Я блуждал, одинокий, как облако...» – пер. мой) (The Oxford Book of English Verse, 1250–1918. P. 621).

Стоит отметить, что в оксфордской антологии, содержащей 967 стихотворений, был напечатан и отрывок из поэмы С. Кольриджа «Кубла Хан, или Видение во сне» (1816), история сочинения которой подсказала Набокову рабочее название романа – «Человек из Порлока».

С. 67. ...его любимых строк из величайшей пьесы Шекспира – follow the perttaunt jauncing 'neath the rack / with her pale skeins-mate... – Мистификация Набокова («псевдоцитата, составленная из темных шекспиризмов», как он отметил в Предисловии) – слова взяты из разных пьес Шекспира, что показал Г. Грейбс: «perttaunt» (вероятно, от pair-taunt – одинаковые карты, выигрышная комбинация – Crystal D., Crystal B. Shakespeare's Words. A Glossary & Language Companion. L. et al.: Penguin Books, 2004. P. 314) из «Бесплодных усилий любви» (акт V, сц. 2); «jauncing» (бродить, прогуливаться) из «Ричарда II» (акт II, сц. 5) и «Ромео и Джульетты» (акт II, сц. 5); «skeins-mate» (или skains-mate, предположительно: товарищ-головорез, товарищ по кинжалу – Crystal D., Crystal B. Shakespeare's Words. A

Glossary & Language Companion. P. 403) из «Ромео и Джульетты» (акт II, сц. 4). Грейбс связал «perttaunt» с картиной «Карточный домик», висящей в кабинете Круга, и напомнил замечание Набокова в Предисловии об этой искусственной фразе, которая, «несмотря на отсутствие в ней буквального смысла, каким-то образом создает размытый уменьшенный образ акробатического представления», описанного в конце следующей главы (The Garland Companion to Vladimir Nabokov. P. 499–500). Набоков имел в виду следующее место: «мифология растягивает прочные цирковые сети, дабы мысль в своем плохо сидящем трико не сломала свою старую шею, а отскочила с гип-гип и оп-ля – вновь прыгивая на этот пропитанный мочой прах, чтобы совершить короткую пробежку с полупируэтом посередине и показать крайнюю простоту небес в амфифорическом жесте акробата, откровенно раскрытых ладонях, которые зачинают короткий шквал аплодисментов, пока он отходит назад [walks backwards], а затем, возвращаясь к мужественным манерам, ловит синий платочек, который его мускулистая партнерша по полету [flying mate] извлекает после собственных кульбитов из вздымающейся горячей груди – вздымающейся сильнее, чем предполагает ее улыбка, – и бросает ему, чтобы он мог вытереть ладони своих ноющих и слабеющих рук». Это прохаживанье по арене (walks backwards), цирковые сети (одно из значений слова «rack» – вагонная или автобусная сетка для вещей) и партнерша (flying mate), пожалуй, единственное, что имеет отдаленное сходство с искусственной шекспировской фразой. Перевод самой этой фразы на русский язык может быть, конечно, лишь условным, однако в ней усматривается призыв «следовать за» («follow the») – за неясным или сомнительным текстом, скрывающим, возможно, важный источник или значимую деталь. В этом смысле «rack» (дыба; пытка) и «skeins-mate» намекают как на печальную судьбу арестованных друзей Круга, так и на ужасные обстоятельства смерти его сына. Помимо этого, как заметил Р. Боуи, вполне возможна связь зловещего выражения «skeins-mate» и описания акробатического номера с пришедшими арестовать Эмбера Густавом и его напарницей (и пассией) Линдой (“Bend Sinister” Annotations: Chapter Seven and Shakespeare. P. 29). Позднее «выступление» повторяется при аресте Круга: Линда является с другим агентом, Маком, и между прочим рассказывает о жалком конце Густава, зарезанного агентами тайной полиции за проявленную халатность («адамово яблоко у него, понимаешь, твердое, как пятка»).

В рукописи (с. 28) этой фразы нет, вместо того взяты слова Гамлета о том, что он любил Офелию, «как сорок тысяч братьев» («like forty thousand brothers»), после чего дается их перевод на местный язык – «vin sarokh trossik» – и схожим с опубликованным текстом образом добавлено, что «“brothers” не попадает в размер, потому что на его родном языке это слово требует амфибрахия».

С. 69. Грегуар, большущий, отлитый из чугуна жук-олень, с помощью которого его дед стаскивал за каблук <...> сначала один сапог... – Такое же приспособление описано в незавершенном романе Набокова «Solus Rex»: «Теперь эта спальня была ясна: с трещиной поперек потолка <...> с устарелым приспособлением для сдирания сапога за каблук, в виде большого чугунного жука-рогача, таящегося у подола кресла, облаченного в белый чехол» (Набоков В. Волшебник. Solus Rex / Заметка, статья, примеч. А. Бабилова. М.: АСТ: Corpus, 2022. С.

132). Название образовано от офранцузженного имени Грегор, что отсылает, по наблюдению Б. Бойда, к герою повести Ф. Кафки «Превращение» (1915) Грегору Замзе, превратившемуся у себя в спальне в большое насекомое. В университетских лекциях Набоков доказывал, что Грегор превратился именно в жука. Дж. Б. Фостер уточнил, что французский вариант имени героя повести указывает на то, что Набоков, не владевший немецким, читал ее во французском переводе (The Garland Companion to Vladimir Nabokov. P. 31).

...«Карточный домик» Шардена... – Французский художник Ж.-Б. С. Шарден (1699–1779) написал несколько картин на сюжет детской игры в карточный домик.

С. 71. ...имя французского генерала <...> довели до самоубийства... – Ж. Буланже (1837–1891); обвиненный в заговоре, бежал из Парижа и после смерти своей возлюбленной застрелился у ее могилы (НСС, 577–578).

С. 71–72. ...“Les morts, les pauvres morts ont de grandes douleurs. – Et quand Octobre souffle...”... – Из стихотворения Ш. Бодлера (1821–1867) «La servante au grand cœur dont vous étiez jalouse...» («Служанка скромная с великою душой...» – «Цветы зла», СІХ. Пер. П. Ф. Якубовича). Стихи написаны в память о близком Бодлеру человеке, служанке Мариетте (Бодлер Ш. Цветы зла. М.: Наука, 1970. С. 415–416), что предвещает (при всей противоположности их образов) появление служанки с тем же именем в романе.

Посреди площади Скотомы (бывшей – Свободы, бывшей – Императорской)... – Смена названий столичной площади отражает три характерные стадии изменения общественного строя: переход от монархии к либерально-демократическому типу правления и к постреволюционной диктатуре. Новая власть замещает свободу уравнилельной идеологией эквилизма (пародия на принцип «равенства», выдвинутый Великой французской революцией в 1790 г.), основанной на учении Скотомы, в самом имени которого, помимо намека на «скотство», содержится указание на ограниченность его взглядов: медицинским термином «скотома» (от греч. темнота) называется глазное заболевание, проявляющееся в ограниченности поля зрения; другое значение термина – слепое пятно. Кроме того, как отметил американский исследователь Л. Л. Ли, skotoma на новогреческом означает «убийство» (Lee L. L. Vladimir Nabokov. Boston: Twayne Publishers, 1976. P. 113).

красно-черный флажок – официальные цвета флага нацистской Германии – черная свастика в белом круге в центре красного полотнища.

С. 74. ...вместе с несколькими другими субчиками (когда автору надоедает коверкать слова – или он забывает). – В оригинале редкое blokes («парни» на разговорном английском); отсюда замечание, что автор забывает, что его персонаж плохо владеет английским.

...domusta barbarn kapusta [чем жена страшнее, тем она вернее]... – Об особенностях искусственного языка в романе и об этой выдуманной поговорке О. Ронен заметил следующее: «Изобретенные Набоковым в его англоязычных романах “языки” представляют собой явный ответ на макаронический опыт Джойса. В “Бледном огне” типологически сходный с

русско–норвежским торговым диалектом Шпицбергена (“мая–па–твая”) “земблянский язык” сочинен воображением душевнобольного героя романа. Заумный язык страны, в которой происходит действие романа “Bend Sinister” <...>, гибридный по словарю и грамматическому строю, мотивируется, как в “Поминках по Финнегану”, подпороговой параномастической логикой страшного сна. Он состоит частично из фонетической транскрипции или транслитерации искаженных фрагментов на иностранном языке (например, отрывочных цитат из “Послеполуденного отдыха фавна” Малларме <...>), из правильно переданных немецких и русских речений (воспринимаемых не знающим этих языков англоязычным читателем как заумные) и из многоязычных гибридов, выведенных по принципу каламбура или шарады, например: Domusta barbarn kapusta <...>. Здесь домуста – от англ. homeliest (home – дом), “самые некрасивые”; барбарн, псевдонемецкое множественное число от барбара, “женщина, жена”, – из рус. “баба”; капуста (!) – из латинской формулы casta et pudica, “чистая и целомудренная”» (Ронен О. Поэтика Осипа Мандельштама. СПб.: Гиперион, 2002. С. 91–92).

Это наблюдение нуждается в уточнении и дополнении: слова casta et pudica нельзя назвать латинской формулой, но они действительно встречаются вместе, например, в таком порядке: «et vera, et pudica, et casta, et justa» («Послание к Лаодикийцам», 15). Кроме того, «domusta» прямо указывает на лат. domus (дом, семья), а слово «капуста», как считается, происходит от лат. caput (голова), что в целом усиливает латинскую основу поговорки, имитирующей латинские крылатые выражения (например, «castis omnia casta» – непорочному все непорочно); написание через «k» может подразумевать нем. karutt (разбитый, усталый; погибший). Схожим образом «Klumba», название театра в гл. 4 романа, на местном языке значит «Голубиное гнездо» – русская «клумба» каламбурно соединяется с лат. columba (голубь). Замечания А. Филоновой–Гоув о принципах русско–французской диглоссии в романе (Filonov Gove A. Multilingualism and Ranges of Tone in Nabokov’s «Bend Sinister». P. 82–84) можно распространить и на использование в нем искаженных латинских слов или лексем («собачья латынь», как ее называл Набоков, характеризуя собственный псевдолатинский пассаж в конце первой части «Лолиты»), которые следует отнести к народной, сниженной речи персонажей, наряду с вульгарным или испорченным немецким.

С. 75. ...каменная подмена эльфов. – В оригинале обыгрываются значения англ. changeling – устар. перебежчик, предатель; в мифологии – вещь или ребенок, оставленные эльфами взамен похищенного. Это редкое слово отсылает у Набокова к концовке 15-го эпизода «Улисса», в которой Блуму на темной дублинской улице является его умерший сын Руди: «Against the dark wall a figure appears slowly, a fairy boy of eleven, a changeling, kidnapped, dressed in an Eton suit with glass shoes and a little bronze helmet, holding a book in his hand» (Joyce J. Ulysses. L.: The Bodley Head, 1964. P. 702) В русском переводе: «На темном фоне стены медленно возникает фигурка, волшебный мальчик лет одиннадцати, подменыш, похищенный феями; он в итонской курточке и хрустальных башмачках, на голове небольшой бронзовый шлем, в руке книга» (Джойс Дж. Дублинцы. Улисс / Пер. В. Хинкиса, С. Хоружего, коммент. С. Хоружего. СПб.: Азбука, 2014. С. 903). Этот эпизод,

написанный в модернизированной драматической форме и считавшийся Набоковым одним из лучших в «Улиссе», не менее важен для романа, как мы покажем далее, чем шекспировский диспут Стивена Дедала, и прежде всего из-за темы смерти сына. В университетских лекциях об «Улиссе» Набоков заметил: «Я не знаю ни одного комментатора, который бы правильно понял эту главу. Толкование психоаналитическое я, разумеется, целиком и полностью отвергаю, поскольку не исповедую фрейдизм с его заимствованной мифологией, потрепанными зонтиками и черными лестницами. <...> Я предлагаю рассматривать эту главу <...> как авторскую галлюцинацию, как забавное искажение самых разнообразных тем романа. Книга сама по себе есть сон и видение; эта глава – простое преувеличение, развитие характеров, предметов и тем, привидевшееся в кошмаре» (Набоков В. Лекции по зарубежной литературе. СПб.: Азбука, 2014. С. 491–492. Пер. Е. Касаткиной).

Система мотивов «Незаконнорожденных» строится по сновидческой логике повторения элементов в различных вариациях. Поэтому, к примеру, имитация лавочником паровоза во второй главе («его маленький спутник выражал свою безумную радость, бегая вокруг Круга расширяющимися кругами, имитируя при этом паровоз: чух-чух, локти прижаты к ребрам, ноги двигаются практически синхронно, совершая жесткие и отрывистые шажки со слегка согнутыми коленями. Пародия на ребенка – моего ребенка») предвосхищает игру Давида в поезд в конце книги, а упоминание «подмены эльфов», с ее отсылкой к Джойсу, – кошмарную сцену в предпоследней главе романа, с мертвым Давидом, голова которого украшена «багряно-золотым тюрбаном». В конце гл. 4 к ногам Круга скатывается «предмет, похожий на шлем» – это спортивный шлем неназванного юноши, случайно встреченного Кругом на крыльце собственного дома («В прощальных тенях крыльца юноша, одетый как игрок в американский футбол, лунно-белое, чудовищно преувеличенное накладкой плечо которого трогательно дисгармонировало с тонкой шеей <...>»). К облачению игрока в американский футбол повествование вновь обратится в гл. 16 (которая начинается игрой Давида в поезд) при описании мыслей Круга о взрослении Давида: «Увидел его в причудливом облачении (напоминающем жокейское, за исключением ботинок и чулок), которым щеголяют спортсмены в американских играх с мячом».

...шут, ударивший Христа по щеке... – Служитель первосвященника Анны, ударивший Иисуса по щеке и сказавший при этом: «Так отвечаешь Ты первосвященнику?» (Ин. 18:22).

...Глимана, хрупкого профессора средневековой поэзии... – Фамилия образована от англ. gleeman – менестрель (средневековый поэт–музыкант).

С. 76–77. ...я обычно поднимался из двойной ночи Кивинаватина и ужасов Лаврентьевской революции через населенную упырями пермскую область, через Ранний Современный, Средний Современный, Не Столь Современный, Совсем Современный, Весьма Современный <...> а из глубины украшенного оленьей головой зала <...> вышел пожилой президент университета Азуреус <...> длинное морщинистое надгубье... – Согласно приведенным Б. Бойдом пояснениям Веры Набоковой в письме (от 20 декабря 1949 г.) к датскому переводчику романа, неологизм «Кивинаватин» произведен от соединения Киватина (названия сланцев археозойского периода,

древнейших образований Канадского щита; геологи Канады относят его к архею, ученые в США – к докембрию) и Кивинаванской горной породы (докембрий). Лаврентийский ледниковый щит (кайнозой) и пермский период (палеозой) относятся к различным геологическим эрам, и образ строится на сравнении этажей американского небоскреба с многочисленными периодами геологического развития Земли, через все фазы которого Круг поднимается «из самого смутного прошлого к настоящему». «В “упырях пермской области”, – писала Вера Набокова, – есть намек как на ужасы советских трудовых лагерей, так и на эзотерический мир “Улялюма” Эдгара По (введенный с помощью схожего ритма, – подразумевалась, я полагаю, строка “Ведьм любимая область – Уир” [в переводе В. Брюсова]) <...> это отдаленное прошлое мира, с его дикостью и т. д., на самом деле все еще здесь, с нами, удалено [от нас] на несколько этажей. <...> “Я” (“моя отельная комната на моем этаже”) трагически одинок не только в настоящем мире, но и в еще более огромном мире, со всем прошлым, которое на самом деле никуда не исчезло. <...> Поднимаясь через все эти этажи, негр-лифтер никогда не достигнет рая или хотя бы сада на крыше. И мир, как здесь намекается, хотя и дошел от археозоя до наших дней, от пещерных жилищ до небоскребов с садами на крышах, все так же далек от истинного рая на земле. К слову, здесь сквозит и мимоходная мысль об ужасном положении чернокожих. “Из глубины украшенного головой оленя зала” и т. д. – даже в таком мимолетном замечании это раскрывает всю тему, рассмотренную в книге: профессор Азуреус, с его плоским материалистическим миром, – своего рода троглодит, выходящий из своей пещеры <...>» (NaM, 682. Пер. мой). Отсылка к загадочному стихотворению Э. По в этом пояснении Веры Набоковой тем более примечательна, что «Улялюм» (1847) посвящен мыслям лирического героя о потерянной возлюбленной и автобиографически связан со смертью жены поэта Вирджинии. Упоминание же «советских трудовых лагерей» окрашивает «ужасы Лаврентьевской революции» (Лаврентьевская революция – геологический термин, которым ученые называют крупнейшую перестройку земной коры на рубеже архея и протерозоя) в соответствующие грозные политические тона.

С. 77. ...Азуреус <...> выцветшие голубые глаза... – Фамилия главы университета образована от лат. *azureus* – лазурный, небесно-голубой.

...длинное морщинистое надгубье подрагивает <...> «Да, конечно, как глупо с моей стороны», – подумал Круг... – Круг сам себе отвечает на вопрос, возникший у него в госпитале в начале гл. 2 («Своими выцветшими голубыми глазами и длинной морщинистой верхней губой она напоминала кого-то, кого он знал много лет...»).

С. 79. *mussikisha* [музыкальный зал] – по-видимому, от нем. *musikalisch* – музыкальный.

Гедрон, математик. – Фамилия образована от англ. – hedron (от греч. hedra – грань) – гранник (вторая часть сложносоставных названий геометрических фигур); – эдр; репер в математике. В этом геометрическом смысле Гедрон сближается со своим другом Кругом, хотя и противопоставлен ему по дилемме: подчиняться – не подчиняться властям.

С. 80. Руфель (Политология). – А. Филонова–Гоув выводит это имя из строки неприличной эпиграммы (№ 59) Гая Валерия Катулла «Bononiensis Rufa Rufulum fellat» («Бононка Руфа своему сынку Руфу / И мать, и < – > зараз» – пер. С. В. Шервинского) (Filonov Gove A. Multilingualism and Ranges of Tone in Nabokov's "Bend Sinister". P. 88). Возможно, это так, учитывая другие отсылки к Катуллу в романе. На наш взгляд, однако, поскольку Руфель в романе – профессор политологии и «прекрасный оратор» (о чем сказано в гл. 18), его имя указывает скорее на Марка Целия Руфа (ок. 82–48 до н. э.), римского народного трибуна, затем эдила, претора, видного оратора и политика.

С. 81. "Klumba" ["Голубиное гнездо" – известный театр]. – Каламбур с лат. columba (голубь) и «клумба» отвлекает русскоязычного читателя от менее явного «колумбарий»: в оригинале «Klumba» раскрывается как «Pigeon Hole» – голубиное гнездо; закуток; однако выражение to pigeonhole означает, кроме прочего, поместить (прах) в колумбарий.

Parlamint и Zud [парламент и суд]. – В первом случае, вероятно, англ. mint в значении «монетный двор» каламбурно соединяется с «parliament», а во втором нем. Judiz (суд; правосудие) и Süd (юг) соединяются с русским «зудом».

С. 82. Некий министр, личность которого остается невыясненной <...> нет, – сказал Яновский, – не Ми Нистер. – Отсылка к авторскому «я» и названию романа. См. нашу статью «Адамово яблоко» в наст. изд. Как заметила С. Э. Свини, Набоков в 1943 г. обсуждал с Уилсоном эмигрантского писателя В. С. Яновского (1906–1989), с которым был знаком в Париже и который переехал в США (Sweeney S. E. Sinistral Details: Nabokov, Wilson and Hamlet in Bend Sinister // Nabokov Studies. 1994. Vol. 1. P. 181). На наш взгляд, Набоков имел в виду скорее героя своей первой книги, написанной в США, Н. В. Гоголя–Яновского.

на один безумный миг – for one mad instant – еще одно повествовательное клише. Вместе с тем эта странная подробность (почему «безумный»?) важна в свете слов обезумевшего Круга, сказанных профессору политологии Руфелю в конце романа: «Вас арестовали – дайте-ка подумать – как раз перед тем, как кошка вышла из комнаты». На самом деле Руфель был арестован еще до университетского собрания, на котором он не присутствовал, а незадолго перед тем, как «кошка вышла из комнаты», про его арест говорили д-р Александер и Азуреус (что, по-видимому, Круг безотчетно зафиксировал в памяти).

С. 83. ...они были цвибаками, все на немецком... – Цвибак – здесь: немецкий хлебец или сухарь.

...Клио может повторяться лишь неосознанно. – Схожие мысли о случайности и бессистемности исторических процессов Набоков высказал во французском эссе «Писатели и эпоха» (1931) и в написанном по-русски неозаглавленном докладе [«Демон обобщений»] (ок. 1926).

С. 85. ...один из ассистентов Малера... – В романе имеется несколько прямых и косвенных отсылок к немецким композиторам: о Круге сказано, что он чертами лица похож на Бетховена; при описании взглядов директора школы классовая борьба сравнивается с вагнеровской оперой («Богатство и Труд мечут вагнеровские молнии»); фамилия сестер Баховен (Bachofen) напоминает об И.–С. Бахе (Bach); «ассистент Малера» указывает на австрийского композитора и дирижера Густава Малера (1860–1911). Поскольку здесь речь идет о д-ре Александре, который в будущем сменит оплошавшего агента Густава и займет его место жениха красавицы Линды Баховен (гл. 16), нетрудно догадаться, в чем состоит шутка Набокова: имя композитора передано этому злополучному Густаву, чья фамилия никогда не называется – как здесь сообщается только фамилия Малер без имени. Кроме того, в словах «один из ассистентов Малера» звучит тот же мотив несчастья и зла, который связан в романе с названием озера Малёр (от фр. malheur – несчастье, беда; злая воля), созвучным фамилии композитора (Mahler). Таким образом, д-р Александер, метафорически говоря, является одним из «ассистентов» той губительной злой силы, которой пытается противостоять Адам Круг.

«Разве он не использовал <...> где-то это сравнение со снежком и метлой снеговика?» – Сравнение частично использовал сам Набоков в берлинском стихотворении 1929 г. «Облака»: «И – масками чудовищными – часто / проходят образы земных владык: // порою в профиль мертвенно-лобастый / распухнет вдруг воздушная гора / и тает вновь, как тает коренастый // макроцефал, которого вчера / лепили дети красными руками, / а нынче точит оттепель с утра» (Набоков В. Стихи / Предисл. Веры Набоковой, сост., заметка, пер., коммент. А. Бабикова. М.: АСТ: Corpus, 2024. С. 285).

С. 88. «Я пригласил вас, господа, с тем, чтобы сообщить вам...» – Отсылка к реплике Городничего в «Ревизоре» (1836) Н. В. Гоголя. Сочинение романа совпало у Набокова с написанием книги о Гоголе, что отразилось в гоголевских выходящих из-под авторского контроля разветвленных метафорах и описаниях, в которых Набоков находил общее с «Улиссом». Не случайно в одном из таких пассажей (в гл. 4) упоминается некто Гоголевич.

С. 89. Когда мужчина теряет любимую жену, когда эмир теряет плот среди кочующих морей <...> адмирала, потерявшего флот среди бушующих волн... – Из-за трагической для Круга первой фразы смысл следующих далее слов искажается в его сознании. В оригинале обыгрываются слова «when an animal has lost his feet in the aging ocean» («когда животное теряет ногу в стареющем океане») – «the admiral whose fleet is lost in the raging waves» («адмирал, чей флот потерян в бушующих волнах»).

С. 90. ...простым снежным комом преходящего политического убеждения,

не обрастающего мхом... – Намек на англ. *rolling stone gathers no moss* (катящийся камень мхом не обрастает). В начальных главах романа Набоков дает образцы двух речей с оправданием новой власти, удивительно близких по лицемерию и рабскому духу, – лавочника и президента университета.

С. 92. «Я сидел на его лице <...> каждый божий день около пяти школьных лет, – что составляет, полагаю, примерно тысячу таких сеансов». – Эта тема возникает у Набокова в рассказе «Лик» (1938) в связи с воспоминаниями героя (русского эмигранта) о своем мучителе школьных лет Колдунове. Сам образ Колдунова и его школьное рептильное прозвище имеют сходство с образом Падука-Жабы, хотя его физическую силу и привычку терзать одноклассника унаследовал в романе как раз антагонист диктатора Адам Круг. Колдунов в рассказе описывается следующим образом: «с коротко остриженной головой и крупными чертами неприятно пригожего лица: их правильность портили слишком близко посаженные глаза, снабженные тяжелыми замшевыми веками, – недаром его прозвали “Крокодил”, – в самом деле, было нечто мутно-глинисто-нильское в этом медлительном взгляде. <...> Колдунов на него наплывал без слов и деловито пытал его на полу, раздавленного <...> Колдунов со вздохом, даже с какой-то неохотой, снова наваливался, впивался роговыми пальцами под ребра или садился отдыхать на лицо жертвы» (Набоков В. Полное собрание рассказов / Предисл. Д. Набокова, сост., пер. коммент. А. Бабинова, пер., примеч. Г. Барабтарло. М.: АСТ: Corpus, 2023. С. 522–523). Прототипом Колдунова был одноклассник Набокова по Тенишевскому училищу Григорий Попов, о котором Набоков вспоминал в «Других берегах» (1954) как о гориллообразном, бритоголовом, грязном силаче (гл. 9, подгл. 4. В романе обритость головы отличает Падука). В письме от 4 сентября 1937 г. к своему однокашнику С. Розову Набоков писал о нем: «Попов! Пушка нашего детства, единственный человек, которого я в жизни боялся. <...> Помнишь, как он ходил, руки до колен, громадные ступни в сандалиях едва отделяются от пола, на низком лбу одна-единственная морщина: непонимания полного и безнадежного, непонимания собственного существования. Весь в черном, черная косоворотка, и тяжелый запах, сопровождающий его всюду, как рок. Даже в зрелом возрасте я иногда вижу в кошмаре, как Попов наваливает<ся> на меня» (Набоков В. Письмо С. Розову / Вступ. заметка, публ., коммент. Ю. Левинга // Набоков: pro et contra. Антология. Т. 2. СПб., 2001. С. 17). Еще одна использованная в романе деталь: сандалии в школьные годы носил Падук.

Характерный прием унижения своей жертвы (сидение на лице) возникает в прозе Набокова, по всей видимости, под влиянием 15-го эпизода «Улисса», в котором тучная бандерша Белла Коэн, всячески издеваясь над Леопольдом Блумом, кроме прочего, «усаживается на лицо Блума, похрюкивая, попыхивая сигарой, не спеша вытягивая жирную ногу» (Джойс Дж. Дублинцы. Улисс. С. 846). В университетских лекциях об «Улиссе» Набоков упомянул Беллу Коэн, которая «чрезвычайно жестоко обходится с бессильным Блумом, презабавно поменявшись с ним полами» (Набоков В. Лекции по зарубежной литературе. С. 494). Образ Беллы Коэн в романе отчасти воплощается в фигуре статной фрау фон Витвиль, которая во время своего жестокого «эксперимента» появляется с хлыстом в руке (гл. 17).

В рукописи против слов о тысяче сеансов Набоков сделал арифметические подсчеты в столбик, допустив ошибку. Двадцать пять школьных дней он умножил на восемь месяцев, получив 180, и 180 умножил на пять лет, получив 900, но 25 на 8 дает не 180, а 200, и, значит, общее число дней не 900, а ровно 1000.

С. 96. ортоптеристы изучают прямокрылых насекомых.

С. 97. ...сноску на странице 306... – Число 6 – видимо, из-за его легкой обрабатываемости в девятку, что отвечает мотиву сновидческой зыбкости данных и явлений в романе – несколько раз возникает в книге в различных комбинациях и упоминаниях – в телефонном номере Эмбера (гл. 3), в номере пистолета Густава (гл. 7), в дате уничтожения рукописей Горация (гл. 12), в номере шоссе (76) и в номере жуткого «эксперимента» (656) (гл. 17). Шестерка в «Незаконнорожденных» может иметь отношение к Шекспиру и сопутствующему ему в романе мотиву зеркальности, что напоминает зашифрованные в «Лолите» в автомобильных номерах Куильти даты жизни Шекспира («ВШ 1564» и «ВШ 1616»); другой его издевательски-обманный автомобильный номер – «КУ 6969». См. также коммент. к с. 193.

С. 100. «Prakhtata meta! <...> Prakhta tuen vadust, mohen kern! Profsar Krug malarma ne donje... Prakhtata!» – Как Набоков отметил в Предисловии, слова «malarma ne donje» отсылают к поэтическому лейтмотиву романа, эклоге С. Малларме. «Prakhtata» созвучно с «проклятье» и с «прах» (ср. «vadust» с англ. dust – пыль, прах), а также с нем. Pracht с противоположным значением (великолепие, пышность); «meta» может быть искаженным англ. matter (дело, вопрос); «mohen» созвучно с «мох» и, по-видимому, соединяет местоимение «мой» с нем. mein (мой); kern напоминает нем. Kern (суть, сущность, сердцевина); англ. kern (мужик, деревенщина), но является, вероятно, шутивным намеком как на «хер» (старое название русской буквы «х», от которого возник глагол «похерить»), на что как будто призвана указать «h» в слове «mohen», так и на ругательное «хрен».

Никто не тронет наших кругов... – Эти перефразированные слова Архимеда, сказанные, по легенде, ворвавшемуся к нему в дом римскому солдату («Не трогай моих кругов!»), который его тут же и убил, в дальнейшем приобретают особый смысл: в романе два Круга, Адам и Мартин, оба ученые, у каждого есть сын, и каждый будет «тронут». Смерть Круга, однако, как в конце говорит автор, – «не более чем вопрос стиля», в то время как Гедрон покончит с собой еще до ареста Круга и в последней сцене будет замещен «необыкновенно одаренным актером» (двойственность и здесь).

«...наших кругов – но у нас должно быть место, чтобы их рисовать». – «Не в грязи, сударь, не в грязи», – сказал Круг, впервые за вечер улыбнувшись. – Круг улыбается, возможно, не только оттого, что русское значение его фамилии совпадает с употребленным Гедроном названием геометрической фигуры, но и оттого, что его ответ вызывает в памяти знаменитое программное эссе О. Уайльда «Душа человека при социализме» (1891): «Власть над художником и его искусством нелепа. <...> Утверждают, будто под властью деспотов художники создавали

дивные произведения. Это не совсем так. Художники посещали деспотов, но не как подданные, которых надлежит тиранить, а как странствующие чудотворцы, как удивительные скитальцы, которых нужно развлекать, очаровывать и терпеть ради их душевного покоя и позволять им творить. В пользу деспота можно сказать, что он, будучи индивидом, может обладать известной культурой, тогда как толпа, будучи чудовищем, таковой не имеет. Император или король могут наклониться и поднять кисть, оброненную художником, но если наклоняется демократия, то лишь для того, чтобы измазать кого-либо или что-либо грязью. И при этом демократия никогда не склонится ниже императора. Собственно, когда они хотят измазать кого-то грязью, им даже и наклоняться не приходится. Однако нет нужды отделять монарха от черни, любая власть [для художника] одинаково плоха» (Wilde O. The Soul of Man Under Socialism. N.Y., 1915. P. 50. Пер. мой).

С. 103. ...когда я был студентом и жил на чердаке, моя квартирная хозяйка, жена бакалейщика снизу, твердила, что я в конце концов сожгу дом... – Именно об этом начинает рассказывать Кругу на мосту бакалейщик в гл. 2: «...а не сидеть в одиночестве, предаваясь опасным размышлениям. У моей жены был жилец...».

С. 104. сезамка [ключ от английского замка]. – Во французской версии А. Галлана арабской сказки «Али-Баба и сорок разбойников» («Тысяча и одна ночь») заклинание «*Sésame, ouvre-toi!*» («Сезам, откройся!») открывало пещеру с сокровищами. Ср. уменьшительно-ласкательные суффиксы в словах «kwazinka», «Адамка».

Прощеванце [шутливое “ады”] – от прост. прощевайте.

С. 105. Крупным планом, крупным планом! – Отчасти иронично, отчасти ради эффекта остроты (как и в рассказе 1943 г. «Ассистент режиссера») Набоков использует в романе различные приемы и клише кинематографа, обсуждению которых посвящена детальная статья Б. Г. Бейнстока «Фокус-покус: кинообразы в романе “Под знаком незаконнорожденных”» (Beinstock B. G. Focus Pocus: Film Imagery in Bend Sinister // Nabokov's Fifth Arc. Nabokov and Others on His Life's Work / Ed. by J. E. Rivers and Ch. Nicol. Austin: University of Texas Press, 1982. P. 125–138).

Кармен – героиня названной этим именем повести (1845) П. Мериме (1803–1870), свободолюбивая гитана. Ее образ позднее найдет у Набокова отражение в Лолите.

таклер (от англ. tackler) – в американском футболе блокирующий полузащитник.

Лаокоон – античная скульптурная группа, изображающая борьбу жреца Лаокоона и его сыновей со змеями. В этом пассаже Набоков описывает фигуры в пространстве, создавая единство и целостность восприятия, свойственные изобразительному искусству, в отличие от литературы, передающей последовательное развитие, действие во времени, о чем Г. Э. Лессинг писал в своем знаменитом трактате «Лаокоон, или О границах живописи и поэзии» (1766).

глобулы – красные кровяные шарики.

Donje te zankoriv – искажение слов из эклоги Малларме «dont j'étais encore ivre» («которым я все еще был пьян»).

С. 106. ...сверкающей слезой Капеллы... – Капелла – самая яркая звезда в созвездии Возничего.

...этими зеркалами бесконечного пространства, qui m'effrayent, Blaise, как они пугали и тебя... – Отсылка к знаменитому фрагменту «Мыслей» (1670) французского математика, философа и теолога Б. Паскаля (1623–1662): «Человек – всего лишь тростинка, самая слабая в природе, но это тростинка мыслящая. Не нужно ополчаться против него всей вселенной, чтобы его раздавить <...>. Итак, все наше достоинство заключено в мысли. Вот в чем наше величие, а не в пространстве и времени, которых мы не можем заполнить. <...> Вечное безмолвие этих бесконечных пространств меня пугает» (Паскаль Б. Мысли / Пер., вступ. ст., коммент. Ю. А. Гинзбург. М., 1995. С. 136–137).

амфифорический – неологизм (от греч. amphoreus – сосуд с двумя ручками) – нечто, сделанное двумя руками или с двойным назначением.

5

Глава во многом строится как пародия на фрейдистское толкование «типичного сна об экзамене» (или, как пишет Набоков, «этого повторного сна, всем нам знакомого»). Заметка «Сон об экзамене», включенная З. Фрейдом в его труд «Толкование сновидений», завершается (в редакции 1925 г.) следующим утверждением: «В. Штекель, которому принадлежит первое истолкование сна об экзамене на аттестат зрелости, отстаивает точку зрения, что это сновидение, как правило, относится к сексуальному испытанию и половой зрелости. Мне часто удавалось это подтвердить на своем опыте» (Фрейд З. Собр. соч.: В 10 т. / Под общ. ред. Е. С. Калмыковой и др. М., 2008. Т. 2. С. 287. Пер. А. М. Боковой). Набоков мог прочитать эту заметку в новом дополненном английском издании (Freud S. The Interpretation on Dreams / Authorized Translation by A. A. Brill. L.: George Allen & Unwin; N.Y.: The Macmillan Company, 1932. P. 266–267). В согласии с такого рода психоаналитическими интерпретациями (чуждыми Набокову) глава кончается появлением в «экзаменационном сне» Круга его покойной жены в эротическом контексте («от последнего жеста высокой холодной стриптизерши, рыскающей, как пума, взад и вперед по сцене, Круг в припадке отвратительной дурноты проснулся»).

Примечательно, что в более ранней редакции «Толкования сновидений», которая могла быть известна Набокову по русскому переводу 1913 г., после описания снов об экзамене, «которые наблюдаются обычно лишь тогда, когда субъекту предстоит на следующий день ответственный

поступок», сразу же следует замечание о снах «об опоздании на поезд», которые Фрейд относит к той же группе снов. Сюжет опоздания на поезд во снах Фрейд трактует как следствие страха смерти: «Отъезд – один из наиболее употребительных и понятных символов смерти. Сновидение утешает нас: будь спокоен: ты не умрешь (не уедешь), – все равно как сновидение об экзаменах: не бойся, ты не провалишься» (Фрейд З. Толкование сновидений / Пер. с третьего дополненного немецкого издания М. К. М.: Современные проблемы, 1913. С. 211). В следующей главе Круг с сыном уезжает из города на поезде, и, проснувшись в доме своих друзей, замечает на дне «клозетовой чаши конвертик от безопасной бритвы с лицом и подписью доктора З. Фрейда».

С. 108–109. ...таинственный гений, который воспользовался сном, чтобы передать свое необычное зашифрованное послание, не имеющее отношения к школьным годам или вообще к какому-либо аспекту физического существования Круга, но каким-то образом связывающее его с непостижимой формой бытия, быть может, ужасной, быть может, блаженной, а быть может, ни той ни другой... – В описываемом далее сне «простой мяч» предстает в трех видах («не один, а три мяча в трех витринах, поскольку нам явлены все его стадии: сначала новый, такой чистый, что почти белый – белизна акульею брюха; затем грязно-серая взрослая особь с крупинками гравия, прилипшими к его обветренной щеке; а затем дряблый и бесформенный труп»), что может указывать на семью Круга – Ольгу, Адама и Давида (Д. Б. Джонсон заметил, что англ. D в имени мальчика графически представляет собой половину буквы «O» в имени Ольги и все вместе суммируется русским значением фамилии Круга) и связывать этот начальный сон с последней главой, в которой Круга на грани сна посещает чувство единения со своими близкими: «Но из-за обморока или дремы он впал в беспамятство прежде, чем смог как следует схватиться со своим горем. Все, что он чувствовал, это медленное погружение, сгущение тьмы и нежности, постепенное нарастание мягкого тепла. Две их головы, его и Ольги, щека к щеке, две головы, соединенные вместе парой маленьких пытливых ладоней, протянутых вверх из темной постели, к которой их головы (или их голова – ибо они образовали единство) опускались все ниже и ниже – к третьей точке, к безмолвно смеющемуся лицу. Как только его и ее губы дотянулись до прохладного лба и горячей щеки ребенка, раздался тихий ликующий смех, но спуск на этом не закончился, и Круг продолжил погружаться в душераздирающую доброту и мягкость, в черные слепящие глубины запоздалой, но – не беда – вечной ласки». Перед этим, во время показа «научного» фильма, происходит нечто подобное: Круг видит на экране лицо Давида, которое «увеличилось, стало размытым и исчезло, соприкоснувшись с моим».

С. 110–111. ...прокол обычно случался из-за столкновения с определенным злонамеренным выступом <...> и вскоре он уже шлепал, как старая калоша, прежде чем замереть <...> жестоко разочарованные ботинки наконец разносили его на куски. – Схожее описание футбольной игры содержится в уже приводившемся письме Набокова к С. Розову: «О футболе тенишевского периода я не раз упоминал в своих романах. <...> Разнообразный состав голов (от гол, не головы): пасть выходного туннеля на улицу (с двумя тумбами по бокам) и дверь, или в отдельном дворе – составлявшим нашу крайнюю мечту в детстве – дверь и железная

решетка, за которой ступеньки вели вниз под навес (с острым железным углом, о который рвался и лопался резиновый мяч, – но еще долго потом мертвый, мертво-шлепавшийся, был пинаем и мучим)» (Набоков В. Письмо С. Розову. С. 20).

С. 111. Окончание ballona [бала]. <...> Круг играл в футбол [vooter], Падук нет [nekht]. – Обыгрываются ит. ballo (бал), англ. ball (мяч) и balloon (баллон); vooter – от англ. footer (футбол), nekht соединяет «нет» с нем. nicht (нет).

С. 112. ...«гол» значит «цель», и целью была дверь. – Обыгрываются значения англ. goal (цель, задача; ворота; гол); школьная дверь, как сказано ранее, служила в игре воротами.

...zaftripen [«слютяев»]... – Еще один гибрид: англ. soft (мягкий, нежный) и softy (слабак, тряпка) соединяются с созвучными нем. Saft (сок; сироп) и Puppe (кукла; манекен), а также с англ. pupil (ученик).

С. 113. ...вдовец женился на молодой калеке, для которой изобрел новый тип ортопедических скоб... – Схожая тема физического недостатка звучит в «Приглашении на казнь» (в описании сына Марфиньки, хромого Диомедона) и в рассказе «Истребление тиранов» в воспоминаниях о молодости будущего диктатора, где она замечательным образом соединяется с образом жабы, традиционно символизирующей уродство и смерть: «И однажды один из юношей позабавнее положил ему жабу в карман, и он, не смея залезть туда пальцами, стал сдирать отяжелевший пиджак и в таком виде <...> был застигнут злой горбатенькой барышней <...>. Я знаю о его любовных склонностях и системе ухаживаний от нее же самой, ныне, к сожалению, покойной, как большинство людей, близко знавших его в молодости, словно смерть ему союзница <...>» (Набоков В. Полное собрание рассказов. С. 488).

У Падука было одутловатое лицо и сизый шишковатый череп: отец самолично раз в неделю брил ему голову – какой-то мистический ритуал, надо думать. – В рукописи (с. 62) следует невычеркнутое продолжение, которое, возможно, было выпущено при перепечатке по недосмотру: «Когда у него прыщи вокруг рта становились слишком уж спелыми, юный Падук выдавливал их в мутноватое зеркало, висевшее в уборной, – на чем мы его и ловили. Эти прыщи, однако, были единственными живыми чертами его лица». Косвенным подтверждением тому, что эти два предложения должны были войти в текст романа, служит более позднее замечание в сцене свидания Круга с Падуком при описании взрослого Падука: «Его пятнистая физиономия была еще гаже, чем когда-либо, и оставалось только дивиться необыкновенной силе воли этого человека, не позволявшего себе выдавить угри, закупорившие широкие поры на крыльях его пухлого носа» (гл. 11).

Неизвестно, отчего его прозвали Жабой, поскольку ничто в его физиономии не напоминало это животное. – Англ. toad означает не только «жаба», но и «гадина», «отвратительный человек». Прозвище отвечает имени диктатора (Paduk), образованного от устаревшего англ. paddock (padock) – жаба (что еще заметнее в рукописи, в которой он первоначально именовался Padok), использованного в таком значении в

«Гамлете» (акт III, сц. 4) и в «Макбете» (акт I, сц. 1) (Crystal D., Crystal B. Shakespeare's Words. A Glossary & Language Companion. P. 313). Поскольку «Гамлету» в романе отведено исключительное место, Набоков, бесспорно, предполагал, что внимательный читатель обратится к трагедии Шекспира и, возможно, заметит сходство школьного прозвища диктатора с этим редким словом, возникающим в следующих словах принца в разговоре с матерью: «<...> Пусть вас король к себе в постель заманит; / Щипнет за щечку; мышкой назовет; / А вы за грязный поцелуй, за ласку / Проклятых пальцев, глядящих вам шею, / Ему распутайте все это дело, – / Что вовсе не безумен я, а просто / Хитер безумен. Пусть он это знает; / Ведь как прекрасной, мудрой королеве / Скрыть от кота, нетопыря, от жабы [paddock] / Такую тайну?» (пер. М. Лозинского). Под «жабой» и прочими животными в этом перечислении Гамлет имеет в виду Клавдия, захватившего власть в Дании в результате подлости и убийства брата, подобно Падуку, устроившему кровавый переворот и сломившему гражданское сопротивление. Другое, современное, значение слова paddock – выгул, загон, пaddock – отвечает мотиву школьного двора в романе и напоминает о месте чудовищных развлечений воспитуемых юнцов в экспериментальной лечебнице; кроме этого, оно по-своему связывает диктатора с животным миром (ср. фамилию его любимого философа Скотомы).

Помимо английского значения, в имени Падука, как отметил Д. Б. Джонсон, звучит русское «упадок» (Джонсон Д. Б. Миры и антимир. Владимира Набокова. С. 266), к чему можно добавить «паук» и «падок» (Падук падок на сладкое). Исследователь, кроме того, обратил внимание на то, что англ. toad созвучно с нем. der Tod (смерть) и что сцена, в которой Жаба целует Круга в темном школьном классе, напоминает распространенный в западной культуре мотив «Поцелуя смерти» (Todeskuss). Это наблюдение тем более любопытно, что Круг в своих записках одушевляет смерть (в гл. 10): «посмотрел в глаза смерти и назвал ее собакой и мерзостью».

С. 114. ...все люди состоят из одних и тех же двадцати пяти букв... – В английском алфавите 26 букв; возможно, алфавит этой страны содержит на одну меньше, или же Падук в согласии со своей теорией коллективного сознания намеренно опускает англ. I (я).

С. 115. падограф – неологизм от англ. pedograph (педограф – прибор, который носит пешеход для топографической записи местности, пройденной во время путешествия; отпечаток ноги на бумаге) и pad (лапа, блокнот; идти по следу животного), соотнесенный с именем Падук.

С. 116. клинальная изменчивость – непрерывный ряд различий в функциях или структуре, проявляемых представителями биологического вида в пределах ареала.

С. 119. kurre [закрытый экипаж] – от нем. Kurre – закрытый экипаж; купе.

С. 120. trivesta [подробности любовных походов] – от англ. trivia (мелочи, пустяки) и travesty (пародия, травести).

...офорт, изображающий «Хлебно-Песчаный бунт», 1849. – Вероятно, совмещены «Бунт на Песчаном участке» в Сан-Франциско в 1877 г. (китайские строители и рабочие взбунтовались из-за того, что были выброшены на улицу, их выступление на так называемом Песчаном участке поддержала Рабочая партия Соединенных Штатов) и хлебные бунты, проходившие в разные годы во многих странах – Ирландии, России, Франции, Германии, США. Указанный Набоковым 1849 г. – время завершения Великого голода в Ирландии; кроме того, период 1848–1849 гг. известен как «Весна народов» – общее наименование революционных событий и восстаний в Центральной Европе.

С. 121. ...сыновья реакционных дворян соответствовали своему привилегированному сословию и объединялись в «Rutterheds». – Сложный неологизм, образованный, по-видимому, от архаичного англ. rutter (термин XV–XVI вв.) – всадник или солдат, первоначально принадлежавший к немецким войскам (Набоков мог учитывать также «ратный», «рать»). Вторая часть слова, вероятно, относится к арх. англ. hed (голова, правитель), а все вместе намекает на то, что реакционные дворяне, т. е. противники ограничения власти монарха, образовали что-то вроде партии «воевод».

С. 123. Фрадрик Скотома. – Как заметил А. Люксембург (НСС, 581), имя основоположника эквилизма напоминает о Фридрихе Энгельсе (1820–1895) и марксизме через неполную анаграмму фамилии его основоположника К. Маркса (1818–1883). См. также коммент. к гл. 3 относительно медицинского термина.

С. 126. ...последний станет первым, и наоборот... – «Многие же будут первые последними, и последние первыми» (Мф. 19:30). Кроме того, здесь отсылка к словам «Интернационала» Э. Потье (русский перевод – 1902), бывшего в 1918–1944 гг. официальным гимном РСФСР: «Кто был никем – тот станет всем!».

С. 127. ...убийство совершил студент по имени Эмральд... – Имя образовано от англ. emerald – изумруд; в геральдике – зеленый цвет (в «Бледном огне» появляется похожий персонаж, молодой Джеральд Эмеральд (Изумрудов), персонификация смерти и «важная Тень»). Как следует из гл. 2 романа, в Падукграде после революции проспект Теодора Третьего был переименован в честь этого террориста.

С. 128. «Ustra mara, donjet domra» – «Ustra» и «domra» перекликаются с более ранним гибридом «domusta» (см. коммент. к гл. 3); «donjet» вновь обыгрывает «dont j'étais» из эклоги Малларме; мара – морок, наваждение, греза, призрак и род домового или кикиморы (Словарь Даля); домра – восточнославянский народный инструмент.

Этермон (сиречь Обыватель). – Придуманный Набоковым герой комиксов, имя которого образовано от нем. Jedermann (каждый, всякий – название известной пьесы Г. фон Гофманшталя, 1911) и др.-греч. etymon – этимон (исходное слово, основа слова или корневая морфема). Для пояснения Набоков приводит в скобках англ. everyman (обыкновенный человек; обыватель); этот термин использовался еще в английском моралите конца XV в. «The Summoning of Everyman», где аллегорический

герой изображает обычного человека, который знает, что ему скоро предстоит умереть.

Дж. Б. Фостер предположил, что образцом для набоковского Этермона мог стать Дагвуд Бамстед, герой популярного в США в 1930–1950-х гг. комикса «Блонди», созданного М. Б. Янгом (Foster J. B., Jr. “Bend Sinister” // *The Garland Companion to Vladimir Nabokov*. P. 28). Дагвуд изображался добродушным, но ленивым, бестолковым и неуклюжим мужем Блонди, любящим сытно закусить и подремать на диване или в кресле. Много внимания в комиксе уделялось жилью и домашним занятиям Дагвуда и его семьи.

Еще один возможный источник Набокова – знаменитый персонаж американского писателя С. Льюиса (1885–1951) Бэббит, имя которого стало нарицательным. В ранней редакции первой главы «Незаконнорожденных» упоминаются герои американского комикса Матт и Джефф (см. в наст. изд.: Приложение, IV), возникающие в сатирическом романе «Бэббит» (1922) в подходящем Набокову контексте (протест сына Бэббита, обычного американского школьника Теда, против требования учителей читать Шекспира). Набоков в своем романе (с его изощренно-трудной шекспировской главой), по всей видимости, учитывал мотивы Льюиса, особенно если обратить внимание на то, что Бэббит, житель вымышленного американского города Зенит, – типичный обыватель и маклер по делам недвижимого имущества: «Бэббит сердито поднял глаза от юмористического приложения к газете “Вечерний адвокат”. Это было его любимое чтение – комиксы, в которых мистер Джефф бомбардирует мистера Матта тухлыми яйцами, а мамаша учит папашу уму-разуму при помощи кухонной скалки. С благоговейным выражением лица, тяжело посапывая и полуоткрыв рот, он ежевечерне внимательнейшим образом изучал каждую картинку и терпеть не мог, когда прерывали этот торжественный ритуал. Кроме того, он осознавал, что по части Шекспира он не авторитет. Ни в “Адвокат-таймс”, ни в “Вечернем адвокате”, ни в “Известиях зенитской Торговой палаты” еще ни разу не было передовицы о Шекспире, а пока один из этих органов не высказался, Бэббиту было трудно составить собственное мнение» (Льюис С. Бэббит. Эроусмит / Вступ. ст. Т. Мотылевой. М.: Художественная литература, 1973. С. 83. Пер. Р. Райт-Ковалевой).

С. 129. ...курящим ту марку папирос, которую предпочитают миллионы, а миллионы не могут ошибаться... – 0 том же Набоков писал М. Алданову 6 мая 1942 г.: «Ваша статья о Мережковском (кроме ссылки на Герцена – Гюго и на “что-нибудь да значит” – раз столько-то лет читают и в стольких-то лавках продают, – что, по-моему, тоже самое, что “миллион людей – курящих нашу папиросу – cannot be wrong”, между тем как следует, по-моему, всегда исходить из того, что большинство – не право и что тысячами уликами <sic> пригвожденный подсудимый – невиновен) мне очень понравилась» (цит. по: Бабинов А. Прочтение Набокова. Изыскания и материалы. СПб., 2019. С. 555–556).

С. 133. ...книга на самом деле представляла собой шкатулку из розового дерева, формой и окраской имитирующей том стихов... – Предмет уже возникал ранее (гл. 4) как «Vuxum biblioformis» (коробка в виде книги). Похожий предмет фигурирует в конце романа Набокова «Сквозняк из прошлого» (1972).

С. 135. Произошла вспышка, щелчок: двумя руками она сняла свою прекрасную голову <...> грудь вместе с обтягивающими ее кружевами... – Как было отмечено еще в юбилейном набоковском сборнике 1971 г. (Hyman S. E. *The Handle: Invitation to a Beheading and Bend Sinister* // Nabokov. *Criticism, reminiscences, translations and tributes* / Ed. by Alfred Appel, Jr. & Charles Newman. L.: Weidenfeld and Nicolson, 1971. P. 68–69), это описание напоминает концовку второй главы «Приглашения на казнь», в которой Цинциннат совершает «преступное упражнение» по освобождению духа из телесной тюрьмы: «Он встал, снял халат, ермолку, туфли. Снял полотняные штаны и рубашку. Снял, как парик, голову, снял ключицы, как ремни, снял грудную клетку, как кольчугу. Снял бедра, снял ноги, снял и бросил руки, как рукавицы, в угол. То, что оставалось от него, постепенно рассеялось, едва окрасив воздух. Цинциннат сперва просто наслаждался прохладой; затем, окунувшись совсем в свою тайную среду, он в ней вольно и весело – Грянул железный гром засова, и Цинциннат мгновенно оброс всем тем, что сбросил, вплоть до ермолки» (Набоков В. *Приглашение на казнь* / Заметка, примеч. А. Бабилова. М.: АСТ: Corpus, 2021. С. 41).

6

С. 136. ...Давид звонко отвечал кому-то, – вероятно, Анне Петровне... – В рукописи вычеркнут другой вариант ее имени: Маргарита Максимовна. Еще один вариант имени, возникающий позднее, – Татьяна.

С. 138. Давид доедал свою геркулеску. – В оригинале неологизм «velvetina», соединяющий англ. *velveteen* (вельвет) с *wheaten* (пшеничный). Как Вера Набокова пояснила Ч. Тиммеру (в письме от 27 сентября 1949 г.), Набоков придумал название каши быстрого приготовления по типу коммерческих американских продуктов, вроде «Wheatina» (NaM, 684). Здесь неточность: американская каша из пшеницы, производство которой началось еще в конце XIX в., называется «Wheatena». Судя по всему, Набоков употребляет домашнее словечко Давида, намеренно оставляя его без пояснения.

Виола никогда не любила сестру; последние двенадцать лет они виделись редко. – Аллюзия на «Двенадцатую ночь» Шекспира, героиня которой, сестра-близнец Себастьяна, носит имя Виола. Как видно из начала этой главы, шекспировские подтексты в романе постепенно усиливаются с приближением к гл. 7, по большей части посвященной «Гамлету».

С. 139–140. На дне клозетовой чаши плавал конвертик от безопасной бритвы с лицом и подписью доктора З. Фрейда. – Как уже было замечено в предваряющем комментарии к гл. 5, сновидческая реальность в романе носит явные пародийные черты сексуальной символики фрейдистского толкования сновидений, высмеянной Набоковым еще в берлинском эссе

«Что всякий должен знать?» (1931). К примеру, д-р Александер «ощупывает свисающие гири» напольных часов, пистолет и фонарик правительственных агентов Густава и Мака сравниваются с половым членом, а местный «barbok» (ср. тот же корень в «radabarbara») характеризуется в непристойном контексте частной вечеринки как «разновидность пирога с отверстием посередине для растопленного масла». Описывая городской мост и лесистые горы в романе, Набоков тоже мог исходить из того специфического значения, какое Фрейд придавал ландшафтам во снах: «Совершенно очевидно также, что все виды оружия и инструменты используются как символы мужского члена: плуг, молоток, ружье, револьвер, кинжал, сабля и т. д. <...> Также во многих ландшафтах в сновидениях, особенно таких, где имеются мосты и поросшие лесом горы, легко можно распознать изображение гениталий» (Фрейд З. Собр. соч.: В 10 т. Т. 2. С. 363). В Предисловии к роману Набоков делает дежурную оговорку о том, что «на всех моих книгах должен стоять штамп: “Фрейдисты, руки прочь”».

С. 140. ...два популярных романа («Брошенные розы» и «На Тихом Дону без перемен»). – Как Набоков отметил в Предисловии, первая книга призвана напомнить бестселлер М. Митчелл (1900–1949) «Унесенные ветром» (1936), название которого («Gone with the Wind») заимствовано из стихотворения Э. Доусона (1867–1900) «Non sum quails eram bonae sub regno Cynarae» (1891): «I have forgot much, Cynara! gone with the wind, / Flung roses, roses riotously with the throng <...>» (The Oxford Book of English Verse, 1250–1918. P. 1087). Отсюда же Набоков, в свою очередь, заимствует название для придуманного им романа «Брошенные розы» («Flung roses»). Свое стихотворение Доусон назвал по строчке оды Горация «Non sum quails eram bonae sub regno Cynarae» («Я не тот, что под игом был / У Цинары моей кроткой!» – Оды. IV, 1. Пер. Г. Ф. Церетели). Название второго бестселлера характерным для «Незаконнорожденных» образом смешивает русскоязычное произведение с немецким – «Тихий Дон» (1932; 1940) М. Шолохова (1905–1984) с романом Э. М. Ремарка (1889–1970) «На Западном фронте без перемен» (1929).

«Как почивали?» – В оригинале эта фраза приводится по-русски латиницей как перевод соответствующего английского вопроса, что подчеркивает русскоязычность Максимова.

С. 142. ballonas – от ит. ballo (бал). См. коммент. к гл. 5.

С. 143. кнакерброд – от швед. knäckebröt (хрустящие хлебцы), смешанного с англ. cracker (крекер) и «бутерброд» – русским заимствованием из нем. Butterbrot (хлеб с маслом).

«Я, собственно, уже вчера хотел...» – Фраза в оригинале написана по-русски латиницей.

С. 144. Yer un dah [вздор]. – Набоков отсылает к популярной, но ложной этимологии русского слова «ерунда», якобы происходящего от нем. выражения hier und da (тут и там). Такое мнение высказал Н. С. Лесков в заметке «Откуда пошла глаголемая “ерунда” или “хирунда”» (1884): «Конечно, – писал В. В. Виноградов, – каламбурное объяснение из немецкого hier und da, предложенное Н. С. Лесковым, не

выдерживает критики. Оно опровергается и стилистическим употреблением слова “ерунда”, и его социальной историей, которая не возводит начала этого выражения к речи петербургских немцев» (Виноградов В. В. История слов. М., 1999. С. 154).

С. 145. ...мой вес в Ra... – Ra – радий, металл с очень высоким атомным весом. Возможна отсылка к стихотворению В. Маяковского «Разговор с фининспектором о поэзии» (1926): «Поэзия – та же добыча радия. / В грамм добыча, в год труды. / Изводишь единого слова ради / тысячи тонн словесной руды» (Маяковский В. В. Избранные произведения: В 2 т. / Сост., примеч. В. О. Перцова и В. Ф. Земскова. М.–Л.: Советский писатель, 1963. Т. 2. С. 123).

С. 146–147. Стил*ь*, begonia [блеск] <...> отвести моего короля подальше... – Набоков обыгрывает название растения бегония королевская (*Begonia rex*), данное по имени французского интенданта Сан-Доминго и натуралиста М. Бегона (1638–1710); широкие листья королевской бегонии отливают блеском. Возможна ассоциация с русскими словами «бег» и «побег» и английским разговорным выражением «be gone» («исчезни»), связанными с темой беседы Максимова об отъезде Круга из страны. Некоторое время Набоков намеревался назвать «Незаконнорожденных» по своему незавершенному русскому роману «*Solus Rex*» (термин шахматной композиции: Одинокий король).

С. 152. ...седобородый человек, похожий на Уолта Уитмена... – Уолт Уитмен (1819–1892) – американский поэт и публицист, автор поэтического сборника «Листья травы» (1855). Это упоминание может быть связано не только с рядом отсылок в романе к американской культуре и истории, но и с Шекспиром. Набоков оставляет скептическое замечание об Уитмене и его отношении к Шекспиру в рецензии 1941 г. (или 1942 г.) на сборник статей Э. Талера «Шекспир и демократия» («*Shakespeare, the Professors, and the People*»). Сама ведущая тема сборника имеет отношение к изложенной в гл. 7 романа Набокова идеологической трактовке «Гамлета», особенно в свете того, что Талер на примере этой пьесы приводит злободневные газетные высказывания: «Во время любого кризиса, – писала газета “Time” 4 сентября 1939 г. (на следующий день после объявления войны), – англичане жаждут услышать подходящую цитату из Шекспира. На прошлой неделе лондонская “News Chronicle” сделала большое одолжение публике, обнаружив в “Гамлете” (акт IV, сц. 4) следующее: “На всю ли Польшу вы идете, сударь, / Иль на какую-либо из окраин?” – Да, она уже вся оккупирована» (Thaler A. *Shakespeare and Democracy*. Knoxville: The University of Tennessee Press, 1941. P. 27. Пер. мой). Вторая статья сборника носит название «Шекспир и Уолт Уитмен» и начинается с рассмотрения высказываний Уитмена о Шекспире, о чем говорится уже в первой статье, «Шекспир и демократия». Талер сначала приводит замечание из предисловия Уитмена «Оглядываясь на пройденные дороги» к сб. «Ноябрьские ветви» (1888): «Даже Шекспир, которым так наполнена современная литература и искусство (и которые действительно в значительной мере выросли из него), по сути, принадлежит похороненному прошлому» (Whitman W. *A Backward Glance O'er Travel'd Roads // Leaves of Grass*. N. Y.: Doubleday, Page and Company, 1920. Vol. III. P. 53. Пер. мой). Затем из статьи Уитмена «Демократические дали» (1871): «<...> щедрый Шекспир, великолепный,

как солнце, живописец и певец феодализма на закате его дней, блещущий избыточными красками, распоряжающийся, играющий ими по прихоти» (Чуковский К. Мой Уитмен. М.: Прогресс, 1969. С. 248. Пер. К. И. Чуковского); «Великие поэтические произведения, включая Шекспира, отравляют представление о гордости и достоинстве простых людей, о жизненной силе демократии» (пер. мой). Набоков в своей рецензии отвечает на это: «За исключением тех случаев, когда изучение шекспировского текста представляет собой полный приключений научный поиск, проводимый теми, кто разбирается в прелестях Первого и Второго кварто и Первого фолио, интерес читателя обычно переключается с Шекспира на характер того или иного комментатора, применяющего свою собственную философию к более или менее неверно прочитанным пьесам. И обнаруживаешь, что больше увлечен тем, что Уолт Уитмен, согласно проф. Талеру, думал о Шекспире (если это можно назвать размышлениями), чем бесполезным вопросом, а был ли Шекспир или не был тем, что о нем думал Уитмен» (Think, Write, Speak. Uncollected Essays, Reviews, Interviews and Letters to the Editor by Vladimir Nabokov / Ed. by B. Boyd and A. Tolstoy. N. Y.: Alfred A. Knopf, 2019. P. 174. Пер. мой).

С. 153. ...обращаясь к студенту в синей шапочке... – Имеется в виду bluecap или blue bonnet – разновидность мягкой шерстяной шапки, которую в старину носили шотландские рабочие и фермеры. См. коммент. к с. 166.

С. 154. ...и она была особенно ценна тем, что нашлась так далеко от дома. – В рукописи вместо этого следует отдельное (невычеркнутое) предложение с новым намеком на энтомологические занятия автора-американца, исключенным на более поздних стадиях подготовки романа: «Очевидно, она была особенно привлекательна скорее своим местоположением, чем состоянием, точно так же как бабочка монарх, пойманная в Ирландии, ценнее такой же бабочки, пойманной в штате Нью-Йорк». Имеется в виду данаида монарх из семейства нимфалид, одна из самых известных бабочек Северной Америки, которая в Европе встречается во время миграций.

С. 161. ...rudobrustki или зарянок [небольшие птички, родственные дроздам]... – От англ. ruddock (зарянка, малиновка) и breast (грудь), а также рус. руда (значения которого: «кровь», «красный» – ср. с «laderod karpe» в следующей главе).

С. 164. ...в средневековых карпен... – См. коммент. к с. 186.

С. 165. Носящее такое подходящее название озеро... – Как уже было сказано, название озера образовано от фр. malheur (несчастье, горе).

В седьмой главе романа Набоков обращается к обсуждению личности и искусства У. Шекспира и его лучшей, по мнению писателя, пьесе – «Гамлету» (1603). До Набокова «Гамлету» отводили значительное место в своих романах И.–В. Гёте («Годы учения Вильгельма Мейстера») и Дж. Джойс («Улисс», Ч. II, эп. 9). Джойс начинает свой эпизод о шекспировском диспуте в дублинской библиотеке с иронических похвал в адрес «Вильгельма Мейстера». Оба эти произведения либо цитируются, либо учитываются в романе Набокова, который таким образом демонстрирует свою связь с европейской литературной традицией на американской почве и полемизирует как с историко-социальными интерпретациями пьесы, так и с толстовским отрицанием ее высоких художественных достоинств, высказанным в статье «О Шекспире и о драме» (1906).

Знакомство Набокова с Шекспиром относится к юношеским годам. В петербургской домашней библиотеке Набоковых имелись книги из серии «Храм Шекспира» («The Temple Shakespeare») лондонского издательства «J. M. Dent & Co», среди которых был и томик «Гамлета», сохранивший карандашные пометки предположительно Набокова или его отца (Верижникова Т. Ф. Владимир Набоков и искусство книги Англии рубежа веков: «Храм Шекспира» в библиотеке В. Д. Набокова // Набоковский вестник. 1998. Вып. 1. С. 203–204).

Таинственная фигура Шекспира привлекала Набокова задолго до переезда в Америку и перехода на английский язык – в 1924 г. он опубликовал длинное стихотворение «Шекспир», посвященное загадке личности английского барда («...скрыл навек чудовищный свой гений / под маской <...>»; «Ты здесь, ты жив – но имя, / но облик свой, обманывая мир, / ты потопил в тебе любезной Лете. / И то сказать: труды твои привык / подписывать – за плату – ростовщик, / тот Вилль Шекспир, что “Тень” играл в “Гамлете”, / жил в кабаках и умер, не успев / переварить кабанью головизну...» – Набоков В. Стихи. С. 209–210). В 1930 г. он перевел на русский язык два отрывка из «Гамлета» и монолог принца; позднее предполагал перевести трагедию полностью, о чем свидетельствуют архивные рукописные материалы и фрагменты перевода, частично использованные Набоковым в этой главе романа. Именно в переводческих (или академических) видах он, по-видимому, штудировал двухтомное комментированное издание «Гамлета» под редакцией Г. Г. Фэрнеса (1833–1912), положившего начало новой серии шекспировских изданий (т. н. «Новый Вариорум»), из которого перенес в «Незаконнорожденных» немало разных сведений, касающихся как толкования отдельных мест трагедии, так и интерпретаций ее замысла.

Судя по рецензии Набокова «Shakespeare, the Professors, and the People» 1941 г. (или 1942 г.) на сборник статей Э. Талера «Шекспир и демократия», в которой он привел замечание шекспироведа Джона Д. Уилсона о «Гамлете» из его книги «Что происходит в “Гамлете”» (1936), ему было близко представление о различных сюжетных и текстуальных тонкостях, темных или откровенно загадочных высказываниях, намеренно введенных Шекспиром в эту пьесу. В частично процитированном Набоковым отрывке Дж. Д. Уилсон писал: «“Гамлет” – величайшая из популярных драм, и только благодаря этому он удерживается на сцене уже три столетия. Но он, кроме того, полон “необходимых намеков”, которые пропадают втуне для “бесплодных

зрителей”, но которые не должны были, по мысли их создателя, заслоняться от понимающих зрителей клоунадой и переигрыванием. Есть, к примеру, в репликах Гамлета игра слов, по большей части с двойной или тройной подоплекой, недоступной даже самым сообразительным граундлингам. Ее наличие доказывает, что Шекспир мог рассчитывать на определенную часть публики “Глобуса”, на дворян, придворных и проч., способную на лету схватить и оценить практически любую тонкость, на которую он хотел обратить их внимание, и, кроме того, вооруженных, как и сам Гамлет, “таблицами”, чтобы уяснить то, что они не смогли понять сразу или что им особенно хотелось бы запомнить. Подтексты игры слов не волновали подмастерьев, потому что они, как и многие современные редакторы, воспринимали их как бессмысленные высказывания сумасшедшего; но чем дальше вдумчивые зрители размышляли над ними, тем больше в них находили, хотя сомнительно, чтобы кто-нибудь даже во времена Шекспира докопался до сути всего сказанного в “Гамлете”» (Wilson J. D. What Happens in “Hamlet”. N. Y. et al, 1936. P. 18–19. Пер. мой). Такое представление об авторской игре с внимательным читателем можно распространить как на поэтику самих «Незаконнорожденных», так и на приемы комментируемой главы.

После переезда в Америку Набоков в 1940-х гг. читал курс лекций по драматургии, особое внимание уделив «Гамлету», «ослепительной в своей гениальности трагедии-сновидении» («Трагедия трагедии»). Изложенная в этой лекции трактовка пьесы близка филологическому подходу Эмбера и Круга в комментируемой главе романа: «Но мы, читающие пьесу, мы, отказывающиеся смотреть мелодрамы про фарсового короля и его вульгарную жену, которые дурачатся по дороге в ад, мы, кого не трогают эти сентиментальные представления, как и подобные им третьесортные книги, вроде “Хижины дяди Тома” или “По ком звонит колокол”, – мы открыты для того, чтобы нас охватила невероятная красота этого сновидения, – в самом деле, все происходящее в “Гамлете” представляется сновидением принца, который погрузился в него еще прежде, чем корабль, на котором он возвращается домой на каникулы из своего германского университета, достиг берега, и тогда все несообразности пьесы обретают сновидческую логику, которая кроется за логикой жизни. Необыкновенная красота “Гамлета”, возможно, величайшего чуда во всей литературе, содержится не в его фальшивых этических посылах, не в мелодраме, в которую сцена обряжает его, – источник удивления и радости содержится в драматическом духе каждой сновидческой детали, каждого слова <...>» (Набоков В. Трагедия господина Морна. Пьесы. Лекции о драме / Сост., вступ. ст., коммент. А. Бабилова. СПб.: Азбука-классика, 2008. С. 635–636. Пер. мой). В письме к Э. Уилсону от 24 декабря 1945 г. Набоков привел несколько пунктов, в силу которых «Гамлет» остается одной из самых привлекательных пьес для постановки, «даже в отвратительных искаженных версиях, идущих на сцене». В том же письме он от «Гамлета» сразу переходит к «Bend Sinister» и к утопическим идеям Платона (все вместе образовало причудливую амальгаму в одиозной хаммовской трактовке «Гамлета», обсуждаемой в настоящей главе): «Я неистово работаю над романом (и горю желанием показать тебе несколько новых глав). Я терпеть не могу Платона, я ненавижу Лакедемон [Спарту] и все Совершенные Государства» (Dear Bunny, Dear Volodya. The Nabokov – Wilson Letters, 1940–1971 / Ed. by S.

Karlinsky. Berkeley et al.: University of California Press, 2001. P. 180. Пер. мой).

Лучшие русские переводы «Гамлета» зачастую не вполне соответствуют оригинальным цитатам, которые в этой главе с избытком приводит Набоков (прежде всего это относится к полноте передачи содержания и правильного выбора терминов); поэтому для комментария нам приходилось обращаться помимо более точного перевода М. Лозинского и собственного набоковского перевода, к более вольному и модернизированному переводу Б. Пастернака, а в некоторых случаях переводить самостоятельно. Переводы Лозинского обозначены в скобках литерой Л, переводы Пастернака – литерой П; ссылки на издание «Гамлета» в серии «Новый Вариорум» (A New Variorum Edition of Shakespeare / Ed. by Horace Howard Furness. "Hamlet". Vol. I–II. Philadelphia & L., 1918) обозначены литерой F.

С. 166. ...три гравюры. На первой джентльмен шестнадцатого века вручает книгу скромному малому, держащему в левой руке копье и увенчанную лаврами шляпу. Отметьте левостороннюю (sinistral) деталь. <...> На второй гравюре деревенский житель (теперь одетый как джентльмен) снимает с головы джентльмена (теперь пишущего за письменным столом) что-то вроде шапки. – Л. Л. Ли указал источник первых двух гравюр: титульный лист «Криптографии» («Cryptomenytices et Criptographiæ», 1624) Августа Младшего (1579–1666), герцога Брауншвейгского и Люнебургского, князя Брауншвейг-Вольфенбюттеля, известного под псевдонимами Gustavi Seleni, Gustavus Selenus. Э. Дернинг-Лоуренс (1837–1914), ярый сторонник бэконизанской теории в шекспировском вопросе, воспроизвел гравюры из этого издания в книге «Бэкон это Шекспир» (Нью-Йорк, 1910), стремясь на их основе доказать, что пьесы Шекспира на самом деле принадлежат английскому философу и историку Ф. Бэкону (Lee L. L. Vladimir Nabokov. P. 109). Из книги Дернинга-Лоуренса Набоков почерпнул сведения о том значении, какое в спорах об авторстве шекспировских произведений придается левосторонности, копьям, маскам, Друшаутскому портрету Первого фолио и прочей разнообразной символике, будоражащей умы антистратфордianцев. Гравюры из книги Селенуса Дернинг-Лоуренс описал так: «<...> слева (от читателя) – джентльмен, что-то дающий копейщику <...> а внизу, в квадрате, – богато одетый человек, снимающий "Cap of Maintenance" [так называемая в британской геральдике "шапка с горностаем" – церемониальная шапка из малинового бархата, подбитого горностаем, которую носили определенные лица в знак благородства или особой чести] с головы человека, пишущего книгу» (Durning-Lawrence E. Bacon is Shake-Speare. N.Y.: The John McBride Co., 1910. P. 125. Пер. мой). По трактовке исследователя, на первой гравюре Бэкон отдает свои сочинения человеку с копьем (Шекспиру, Shake-Spear – Потрясающий Копьем) в актерских сапогах и с лавровой веточкой в шляпе, которую он держит в левой руке; на второй – Бэкон левой рукой снимает церемониальную шапку с головы пишущего за столом Шекспира (Ibid. P. 129).

Стоит заметить, что, глядя на гравюру, нельзя сказать наверняка, снимает ли джентльмен шапку с головы пишущего или, наоборот, надевает шапку ему на голову. Нельзя сказать и того, был ли Набоков согласен с такой трактовкой Дернинга-Лоуренса и не привел ли ее в

виде курьеза, подобного следующему далее в этой главе изложению «истинного замысла» «Гамлета», высмеиваемого Эмбером и Кругом. Как бы там ни было, в конце романа сюжет с шапкой повторяется: Круг снимает шляпу богато одетого старейшины Шамма и надевает себе на голову. Шамм в этой сцене описан как старинный дворянин: «импозантная особа в медном нагруднике и широкополой шляпе черного бархата с белым плюмажем [wide-brimmed white-feathered hat of black velvet]». Похожую шляпу в романе носит сам Круг: «скинул пальто и повесил на крючок черную фетровую шляпу с широкими полями [wide-brimmed black felt hat]. Эта широкополая черная шляпа, которая больше не чувствовала себя дома, сорвалась и осталась лежать на полу» (гл. 3). Она вновь упоминается в гл. 6: «Шляпу Давида найти не удалось, и Круг отдал ему свою – черную, с широкими полями, но Давид все время снимал ее...». В лавке Квиста она оказывается под столом (гл. 15). В конце последней главы Круг, привезенный во двор школы без головного убора, «дотянулся до Шаммовой шляпы и ловко нахлобучил ее на собственные лохмы [reached for Schamm's headgear and deftly transferred it to his own locks]». В сознании безумного Круга она тут же превращается в «котиковый бонет маменькиного сынка [a sissy sealskin bonnet]» – что напоминает подбитую горностаем церемониальную шапку, предположительно изображенную на гравюре в книге Селенуса. Бонет связывается у Набокова с «синей шапочкой» студента Фокуса (гл. 6), революционера-подпольщика, замеченного Кругом незадолго до ареста Максимовых («девушка с резкими жестами недоумения и тревоги быстро говорила ("возмездие... бомбы... трусы... о, Фокус, будь я мужчиной..."), обращаясь к студенту в синей шапочке [blue-capped student]»), поскольку именно так (bluecap или blue bonnet) назывался традиционный шотландский головной убор. Кроме того, «бонет» еще и название геральдической фигуры в виде «шапочки из малинового бархата внутри короны» (Parker J. A Glossary of Terms Used in Heraldry. A New Edition. Oxford & L., 1894. P. 71), что вновь возвращает нас к церемониальной шапке из малинового бархата и в чем усматривается связь с названием романа и его историко-геральдическими мотивами.

Чрезмерное внимание, какое в романе уделяется головным уборам и прежде всего мужским шляпам, может быть следствием ироничного набоковского отклика на фрейдистское толкование образа шляпы (особенно широкополой) в сновидениях как символа мужского полового органа, к примеру: «шляпа с криво сидящим пером посередине символизирует (импотентного) мужчину» (Фрейд З. Толкование сновидений / Пер. с третьего дополненного немецкого издания М. К. С. 225).

Ах, «вот в чем вопрос», как заметил мосье Омэ, цитируя *le journal d'hier*... – Подразумеваются слова аптекаря Омэ в «Госпоже Бовари» Г. Флобера, неосознанно цитирующего монолог Гамлета в разговоре с Шарлем Бовари о здоровье Эммы: «Вот в этом-то и весь вопрос! Вопрос действительно сложный! That is the question, как было написано в последнем номере газеты» (Флобер Г. Собр. соч.: В 4 т. Т. 1. С. 248. Пер. Н. Любимова).

...вопрос, на который бесстрастным голосом отвечает Портрет на титульной странице Первого фолио. – Имеется в виду Друшаутский

портрет Шекспира, известный по гравюре М. Друшаута и напечатанный на титульной странице Первого фолио (1623). В оригинале фраза «in a wooden voice» отсылает к выражению «wooden language» – язык околичностей, тавтологий, напыщенных слов, служащий для отвлечения внимания от важных вопросов (фр. «langue de bois» – т. н. в политике «дубовый язык»).

...«Ink, a Drug» <...> «Grudinka» [грудинка], что на некоторых славянских языках означает «бекон». – Г. Барабтарло указал, что Набоков мог здесь предполагать аллюзию к Дж. Джойсу в связи с Шекспиром, анаграммой и словом «bason» (бекон): «В старом комментарии к “Улисс” [С. Гилберта] <...> имеется любопытный пассаж, сразу перед шестой главой, “Сцилла и Харибда”. Заканчивая разбор завтрака, Гилберт упоминает “Финнегановы поминки”, где, многократно укрупняя тот же самый прием, что и в “Улиссе”, Джойс прямо показывает переваривание пищи посредством спунеризмов и анаграмм. И вот, в мешанине всяких “kates and eras <...>”, которые, прежде чем быть пережеваны, были, соответственно, “steak” (мясом), “peas” (горохом) <...> находим и “nabos” – и уж, конечно, это слово должно было задержать на себе взгляд Набокова <...>. Этот “nabos” появляется, повторяю, на расстоянии всего в несколько строк от главы о Шекспировом эпизоде “Улисса”, и Набоков легко мог высмотреть здесь для себя нужный код для обозначения темы призрачного авторства Бэкона и споров о личности Шекспира <...>» (Барабтарло Г. Сверкающий обруч. С. 74–75). Издание, о котором идет речь: Gilbert S. James Joyce's Ulysses. L.: Faber & Faber, 1930 (p. 207).

Фраза, кроме того, как замечено в комментариях Р. Алладае (Erc, 1589), содержит анаграмму «I and Krug» («Я и Круг» – или «Krug and I»), что отвечает теме авторского присутствия в романе.

схолия – ученый комментарий к произведениям древних классиков.

С. 167. шапска – шуточный каламбур Набокова, соединяющий «шапку» с «Шакспером» в духе любительских поисков всевозможных указаний на мистификацию с авторством Шекспира (ср. далее: «27 ноября 1582 года он – Шакспер, а она – Уэйтли из Темпл-Графтона. Несколько дней спустя он – Шагспир, а она – Хатауэй из Стратфорда-на-Эйвоне»).

«Ham-let, or Homelette au Lard» [«Ветчинка, или Омлет с салом»]. – Обыгрывается англ. ham (ветчина), фр. omelette (омлет) и Hamlet (Гамлет), шуточно намекающие на омлет с беконом (т. е. «Гамлет» с Бэконом). Здесь, кроме того, заметна отсылка к шекспировскому эпизоду «Улисса», где высмеивается афиша французского провинциального театра, искажающая оригинальное название трагедии: «Hamlet ou le Distract» («Гамлет, или Рассеянный») (Joyce J. Ulysses. P. 239). Там же Джойс иронично отзываясь о бэкониианской теории: «Старина Бэкон: уже весь заплесневел. Шекспир – грехи молодости Бэкона. Жонглеры цифрами и шифрами шагают по столбовым дорогам. Пытливые умы в великом поиске» (Джойс Дж. Дублинцы. Улисс. С. 448).

Наконец третья изображает дорогу, идущего путника в украденной шапске и дорожный указатель: «В Хай-Уиком». – Источник третьей

гравюры Ли обнаружить не удалось (Lee L. L. Vladimir Nabokov. P. 109). Мы согласны с мнением Р. Боуи ("Bend Sinister" Annotations: Chapter Seven and Shakespeare. P. 32), что Набоков придумал эту гравюру на основе верхней части первой гравюры из книги Селенуса – путник (в шапке) с копьем на плече и дорожным мешком за спиной, уходящий из города. Хотя указатель с надписью, по-видимому, добавлен к этому рисунку воображением Набокова, Хай-Уиком, город в графстве Бакингемшир, действительно был целью пешего путешествия Шекспира из Стратфорда в Лондон, более короткая дорога в который вела через Оксфорд и Хай-Уиком.

Дождливом утром 27 ноября 1582 года он – Шакспер, а она – Уэйтли из Темпл-Графтона. Несколько дней спустя он – Шагспир, а она – Хэтауэй из Стратфорда-на-Эйвоне. – Набоков приводит реальные расхождения в написании имен Шекспира и его жены Энн Хэтауэй (1555 или 1556–1623) при заключении брака. «Брак, который, как мы полагаем, последовал из-за беременности Энн и настойчивости двух уорикширских фермеров, которые взяли на себя поручительство за его законность, покрыт некоей тайной. За день до поручительства, которое весьма тщательно запротоколировано, брачное свидетельство было подписано между неким Уильямом Шакспиром и некоей Энн Уэйтли из Темпл-Графтона. Это четко зафиксировала приходская книга епископа Вустерского. Мало сомнений в том, что этой "Шакспир" была Энн Хэтауэй "Шагспира", но некоторые вообще сомневаются в существовании такой личности, как Энн Уэйтли, и, зная орфографические фантазии тюдоровских писцов, утверждают, что "Уэйтли" является каким-то необычным вариантом фамилии "Хэтауэй". Но Энн Хэтауэй прибыла из Шоттери, а не из Темпл-Графтона, и никакая фантазия не способна превратить одно место в другое, географически или орфографически» (Берджесс Э. Уильям Шекспир. Гений и его эпоха / Пер. Г. В. Бажановой. М., 2001. С. 71).

Уильям Икс, искусно составленный из двух левых рук и маски. – Частичная цитата из книги Дернинга-Лоуренса, приведшего увеличенное изображение Друшаутского портрета Шекспира, который, по мнению исследователя, «искусно составлен из двух левых рук и маски» (Durning-Lawrence E. Bacon is Shake-Speare. P. 23). О том же говорится и далее: «Особо отметим, что Бэкон выставляет вперед левую руку, изображая фигуру, держащую книгу <...>. В предыдущей части этой работы автор доказал, что фигура, изображенная на фронтисписе большого собрания пьес Шекспира, известная как Друшаутский портрет У. Шекспира, на самом деле состоит из двух левых рук и маски» (Ibid. P. 130. Пер. мой).

Человек, заметивший (не первым), что слава Божия в том, чтобы что-то спрятать, а слава человека – чтобы это найти. – Притчи (25:2): «Слава Божия – облекать тайною дело, а слава царей – исследывать дело». Как отметили Р. Боуи ("Bend Sinister" Annotations: Chapter Seven and Shakespeare. P. 33) и Б. Бойд (NaM, 685), это высказывание встречается в работах Ф. Бэкона. В частности, в трактате «The Proficiency and Advancement of Learning, Divine and Human» (1605): «Solomon the king <...> saith expressly, The glory of God is to conceal a thing, but the glory of the king is to find it out» (The Works of Francis Bacon. L., 1803. Vol. I. P. 44). Приведем более пространственный отрывок из поздней латинской редакции этого трактата «0

достоинстве и приумножении наук» («De Dignitate et Augmentis Scientiarum», 1623), примечательный тем, что в нем в связи с притчей Соломона возникают Адам, святой философ (Соломон) и детские игры (один из важных мотивов романа, связанный с Давидом): «Ведь не то чистое и незапятнанное знание природы, в силу которого Адам дал вещам названия по их свойствам, было началом и причиной падения; тщеславная и притязательная жажда морального знания, судящего о добре и зле, – вот что было причиной и основанием искушения к тому, чтобы человек отпал от Бога и сам дал себе законы. О науках же, созерцающих природу, святой философ говорит так: “Слава Бога – в том, чтобы скрывать, слава же царя – в том, чтобы открывать”, не иначе как если бы божественная природа забавлялась невинной и дружелюбной игрой детей, которые прячутся, чтобы находить друг друга, и, в своей снисходительности и доброте к людям, избрала себе товарищем для этой игры человеческую душу» (Бэкон Ф. Сочинения: В 2 т. / Сост., вступ. ст. А. Л. Субботина. М.: Мысль, 1977. Т. 1. С. 67. Пер. Н. А. Федорова).

...тот факт, что пьесы написал уроженец Уорикшира, убедительнее всего доказывается на основании «яблока св. Иоанна» (со сморщенной кожицей) и бледной примулы. – Растения из округа Стратфорд-на-Эйвоне, упомянутые Шекспиром в его произведениях. С яблоком св. Иоанна (или по-французски *deux-années*, названного так, потому что его держат два года, пока не сморщится) себя сравнивает Фальстаф в «Генрихе IV». Здесь Набоков возражает антистратфордianцам, обращая по своему обыкновению внимание на художественные детали из мира природы.

С. 168. ...тоже слег с простудой [*ist auk beterkeltet*], но мы вернулись [*zueruk*]... – Искривленные нем. *ist auch erkältet* (тоже простуженный), *Bett* (постель, кровать), *zurück* (возвращение; назад).

С. 169. ...обладают необходимой для роли телесной полнотой. – 0 полноте Гамлета в пьесе говорит Королева во время его поединка с Лаэртом.

...бессвязное бормотание традиционного перевода (Кронеберга)... – Русский переводчик и шахматист А. И. Кронеберг (1814–1855) опубликовал свою версию «Гамлета» в 1844 г. Он, по-видимому, стал одним из прототипов Конмаля, переводчика Шекспира в «Бледном огне» Набокова.

Верн. – Р. Боуи указал, что имя театрального постановщика Набоков образовал от имени немецкого критика Г. А. Вернера, со взглядами которого в статье «*Ueber das Dunkel in der Hamlet-Tragödie*» («О темноте в трагедии “Гамлет”», 1870) познакомился в указанном издании Фэрнеса.

С. 170. ...в презанятом исследовании покойного профессора Хамма «Истинный сюжет “Гамлета”». – В рукописи имя профессора – Гамбургер. И «*Hamburger*», и «*Hamn*» намекают, кроме уже обыгранной в связи с Ф. Бэконом ветчины/грудинки (*ham/bacon*) и *Hamlet*'а, на англ. *ham actor* (плохой актер) и предвосхищают невежественного датского биографа Хамлета (Хама) Годмана из последнего завершеного романа Набокова

«Взгляни на арлекинов!» (1974). Р. Боуи отметил, что некоторые идеи вымышленного Хамма заимствованы Набоковым из комментариев Фэрнеса к «Гамлету» (т. II), в частности, у немецкого автора Ф. Горна, истолковавшего пьесы Шекспира в труде «Shakespeare's Schauspiele erläutert» («Истолкование пьес Шекспира», 1823–1831). Далее мы приведем соответствующие места из этого сочинения Горна по изданию Фэрнеса.

Фортинбрас (Железнобокий). – Фэрнес приводит мнение Р. Латама о том, что Fortinbras – «это искаженная французская форма, эквивалентная Fierumbras или Fierabras, производная форма от ferri brachium; переводя brachium, бок, мы получим Железнобокий <...>» (F, vol. I, p. 14. Здесь и далее во всех случаях перевод из этого издания мой). По другой версии, имя произведено от англ.-фр. fort in bras – «сильный в руке» (Butler's Miscellanies: Trial by Jury, the Philosophy of Composition, and Other Pieces. Louisville: John P. Morton and Co., 1880. P. 90).

...что предвещается, то должно быть воплощено: потрясение должно произойти... – Отсылка к словам Горация: «Но в общем, вероятно, это знак / Грозящих государству потрясений» (акт I, сц. 1. П). Набоков мог иметь в виду известное положение А. П. Чехова о том, что висящее на стене в первом акте ружье в последнем акте должно выстрелить.

...перенесение акцента с этой здоровой, энергичной и ясной нордической темы на хамелеонские настроения датчанина-импотента... – Вульгарная, отчасти психоаналитическая трактовка образа Гамлета напоминает разбор пьесы в «Толковании сновидений» З. Фрейда, считавшего, что принц страдал эдиповым комплексом: «Драма построена на том, что Гамлет колеблется осуществить выпавшую на его долю задачу мести; каковы основы или мотивы этого колебания, – на этот счет текст не говорит ничего, – и многочисленные попытки толкования драмы дали очень мало в этом отношении. <...> Гамлет способен на все, только не на месть человеку, который устранил его отца и занял его место у матери, человеку, воплотившему для него осуществление его оттесненных детских желаний. Ненависть, которая должна была бы побудить его к мести, заменяется у него самоупреками и даже угрызениями совести, которые говорят ему, что он сам, в буквальном смысле, не лучше, чем преступник, которого он должен покарать. <...> Сексуальное отвращение, которое Гамлет высказывает в разговоре с Офелией, играет здесь решающую роль, – то самое сексуальное отвращение, которое в последующие годы все больше и больше овладевало душою Шекспира до своего окончательного завершения в «Тимоне Афинском». В «Гамлете» воплощается, разумеется, лишь собственная душевная жизнь поэта <...>» (Фрейд З. Толкование сновидений / Пер. с третьего дополненного немецкого издания М. К. С. 204–205).

Каковы бы ни были намерения Шекспира или Кида... – Английскому драматургу Т. Киду (1558–1594) приписывается авторство утерянной пьесы «Гамлет» (т. н. «Пра-Гамлет»), ставшей, вероятно, одним из источников шекспировской трагедии.

С. 170–171. ...солдат, коему не должно бояться ни грома, ни тишины,

заявляет, что у него “тоска на сердце”! – Слова солдата Франциско офицеру Бернардо: «я озяб, / И на сердце тоска» (акт I, сц. 1. П).

С. 171. Сознательно или бессознательно, автор “Гамлета” создал трагедию масс и, таким образом, обосновал верховенство общества над индивидом. – Из статьи Вернера: «Оставив позади все проторенные пути, он создал трагедию масс, которая, опираясь на только что возникшее народное сознание, обосновала верховенство общества над индивидом» (F, vol. II, p. 342).

Настоящий герой пьесы, конечно, Фортинбрас, – цветущий молодой рыцарь, прекрасный и здравомыслящий до мозга костей. – Слегка измененная цитата из труда Ф. Горна: «Но пришло время явиться другому, более значительному человеку, потому что без него пьесе, несомненно, пришел бы конец. Чтобы успокоить нас, на сцену выходит цветущий молодой герой, прекрасный и здравомыслящий до мозга костей – Фортинбрас, принц Норвегии» (F, vol. II, p. 282).

С. 171–172. ...дегенеративный король Гамлет и жидо-латинец Клавдий. <...> шейлоками крупных финансовых операций... – Характерные для нацистской антисемитской риторики выпады. Латинец – общее название жителей западной части Европы в период Крестовых походов в противоположность «грекам», жителям восточной Европы. Шейлок – еврей-ростовщик в пьесе Шекспира «Венецианский купец» (1598).

С. 171. Как свойственно всем упадочным демократиям, датчане в пьесе поголовно страдают преизбытком слов. <...> и простое слово <...> должно воцариться вновь. – Ф. Горн: «При более внимательном изучении этой нескончаемой драмы выясняется, что почти все действующие лица в ней страдают преизбытком слов, и по этой причине произнесенное слово теряет для них свою целительную силу. Если нужно спасти государство и начать новую жизнь, все это должно быть изменено, и простое слово, сопровождаемое соответствующим действием, должно воцариться вновь» (F, vol. II, p. 283).

...изысканную икру лунного света... – По замечанию Б. Бойда, отсылка к словам Гамлета к Первому актеру: «Я слышал, как ты однажды читал монолог, но только он никогда не игрался; а если это и было, то не больше одного раза, потому что пьеса, я помню, не понравилось толпе; для большинства это была икра; но это была <...> отличная пьеса» (акт II, сц. 2. Л).

Юный Фортинбрас обладает уходящими в древность притязаниями и наследственными правами на датский трон. – Некоторое преувеличение. «Почему именно Фортинбрас становится наследником датской короны? Во-первых, он имеет на это некоторое формальное право, поскольку земли его отца отошли во владение датских королей. <...> Для Гамлета государство есть то, чем оно было для гуманистов, – власть, устраняющая анархию и беззаконие, обуздывающая личный произвол. Для Фортинбраса – оно средство удовлетворить его честолюбие; ему нужны земли и власть, чтобы подкрепить наследственный царственный титул» (Аникст А. Трагедия Шекспира «Гамлет». Литературный комментарий. М.: Просвещение, 1986. С. 160–170).

С. 172. Для завоевания Польши <...> трех тысяч крон и приблизительно недельного досуга было бы мало... – «На радостях старик ему назначил / Три тысячи червонцев ежегодно / и разрешил употребить солдат, / уже им снаряженных, против Польши» (акт II, сц. 2. Л).

...слова “вперед, не торопясь” (которые он шепнул своим солдатам, послав Капитана поприветствовать Клавдия)... – Слова Фортинбраса «go softly on» (акт IV, сц. 4) в разговоре с Капитаном и солдатами. После этих слов следует ремарка «Фортинбрас и солдаты уходят».

С. 173. граундлинги – зрители из простого люда, смотревшие представления в театре «Глобус», стоя перед сценой, на дешевых местах.

Нет, “кары” не были случайными, “убийства” не были столь уж нечаянными... – Из слов Горацио в финале пьесы: «то будет повесть / Бесчеловечных и кровавых дел, / Случайных кар, негаданных убийств» (акт V, сц. 2. Л).

Горацио Протоколист. – Умирая, Гамлет просит Горацио: «всех событий / Открой причину»; после этого Горацио говорит: «И я скажу незнающему свету, / Как все произошло» (акт V, сц. 2. Л).

...“Ха-ха, добыча эта вопиет о бойне” <...> озирающего богатый трофей мертвецов... – Слова Фортинбраса «This quarry cries on havoc» сказаны без смеха (акт V, сц. 2); здесь нам потребовалось перевести фразу самостоятельно, так как ни Лозинский, ни Пастернак (ни Кронеберг) не передали необходимый по контексту охотничий термин «quarry».

“Так-так, старый крот неплохо поработал!” – Слова Гамлета в адрес отца-призрака: «Так, старый крот! Как ты проворно роешь!» (акт I, сц. 5. Л); Хамм приписывает их Фортинбрасу в связи со сказанным выше в адрес Норвежца «роет яму».

С. 174. “Побежала пигалица со скорлупкой на макушке” – слова Горацио об Озрике (акт V, сц. 2. Л).

os – кость (лат.).

Смешивая язык ссудной лавки и парусной посуды... – По замечанию Р. Боуи, каламбур Набоков позаимствовал из комментария Дж. Д. Уилсона об Озрике, который говорит как «лавочник, расхваливающий свой товар» и «оставляет язык лавки ради языка парусного судна» («he deserts language of the shop for that of the ship») (The Works of Shakespeare. “Hamlet” / Ed. by J. D. Wilson. Cambridge: University Press, 1934. P. 245).

Падук или Падок. – См. коммент. к с. 113.

С. 175. ...Круг рассказывает ему об одном любопытном субъекте, своем попутчике в Соединенных Штатах... – Как следует из письма Набокова к Уилсону от 18 января 1944 г., у этого загадочного персонажа, описываемого далее, как «потрепанный человек с ястребиным лицом» и как «человек-ястреб», был прототип, имя которого, мы, по-видимому,

уже никогда не узнаем. Посылая Уилсону первые главы «Человека из Порлока», Набоков заметил: «один мой попутчик во время литературной беседы, состоявшейся у нас посреди дебрей Вирджинии в мужском салоне поезда, произвольно скаламбурил: “...этот гай Мопассан...”» (Dear Bunny, Dear Volodya. The Nabokov – Wilson Letters, 1940–1971. P. 136. Пер. мой). Англ. guy (малый, парень) пишется так же, как фр. Guy (Ги), имя писателя Ги де Мопассана.

Ястребиный лик безымянного попутчика, как заметил Г. Грейбс, отсылает к шекспировской главе «Улисса», где Стивен Дедал вспоминает мифического художника и инженера Дедала, создавшего искусственные крылья, и замечает: «Fabulous artificer. The hawklike man» («Легендарный мастер. Похожий на ястреба человек»). Грейбс, однако, не оценил набоковской шутки, поскольку этот «человек–ястреб», «чья академическая карьера внезапно оборвалась из-за нехоти приключившейся любовной связи», на самом деле, конечно, авторская личина, вновь возникающая в «Лолите» в женском образе Вивиан Дамор–Блок (анаграмма «Владимир Набоков»), соавтора Клэра Куильти. Она предстает в романе «необыкновенно высокой брюнеткой с обнаженными плечами и ястребиным профилем» (Ч. II, гл. 18). В той же сцене «Лолиты», близко от этого описания, замечено, что одну из идей для своей пьесы «Клэр Куильти и Вивиан Дамор–Блок стащили у Джойса». «Человек–ястреб» отсылает и к самоописанию Набокова в поэме «Слава» (1942): «Я божком себя вижу, волшебником с птичьей / головой, в изумрудных перчатках, в чулках / из лазурных чешуй». В автокомментарии к этому месту Набоков заметил: «предложение обращено к тем, вероятно несуществующим, читателям, которым могло бы быть интересно разгадать намек на связь между Сирином, сказочной птицей славянской мифологии, и Сириным, псевдонимом, под которым автор писал между двадцатыми и сороковыми годами» (Набоков В. Стихи. С. 400). В интервью А. Аппелю–мл. 1971 г. Набоков сравнил райскую птицу–деву Сирина с «handsome Hawk Owl» («красивой ястребиной совой»). Таким образом, отсылкой к «Улиссу», с его героем Дедалом, Набоков связывает греческую мифологию со славянской, а птицу Сирина с Дедалом и его сыном Икаром (к слову, автомобиль Гумберта в «Лолите» носит название «Икар»). Подробнее о птичьих коннотациях псевдонима В. Сирина и различных способах, какими он их обыгрывал, прибегая к мистификациям, см.: Бабинов А. А. Участие В. В. Набокова в берлинском альманахе «Тарантас» // Ежегодник Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына, 2024 / Отв. ред. Н. Ф. Гриценко. М.: Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына, 2024. С. 447–479.

Призрачных приматов, завернутых в саваны <...> С луны под капюшоном... – В письме к Э. Уилсону от 9 февраля 1947 г. Набоков указал, что эти стихи не принадлежат Шекспиру, что видно по не соответствующей эпохе метрике. Р. Боуи отметил, что они составлены из нескольких строк первой сцены пьесы («В высоком Риме, городе побед, / В дни перед тем, как пал могучий Юлий, / Покинув гробы, в саванах, вдоль улиц / Визжали и гнусили мертвецы» – Л) и фразы «the mobled queen» (у Набокова «mobled moon») во второй сцене второго акта. Ни «жалкая царица» Лозинского, ни «лохматая царица» Пастернака не передают значения англ. mobled – закутанный, закрытый (Crystal D., Crystal B. Shakespeare's Words. A Glossary & Language Companion. P. 284).

...крепостные стены и башни Эльсинора <...> на площадке перед темным замком. – Детали описания, по наблюдению Б. Бойда, отчасти заимствованы из работы Э. Годвина «Архитектура и костюмы в пьесах Шекспира» (F, vol. II, p. 262–263).

С. 176. ...зеленая звезда светлячка... – Отсылка к словам Призрака: «Уже светляк предвозвещает утро / И гасит свой ненужный огонек» (акт I, сц. 5. Л).

На любимом садовом стуле покойного короля раздувается и моргает жаба. – Т. е. Клавдий – paddock – занял место Датчанина. У Датчанина была привычка спать после обеда в саду, чем и воспользовался Клавдий (НСС, 588).

...петли сероватого дыма образуют плывущее слово «самоубийство». – Отсылка к словам Гамлета: «О, если б этот плотный сгусток мяса / Растаял, сгинул, изошел росой! / Иль если бы предвечный не уставил / Запрет самоубийству!» (акт I, сц. 2. Л).

...Гамлет в Виттенберге, вечно опаздывающий, пропускающий лекции Дж. Бруно... – Упоминаемый далее в этой главе немецкий филолог и переводчик Шекспира Б. Чишвиц (1828–1890) утверждал, что Шекспир для «Гамлета» воспользовался философскими положениями Дж. Бруно (1548–1600), который в 1583–1585 гг. жил в Лондоне и участвовал в диспутах в Оксфордском университете, а в 1586–1588 гг. «читал лекции в университете Виттенберга, то есть в то самое время, когда там учился Гамлет» (F, vol. II, p. 331–332). Чишвиц заметил общее в словах Гамлета о прахе Александра («Александр умер, Александра похоронили, Александр превращается в прах; прах есть земля; из земли делают глину; и почему этой глиной, в которую он обратился, не могут заткнуть пивную бочку?» – акт V, сц. 1. Л) и в теории Бруно (который, надо заметить, в трагедии не упоминается) о том, что «смерти не существует, а есть лишь разделение и комбинации атомов» (Ibid). Близкое словам Гамлета высказывание находим в трактате Бруно «О причине, начале и едином» (1584): «Разве вы не видите, что то, что было семенем, становится стеблем, а из того, что было стеблем, возникает колос, из того, что было колосом, возникает хлеб, из хлеба – желудочный сок, из него кровь, из нее – семя, из него – зародыш, из него – человек, из него – труп, из него – земля, из нее – камень или другая вещь, и так можно прийти ко всем природным формам» (Бруно Дж. Философские диалоги. М., 2000. С. 89. Пер. М. А. Дынника). Р. Боуи усматривает нечто общее между Бруно и самим героем Набокова, философом Кругом, который, подобно итальянскому ученому, противостоял государственной идеологии, что привело к его гибели (“Bend Sinister” Annotations: Chapter Seven and Shakespeare. P. 44).

...Гамлет волочит мертвого Человека-Крысу из-под гобелена... – Перед тем как заколоть спрятавшегося за ковром Полония, Гамлет воскликнул: «Что, крыса?» (акт III, сц. 4. Л). Сцена кончается ремаркой: «Уходят врозь; Гамлет, волоча Полония».

С. 177. ...облаченная в бушлат фигура Гамлета <...> пробирается в каюту,

где в общей койке храпят Розенстерн и Гильденкранц, эти благородные взаимозаменяемые близнецы... – «Накинув мой бушлат, / Я вышел из каюты и в потемках / Стал пробираться к ним» (акт V, сц. 2. Л). Смешение имен придворных и эпитет «благородные» («gentle») – из следующих слов Клавдия и Королевы:

King. Thanks, Rosencrantz and gentle Guildenstern.

Queen. Thanks, Guildenstern and gentle Rosencrantz... (акт II, сц. 2).

“которые пришли исцелить и ушли, чтоб умереть” – вероятно, мнимая цитата, имеющая отношение к словам Клавдия: «Привет вам, Розенкранц и Гильденстерн! <...> Я вас прошу обоих, / Затем, что с юных лет вы с ним росли / И близки с ним по юности и нраву, / Остаться здесь, / Среди нашего двора <...> и разведать <...> чем он подавлен / И что, узнав, мы властны исцелить» (акт II, сц. 2. Л).

...Р., следующего по пятам за молодым Л. по Латинскому кварталу... – Полоний отправляет слугу Рейнальдо во Францию и просит его разузнать о поведении Лаэрта (акт II, сц. 1).

...короля Гамлета, разящего боевым топором поляков, которые скользят и растягиваются на льду. – По наблюдению Р. Боуи, Набоков комбинирует расхождения в изданиях «Гамлета» и разные прочтения темного места в словах Горацио в первой сцене первого акта о сражении Датчанина: «He smote the sledded Polacks on the ice» («...на льду / В свирепой схватке разгромил поляков» – как уклончиво перевел Лозинский). Схожие по написанию слова (sledded pollax – sledded Pollax – leaded poleaxe) и трудный выбор между «боевым освинцованным топором» (leaded poleaxe) или «поляками на санях» (sledded Pollax – Polacks) подробно обсуждаются в издании Фэрнеса (F, vol. I, p. 11–12).

“Les Funérailles” Листа – «Погребальное шествие», фортепианная элегия (1849) Ф. Листа (1811–1886) из цикла «Поэтические и религиозные гармонии». Это упоминание, по-видимому, служит указанием на финал «Гамлета», в последней ремарке которого звучит «похоронный марш».

С. 178. ...как мог бы сказать отец другой русалки, “успохватившейся” – с ивой. – Набоков сравнивает Офелию с русалкой, подразумевая Дж. Джойса и его многоязычную каламбурную технику в «Поминках по Финнегану» (каламбурно переименованных в этой главе под названием «Виннипег Лейк»). В оригинале «wrustling», комбинирующее англ. wrestling (бороться) и rustling (шелестеть, шуршать). Слово «wrust» встречается в «Поминках» во фразе «My wrists are rusty rubbing the mouldaw stains. And the dneepers of wet and the gangres of sin in it!»: «Мои запястья вывернулись / порыжели (wrest / rusty), когда я оттирал пятна плесени. И глубочайшую (dneepers – Днепр / deepest) сырость, и опасный / гангренозный (gangres – Ганг, danger / gangrene) грех, таящийся в них!» (Joyce J. Finnegans Wake. P. 196. Пер. мой). Упоминание Джойсом Днепра (река возникает далее в этой главе) могло привести Набокова на мысль о «Русалке» (1829–1832), незавершенной драме Пушкина (тоже, стало быть, «отца другой

русалки»), действие которой разворачивается на берегу Днепра. К этой драме Набоков написал «заключительную сцену» и опубликовал ее в 1942 г. в «Новом Журнале» (Нью-Йорк).

...прозрачной водной глади. Чтобы запечатлеть, как поток несет листок. – В оригинале «...of the glassy water <...> phloating leaph» продолжает ряд намеков на джойсовскую игру слов в «Поминках»: «I feel a fine lady... floating on a stillstream of isisglass» (Joyce J. Finnegans Wake. P. 486. Курсив мой). Выражение «leaves in the glassy stream», по замечанию Б. Бойда, встречается и в «Гамлете» (акт IV, сц. 7). Ту же роль у Набокова исполняют искаженные слова «phloating leaph» вместо «floating leaf» («f» и «ph» произносятся одинаково и, следовательно, в устной речи Круга неразличимы), подражающие мотиву и игровому приему «Поминок», отсылающему к названию «священной реки Альф» (Alph) в поэме Кольриджа «Кубла Хан, или Видение во сне», к примеру: «A phantom city, phaked of philim pholk <...>» (вместо «faked», «folk») (Ibid. P. 264). Буквосочетание «ph» становится у Набокова и собственным мотивом романа, связанным с именем «Ophelia».

...она пытается дотянуться, старается увенчать завистливый сучок. – Из рассказа Королевы о смерти Офелии: «<...> она взбиралась, вешая на ветви / свои венки; завистливый сучок / сломался <...>» (акт IV, сц. 7. Пер. В. Набокова).

...между современной высокодифференцированной идеей Пульмана... – Набоков имеет в виду пульмановский вагон, названный по имени Джорджа Пульмана (1831–1897), американского изобретателя и промышленника, создателя компании «Пульман», строившей железнодорожные вагоны. Особенностью пульмановского вагона были трансформируемые кресла, которые раскладывались на ночь, образуя спальное место.

...Тополиный каньон или Новый Эйвон... – Малый Тополиный каньон в штате Юта, недалеко от Солт-Лейк-Сити, Набоков посетил в 1943 г., останавливаясь в лыжной гостинице «Альта-Лодж», которой владел его американский издатель Дж. Лохлин (1914–1997), основатель издательства «New Directions». В романе есть и другие отсылки к этому живописному месту. «Новый Эйвон» (в оригинале палиндром Nova Avon) контаминирует название реки Эйвон (Avon), на которой расположен родной город Шекспира, с Новым Афоном, известным своим монастырем и водопадом. Здесь, кроме того, можно усмотреть линию к будущей набоковской «Nova Zembla» в романе «Бледный огонь», в котором Кинбот отвечает одному из профессоров: «Вы меня путаете с каким-то беженцем из Новой Зембли (саркастически подчеркивая “Новой”）」 (Набоков В. Бледный огонь / Пер., предисл., примеч. Веры Набоковой. М.: АСТ: Corpus, 2022. С. 307).

С. 179. “Эй, нон нони, нонни” или какой-нибудь другой старый хвалебный гимн. – Лишенный определенного смысла припев, популярный в английской музыке елизаветинской эпохи. Офелия поет эти слова после смерти отца: «They bore him barefaced on the bier; / Hey non nonny, nonny, hey nonny...» (акт IV, сц. 5).

Да, ее нашел пастух. <...> в точности отвечало его текучести (ср. «Виннипег Лейк», журчание 585, издание «Вико-Пресс»). – Название

вымышленного издательства совмещает «The Viking Press», основанное в Нью-Йорке в 1925 г. и выпустившее первое американское издание «Поминок по Финнегану», с именем итальянского философа Дж. Вико (1668–1744), развивавшего концепцию циклического развития культуры, которая повлияла на Джойса (“Bend Sinister” Annotations: Chapter Seven and Shakespeare. P. 41). Кольцевая композиция отличает не только «Поминки по Финнегану», но и настоящий роман, концовка которого возвращает читателя к началу (как и в рассказе Набокова «Круг», 1934). «Журчание 585» может отсылать к с. 585 в одном из американских изданий «Поминок» (сам номер страницы, с двумя обрамляющими пятерками, подчеркивает идею цикличности – НСС, 591), в которых, как заметил М. Бегнал, пагинация оставалась неизменной. На этой странице, начинающейся с упоминания Нептуна (ср. мост Нептуна в романе Набокова) и «demysell of honour», что напоминает положение Офелии (damsel – молодая незамужняя леди благородного происхождения; maid of honour – подружка невесты), мы находим характерную для последнего романа Джойса «текучую» фразу, близкую по смыслу тому, что Набоков пишет о пастухе и отвечающую мотиву реки (важнейшему в «Поминках»): «Come all ye goatfathers and groanmothers, come on ye markmakers <...> waterworkers <...> All that is still life with death inyeborn» (Joyce J. Finnegans Wake. P. 585). Здесь «goatfathers» («козлиные отцы», козопасы) можно соотнести с набоковским пастухом, «waterworkers» («водные работники») и «death inyeborn» (т. е. death inborn – врожденная, наследственная смерть) с Офелией, потерявшей отца и вскоре после этого утонувшей в реке.

...ее имя может восходить к имени влюбленного аркадского пастушка. – Предположение о том, что имя Офелия заимствовано Шекспиром из пасторального романа итальянского писателя Я. Саннадзаро «Аркадия» (1502), в котором его носит одна из влюбленных пастушек, приводится в комментариях Фэрнеса (F, vol. II, p. 242).

...мы можем вывести его из греческого перевода древнего датского змеиною имени. – Взято из той же части комментариев Фэрнеса: «<...> это слово является греческим переводом древнего датского змеиною имени Ormilda» (F, vol. II, p. 242).

...влажный сон Амлета... – О том, что Шекспир использовал старинную историю Амлета (Amleth), писал Л. Н. Толстой в очерке «О Шекспире и о драме» (1906); немало места хронике Саксона Грамматика «Деяния данов» (XII в.), в которой рассказано о мести принца Амлета, отведено и в комментариях Фэрнеса.

Russalka letheana (Русалка летейская) – псевдонаучное латинское название водной нимфы, якобы обитающей в мифической реке забвения Лете. В «Гамлете» Офелию с русалкой (mermaid) сравнивает Королева: «Одежды / раскинулись широко, и сначала / ее несли на влаге, как русалку» (акт IV, сц. 7. Пер. В. Набокова). Кроме того, летейская тема отсылает к пушкинской «Русалке», с ее сюжетом о мести и завлечении Князя на дно Днепра (Набоков подхватывает ее в своей

«Заключительной сцене к пушкинской “Русалке”»).

...под стать твоим «лиловым змейкам»... – Мы пользуемся переводом Набокова для «long purples» (упомянутое выше растение *Orchis mascula* – ятрышник мужской): «она пришла с гирляндами ромашек, / крапивы, лютиков, лиловой змейки, / зовущейся у вольных пастухов / иначе и грубее <...>» (там же).

С. 180. Она тоже оказалась легкодоступной стряпухой <...>. Офелия, готовая услужить. – В оригинале «a kitchen wench», что, по-видимому, обыгрывает текстуальные расхождения в Фолио и двух Кварто в том же рассказе Королевы о смерти Офелии, соответственно: «poor wretch» («несчастливая», «бедняжка») и гораздо более пренебрежительное «poor wench» («бедная служанка / девка») и «gentle maid» («милая девушка / служанка»). Расхождения отмечены в комментариях Фэрнеса (vol. I, p. 327). «Готовая услужить» («serviceableness») – приведенная Фэрнесом трактовка имени Офелии в работе Дж. Рескина «Munera Pulveris» (1872).

Прекрасная Офелия. – Слова Гамлета («The fair Ophelia») в конце монолога «Быть или не быть».

...и пылко истеричны, и безнадежно фригидны. <...> она продолжала дразнить свой секретик перстом мертвеца. – Ряд намеков эротического характера продолжается отсылкой к приведенному выше монологу Королевы: «она пришла с гирляндами ромашек, / крапивы, лютиков, лиловой змейки, / зовущейся у вольных пастухов / иначе и грубее, а у наших / холодных дев – перстами мертвых» (пер. В. Набокова). Здесь, кроме того, продолжается «психоаналитическая» линия в трактовке пьесы, начатая с «датчанина-импотента».

...я любил ее, как сорок тысяч братьев <...> сорок разбойников (терракотовые кувшины, кипарис, полумесяц как ноготь)... – Слова Гамлета «Я любил Офелию, и сорок тысяч братьев, / свою любовь слагая, мой итог / набрать бы не могли» (акт V, сц. 1. Пер. В. Набокова) совмещаются с арабской сказкой «Али-Баба и сорок разбойников» (эта аллюзия подготовлена «сезамкой», упомянутой в гл. 4 романа).

...мы все ученики Ламорда... – В «Гамлете» Lamond – нормандец, учитель фехтования. Фэрнес приводит различные написания этого имени в изданиях пьесы, среди которых встречается и Lamord (F, vol. I, p. 363). Сам Набоков, как и его отец, занимался фехтованием «с удивительно гуттаперчевым французом Лустало» («Другие берега», гл. 9, подгл. 1).

Он мог бы добавить, что застудил голову во время пантомимы. – Вновь намеков на фригидность Офелии: перед показом пантомимы Гамлет просил у нее позволения положить голову ей на колени: «Прекрасная мысль – лежать между девичьих ног» (акт III, сц. 2. Л).

С. 181. ...l'aurore grelottant en robe rose et verte... – Как указал Б. Бойд, строка из стихотворения Ш. Бодлера «Рассвет» (сб. «Цветы зла», 1857): «В зеленовато-розовом трепещущем наряде / Студеная

заря...» (Пер. П. Ф. Якубовича). Та же строка звучит и в «Аде».

...«Телемах» <...> Гамлет на обратной передаче превращается в сына Улисса, убивающего любовников своей матери. – В этой гомеровской отсылке кроется аллюзия на «Улисса» Джойса, содержащего длинный ряд аналогий с «Одиссеей», и, кроме того, – на идею Стивена Дедала о том, что Призрак в «Гамлете» – это сам Шекспир (Шекспир-актер играл в «Глобусе» именно Призрака), а принц – его рано умерший сын Гамнет (Hamnet). По развернутой в «Улиссе» автобиографической трактовке «Гамлета», жена Шекспира Энн Хэтауэй, подобно Королеве в «Гамлете», была предательницей, изменившей ему с его братом или двумя братьями. Многочисленные смерти в пьесе Шекспира и саму тему мести Набоков сопоставляет с последними песнями «Одиссеи», в которых вернувшийся под видом нищего в Итаку Одиссей открывается сыну Телемаху, после чего убивает женихов Пенелопы.

Worte, worte, worte (нем. слова, слова, слова). – Еще один пример паронимии в романе. Гамлет на вопрос Полония «Что вы читаете, принц?», отвечает: «Слова, слова, слова» (акт. II, сц. 2. Л). Сходство звучания немецкого слова с англ. words обыгрывается нами в созвучном «Войте, войте, войте» (в оригинале англ. warts – бородавки; изъяны, пороки).

Мой любимый комментатор – Чишвиц (Tschischwitz)... – Б. Чишвиц (см. коммент. к с. 176).

...Эльсинор – это анаграмма Розалины, что не лишено кое-каких возможностей. – В оригинале полная анаграмма: Elsinore – Roseline. Эльсинор (от названия датского города Хельсингёр) – место действия «Гамлета». Имя Розалина носит первая возлюбленная Ромео, которая не появляется, но лишь упоминается в «Ромео и Джульетте»; «кое-какие возможности», вероятно, заключаются в сходстве двух любовных линий Ромео – Розалина и Гамлет – Офелия: обе неудачны. Р. Боуи отметил, что имя Розалины продолжает мотив розы в самом романе Набокова (ср. «Брошенные розы»).

С. 182. Глория Беллхаус. – Этот персонаж некоторым образом связывается с возникающим в конце романа чиновником Конкордием Колоколотейщиковым, который задаст Кругу вопрос о его вероисповедании: англ. bellhouse – колокольня; Gloria – «Слава в вышних Богу» (католический гимн на текст евангельского славословия, часть церковной мессы). См. коммент. к с. 305. В рукописи ее имя дважды колокольное – Белла Беллхаус (англ. bell – колокол).

С. 182–183. Они с постановщиком, вслед за Гёте, представляют Офелию в виде какого-то консервированного персика: «все существо ее преисполнено сладкой спелой страстью», – замечает Иоганн Вольфганг Гёте... – Набоков имеет в виду следующие слова театрала и актера Вильгельма Мейстера, обсуждающего «Гамлета» и его постановку в романе И.–В. Гёте «Годы учения Вильгельма Мейстера» (1796): «Долго о ней [Офелии] говорить не приходится, <...> настолько четко обрисован ее характер всего несколькими мастерскими штрихами. Все существо ее преисполнено зрелой и сладостной чувственностью. <...> Воображение ее воспламенено, молчаливая скромность дышит любовной жадой, и едва

покладистая богиня – случайность – потрясает деревцо, спелый плод не замедлит упасть» (Гёте И.–В. Собр. соч.: В 10 т. М., 1978. Т. 7. С. 200. Пер. Н. Касаткиной).

С. 183. О ужас. <...> О великий ужас! – Слова Призрака: «О ужас! Ужас! О великий ужас!» (акт I, сц. 5. Л).

...Полоний – Панталоний, старый дурак... – Словом «pantaloon» в пьесах Шекспира называют старика или выжившего из ума старика (Crystal D., Crystal B. Shakespeare's Words. A Glossary & Language Companion. P. 315). Кроме того, Набоков мог иметь в виду сходство Полония с Панталоне, персонажем итальянской commedia dell'arte, старым, скупым и похотливым купцом.

...сыгравший Меттерниха в “Мировых вальсах”... – К. фон Меттерних (1773–1859) – австрийский дипломат, министр иностранных дел в 1809–1848 гг. Именно из Вены в годы международного влияния политики Меттерниха мода на вальс распространилась по Европе. Здесь, кроме того, усматривается автоаллюзия на пьесу «Изобретение Вальса» (1938) о диктаторе–сновидце, претендовавшем на мировое господство.

...Гонец упоминает некоего Клавдио, который передал ему письма, полученные этим Клавдио “от тех, кто их принес” [с корабля]... – «Гонец. <...> Мне дал их Клавдио; он получил их / От тех, кто их принес» (акт IV, сц. 7. Л).

...в немецком оригинале (“Bestrafter Brudermord”)... – Точнее, «Der bestrafte Brudermord, oder Prinz Hamlet aus Dänemark» («Покаранное братоубийство, или Датский принц Гамлет»). Пьеса была опубликована О. Рейхардом в 1778 г. по рукописи 1710 г.

С. 185. «...который невинно и доставляет его королю». – В рукописи (с. 117) после этого с абзаца следует невычеркнутое предложение, возможно выпущенное при перепечатке по недосмотру: «Эмбер громко захлопнул книгу и принялся рассказывать своему другу, что на роль этого Клавдио взяли племянника постановщика и что от него, Эмбера, потребовали снабдить сего нового персонажа несколькими строчками, почерпнутыми, предпочтительно, из какой-нибудь пьесы Шекспира».

Ubit' il' ne ubit'? Vot est' oprosen. / Vto bude edler... – Начало монолога Гамлета «Быть или не быть» на вымышленном языке передается преимущественно русскими слова («убить иль не убить?» созвучно как с «to be or not to be», так и с традиционным переводом «быть или не быть»), среди которых вкралось нем. edler (благороднее) из классического немецкого перевода монолога, сделанного А.–В. Шлегелем («Ob's edler im Gemüt...»). Монолог Гамлета в переводе Набокова («Руль», 23 ноября 1930) начинается так: «Быть или не быть: вот в этом / вопрос; что лучше для души – / терпеть пращи и стрелы яростного рока <...>».

L'égorgerai-je ou non? <...> accablant destin... – Французский перевод значительно сильнее отступает от приведенного выше, хотя и развивает ту же версию прочтения первой строки с убийством («Перережу ли я ему глотку или нет? Вот настоящий вопрос. / Не благороднее ли само по

себе все-таки терпеть / И дротики, и огонь сокрушительной судьбы...»). В письме к Э. Уилсону от 9 февраля 1947 г. Набоков заметил, что в этом переводе отражена известная гипотеза о том, что смысл слов Гамлета на самом деле: «быть или не быть убийству короля от моей руки?» (Dear Bunny, Dear Volodya. The Nabokov – Wilson Letters, 1940–1971. P. 161. Пер. мой).

С. 185–186. Там, над ручьем, растет наклонно ива <...> Не думаете ли вы, сударь <...> песнь о раненом олене... – В бумагах Э. Уилсона сохранился недатированный автограф Набокова (по старой орфографии и с подписью «В. Сиринь») с переводом трех отрывков из «Гамлета». Набоков послал Уилсону отрывки в длинном письме от 24 августа 1942 г., посвященном вопросам русской и английской метрики: «Прилагаю несколько фрагментов из моего перевода “Гамлета”, pour la bonne bouche» (Dear Bunny, Dear Volodya. The Nabokov – Wilson Letters, 1940–1971. P. 87. Пер. мой. Это французское выражение, означающее «на закуску», использовано в гл. 11 романа). В первом отрывке («Там, над ручьем, растет...») против строк «гирлянды фантастические свив / из этих листьев, с примесью ромашек» Набоков сделал пометку: «Dower Wilson’s reading» – т. е. по текстологии Дж. Д. Уилсона, соредактора нового критического издания Шекспира («Гамлет» с исправлениями Уилсона вышел в 1934 г.). Начало отрывка в архивном автографе несколько отличается от текста романа, приведем его полностью (по новой орфографии):

Там, над ручьем, растет кривая ива,
воде являя листьев седину;
гирлянды фантастические свив
из этих листьев, с примесью ромашек,
крапивы, лютиков, да тех цветов
длинно-лиловых, кои пастухи
названием столь грубым наградили
(а наши девы хладные «перстами
покойников» зовут), она старалась
развесить их на ветках наклоненных,
когда под ней лукавый треснул сук,
ее с заветными венками сбросив
в рыдающий ручей. Сперва одежды
ее поддерживали, как русалку,
широко разойдясь; она же пела

тем временем обрывки старых гимнов,
как бы своей не ведая беды
или в среде родимой пребывая;
но вскоре платье, влагой напитавшись,
бедняжку увлекло от ясной песни
в густую глину смерти.

Следующие отрывки, кончая словами «а, сударь?», в романе приводятся (латиницей) без каких-либо изменений по сравнению с архивным текстом. Приведем не вошедшее в роман четверостишие об олене (акт III, сц. 2) по тому же набоковскому автографу: «Рыдает раненый олень, / резов неуязвленный; / одни глядят, другие спят – / вот мир наш заведенный!» (Beinecke Rare Book & Manuscript Library / Edmund Wilson Papers. Box 170, fol. 4255).

Перевод двух отрывков из «Гамлета» (из четвертого и пятого актов) и позднее монолога Гамлета Набоков опубликовал в берлинской газете «Руль» еще в 1930 г. Строки из монолога Королевы о смерти Офелии, сильно отличающиеся от приведенной (очевидно, более поздней) версии, в этой публикации начинаются так: «Есть ива у ручья; к той бледной иве, / склонившейся над ясною водой, / она пришла с гирляндами ромашек <...>» (Набоков В. Собр. соч. русского периода: В 5 т. / Сост. Н. И. Артеменко–Толстой. СПб.: Симпозиум, 1999. Т. 3. С. 673).

С. 185. ...Гирлянды фантастические свив / Из этих листьев – с примесью ромашек... – Набоков вновь обратится к этой сцене «Гамлета» в «Пнине», превратив ее в старинный русский языческий обряд: «Сегодня Пнин приступил к выписыванью <...> из объемистого труда Костромского о русских легендах (Москва, 1855) – редкой книги, которую не позволялось уносить из библиотеки, – места с описанием древних языческих игрищ, которые тогда еще были распространены в лесистых верховьях Волги наряду с христианским обрядом. Всю праздничную майскую неделю – так называемую Зеленую, постепенно превратившуюся в Неделю Пятидесятницы, – деревенские девушки свивали венки из люков и любки; потом они развешивали свои гирлянды на прибрежных ивах, напевая мелодии старинных любовных распевов; а в Троицын день венки стряхивались в реку и плыли, развиваясь словно змеи, и девушки плавали среди них и пели. Тут у Пнина мелькнула странная словесная ассоциация; он не успел схватить ее за русалочий хвост <...>. Ну конечно же! Смерть Офелии! “Гамлет”! В русском переводе старого доброго Андрея Кронеберга 1844 года – отрада юных дней Пнина, и отца Пнина, и деда!» (Набоков В. Пнин / Пер. Г. Барабтарло при участии Веры Набоковой, статья, послесл., примеч. Г. Барабтарло. М.: АСТ: Corpus, 2023. С. 99–101).

С. 186. ...камчатые розы на прорезных башмаках могли бы, коль фортуна задала бы мне турку... – Камча (или камка) – одно из названий дамастина (от сирийского Дамаска), шелковой ткани с цветочным

рисунком. У Шекспира «Provincial roses», что по одной из трактовок (к которой, видимо, склонялся и Набоков) подразумевает дамасскую розу (F, vol. I, p. 259). Набоков в своем переводе, кроме того, мог следовать выражению Шекспира в сонете № 130 – «I have seen rosses damasked, red and white» («я видел розы камчатые, красную и белую»). Выражение «задать турку» означает заставить идти работать, т. е. турнуть (с острасткой) (Большой толково-фразеологический словарь Михельсона). В сравнении с переводом Лозинского набоковская версия стремится к усложненной лексике и колоритным разговорным выражениям («камчатые розы», «коль фортуна задала бы мне турку», «в театральной артели»), что ближе шекспировской игре слов: «if the rest of my fortunes turn Turk with me» («turn Turk» у Шекспира означает резкую перемену в жизни – Crystal D., Crystal B. Shakespeare's Words. A Glossary & Language Companion. P. 463). Приведем для сравнения перевод Лозинского: «Гамлет. Пусть плачет раненый олень, / Лань, уцелев, резвится; / Для спящих – ночь, для стражи – день; / На этом мир вертится. Неужто с этим, сударь мой, и с лесом перьев, – если в остальном судьба обошлась бы со мною как турок, – да с парой прованских роз на прорезных башмаках я не получил бы места в труппе актеров, сударь мой?»

По наблюдению Р. Боуи, имя устроителя побегов за границу Турока в романе, возможно, имеет отношение к шекспировскому выражению. К этому стоит добавить, что в таком случае слова Квиста в письме к Кругу о «репродукции шедевра Турока "Побег"» (гл. 15) могут отсылать к переводу шекспировского шедевра.

Или начало моей любимой сцены. <...> мне не нравится цвет рассветного плаща <...> "laderod kappe"... – В печатных изданиях после слов «Или начало моей любимой сцены», по всей видимости, выпала еще одна цитата из «Гамлета», – какая именно, установить нельзя без обнаружения новых материалов, так как в рукописи эта страница отсутствует (на верхнем поле с. 118 по-русски написано: «Пропуск (страница)»). В NaM (p. 263), как и в большинстве других изданий, после слов «Or the beginning of my favorite scene» («Или начало моей любимой сцены») поставлено двоеточие, что заставляет думать, будто следующая описательная часть текста («Сидя вот так и слушая...») и есть эта самая любимая сцена, в то время как здесь, конечно, еще продолжается тема эмберовских переводов («Или вот этот сложный отрывок» – «Или начало моей любимой сцены»). В одном из изданий романа («Penguin Books», 1974) после слов «Or the beginning of my favorite scene» (с. 106) совсем никаких знаков препинания нет, что можно принять за простую опечатку. Во французском переводе романа вместо двоеточия стоит более обоснованное многоточие (Erc, 709). Мы посчитали разумным поставить точку и добавить ряд уточний.

Поскольку ниже на вопрос Эмбера о прочитанном им переводе Круг говорит: «Некоторые строчки нужно отполировать <...> и мне не нравится цвет рассветного плаща – я вижу "russet" [красновато-коричневый] менее кожистым, менее пролетарского оттенка», – можно предположить, что под выпавшим «началом любимой сцены» подразумевается эпизод появления Призрака перед Горацио и замковой стражей в первой сцене пьесы, когда Горацио замечает: «But look, the morn in russet mantle clad / Walks o'er the dew of yon high eastward hill» («Но вот и

утро, рыжий плащ накинув, / Ступает по росе восточных гор» – Л.). Круг обсуждает эмберовский перевод выражения «russet mantle clad» – «laderod karpe» (от нем. leder rot karpe – кожаный красный плащ с капюшоном; в предыдущей главе Набоков уже использовал это слово во множественном числе – «Двое деревенских жителей в средневековых карпен»): англ. russet – не яркое кумачовое полотно (и не «розовый плащ» (!), как в переводе Б. Пастернака 1941 г.), а грубая домотканая шерстяная ткань красновато-коричневого цвета, из которой крестьяне во времена Шекспира шили накидки.

С. 193. номер 184682. – Как отметил А. Люксембург, в третьей главе романа Круг пытается вспомнить телефонный номер Эмбера, – «знакомый номер с шестеркой в середине» (НСС, 594). По сновидческой логике романа телефонный номер Эмбера преобразуется в номер табельного оружия агента, пришедшего его арестовать.

С. 196. Что, если я отвечу «нет»? – Слова Гамлета в разговоре с Озриком в ответ на предложение Клавдия провести состязание Гамлета с Лаэртом (акт V, сц. 2). Отмечено Р. Боуи.

witze [шуточки] – это слово (нем. остроты, шуточки) Набоков использовал в пятой главе «Дара»: «“Перестаньте делать вицы и скажите ваше имя”, – заревел полицейский» (Набоков В. Дар. М.: АСТ: Corpus, 2022. С. 452).

8

С. 200. Падукград – отсылка к названиям советских городов Ленинград и Сталинград.

янтарный свет – англ. amber (янтарь) намекает на Эмбера.

9

С. 206. манекен на шарнирах – «a lay figure» – марионетка; манекен на шарнирах, используемый художниками.

С. 207. «Les Pensées» – «Мысли», философские записки уже упомянутого в четвертой главе Б. Паскаля.

С. 208. ...сборник комментированных шахматных партий Тарраша... – Подразумевается популярное в конце XIX – нач. XX в. издание «300 шахматных партий» (1895) немецкого шахматиста и крупнейшего теоретика шахмат З. Тарраша (1862–1934). В 20–30-х гг. Набоков в Берлине занимался шахматами, участвовал в сеансе одновременной игры, проводившемся гроссмейстером А. И. Нимцовичем.

10

Короткая отдельная десятая глава появилась, очевидно, на стадии подготовки или проверки машинописи, так как в рукописи ее текст является продолжением главы девятой (с. 138–140).

С. 209. «Мироконцепция». – Неологизм образован по примеру слов «мировоззрение», «миропонимание».

...посмотрел в глаза смерти и назвал ее собакой и мерзостью. – См. коммент. к гл. 5 относительно прозвища Падука.

...испытал что-то вроде жутковатого облегчения. – В рукописи после этого следует невычеркнутое предложение: «Так крепкие клещи хватают громадную мораль и вырывают ее, но, увы, теперь, глядя прямо перед собой круглыми глазами, он исследовал это место языком, и оказалось, что зуб все еще на месте». В опубликованном тексте вместо этого предложения фраза: «Но сможет ли он сделать это снова?»

С. 210. ...Мариетта <...> странно матовыми темными глазами. <...> всегда бледная <...> от ее волнистых рыжевато-русых волос... – Мариетта описывается как Лилит, первая жена Адама в каббалистической традиции и злой дух в иудейской демонологии. У Д.–Г. Россетти («Леди Лилит», 1866–1868) и Д. Кольера («Лилит», 1887) она предстает рыжеволосой женщиной. В «Серебряном голубе» (1909) А. Белого образ Лилит воплощает «рябая баба» Матрена: бледное лицо, алые губы, рыжие косы. В рассказе А. Франса «Дочь Лилит» (1887) отмечается странное поведение Лейлы, ее притягательность и вместе с тем отстраненность, напоминающие Мариетту. В стихотворении Набокова «Лилит» (1928) демоническое существо – рыжеволосая девочка, соитие с которой внезапно прерывается (подобно тому, что произойдет у Круга с Мариеттой в гл. 16).

11

С. 213. H_2SO_4 – формула серной кислоты.

kwazinka [щель между створок складной ширмы] – от «скважинка» и «квази».

...появление zemberl'a [камергера]. Этот чопорный старик тут же заметил, что Круг обут неподобающим образом... – На первый взгляд здесь простое словообразование от англ. chamberlain (камергер) с намеком на арестованного Эмбера через венг. ember (человек); однако история с поиском подходящей пары обуви для Круга, явившегося во дворец (в согласии со сновидческой атмосферой романа) в ночных туфлях, подсказывает игру с известной итальянской маркой горных ботинок «Zamberlan» (от имени основателя Дж. Замберлана), производящейся с 1929 г. Набоков в 1920–1940-х гг. совершил в Европе и Америке несколько горных походов в энтомологических целях и наверняка хорошо знал различные марки туристической обуви.

...крошечная туфелька, отороченная изъеденным молью беличьим мехом... –

Набоков не раз касался старого спора о материале башмачков Золушки. В романе «Пнин» профессор словесности Тимофей Пнин предлагает русский источник во фр. verre (стекло): «<...> башмаки Сандрильоны сделаны не из стекла, а из меха русской белки – vair по-французски. Это, сказал он, типичный пример выживания более жизнеспособного слова, ибо verre лучше запоминается, чем vair, которое, по его мнению, происходит не от varius, пестрый, а от веверицы, славянского слова, означающего красивый бледный мех, как у белки зимой <...>» (Набоков В. Пнин. С. 198). В Словаре Даля отмечено, что веверица – это пушной зверек, которым платили дань, – вероятно, ласочка, горноста́й или белка (горноста́й и ласочка летом бурые, зимой белые; белая веверица зимнего улова). В написанной Ш. Перро французской версии народной сказки (1697) Золушка теряет pantoufle de verre (стеклянную туфельку).

С. 214. фон Эмбит – от англ. ambit (пространство, окружающее здание или город; окрестность, окружение) и, возможно, намек на ит. gambetto (подножка; гамбит).

С. 215. eunig – от англ. eunuch, нем. Eunuch (евнух; скопец).

С. 216. бурсит – шишка на наружной стороне большого пальца ноги.

С. 217. klubzessel [кресло] – от нем. Klubsessel (мягкое кресло; кабинетное кресло).

С. 222. Erlkönig – «Лесной царь» (1782), баллада И.–В. Гёте, известная в русском переводе В. Жуковского. Отец с маленьким сыном скачут верхом по темному лесу, испуганный сын пытается убедить отца, что их преследует лесной царь, который заманивает его в свое царство; отец же уверяет сына, что все это ему мерещится. В конце поездки ребенок кричит и умирает. Роман следует сюжету баллады в части безуспешных попыток друзей Круга убедить его, что ему и его сыну грозит опасность.

туманструация. – В оригинале «menstratum» – неологизм от англ. stratum (слой) и menses (менструации).

С. 223. Запечатленные сверху, они вышли бы в китайской перспективе, куклообразные, немного бесформенные <...> и тайный зритель (допустим, некое антропоморфное божество) наверняка был бы удивлен формой человеческих голов, видимых сверху. – В рукописи (с. 151) слова в скобках о божестве отсутствуют, они были добавлены позднее. Описание героев в этом месте, воспроизводящее еще один прием кинематографа (верхний ракурс), сделано с точки зрения глядящего сверху вниз внешнего наблюдателя – «тайного зрителя». Набоков противопоставляет антропоцентрической модели новоевропейской философии, в крайнем своем выражении дошедшей до штирнеровской формулы «Ego mihi Deus» («Я сам себе Бог»), спиритуалистическую модель (возможно, в бергсоновском представлении). В. Г. Зебальд в эссе 1996 г. о сновидческих текстах Набокова сделал пронизательное замечание (без прямой связи с «Незаконнорожденными»): «одно из важнейших повествовательных средств Набокова состоит в том, что едва внятной нюансировкой и сдвигами перспективы он вводит в игру незримого

наблюдателя, который словно бы имеет больший обзор, чем персонажи повествования и даже рассказчик и автор, водящий пером последнего, – этот художественный прием позволяет Набокову видеть мир и себя в нем как бы сверху. Действительно, в его книгах содержатся многочисленные пассажи, изображенные с птичьего полета» (Зебальд В. Г. *Сампо santo* / Сост. С. Майер. М.: Новое издательство, 2020. Пер. Н. Федоровой. С. 168. Курсив мой).

С. 224. Эберхард Фабер № 2 – название марки карандаша первой американской компании по производству графических карандашей «Эберхард Фабер».

Грааф – анаграмма слова «графа» и возможная (в рамках скрытых американских реалий романа) отсылка к американскому физику Р. Ван де Граафу (Graaff, 1901–1967), который в 1929 г. изобрел электростатический генератор высокого напряжения, названный его именем.

С. 225. «Голубой мальчик» Гейнсборо – «Мальчик в голубом» (1770), написанный английским живописцем Т. Гейнсборо (1727–1788) портрет Дж. Баттла, сына торговца, которого художник намеренно облачил в атласный костюм аристократа. Помимо очевидной связи с образом сына Круга, эта реальная подоплека портрета соотносится с трактовками таинственных гравюр в книге Селенуса, в которых придается важное значение облачению простолюдина в дворянское платье.

...репродукцию «Альдобрандинской свадьбы» (с очаровательным полуголым фаворитом в венке, от которого жених вынужден отказаться ради грузной закутанный невесты)... – Фреска периода ранней императорской эпохи Рима, найденная на Эсквилинском холме в 1601 г. и включенная в коллекцию кардинала Альдобрандини (отсюда название), которая в настоящее время хранится в музее Ватикана. Загадочный сюжет фрески многочисленными исследователями трактуется по-разному; набоковская интерпретация продолжает развивать линию уранических наклонностей Падука.

С. 226. Граждане, солдаты, жены и матери! Братья и сестры! Революция выдвинула на первый план задачи необычайной сложности, колоссальной важности, мирового масштаба. <...> В кратчайший срок... – Риторика и выражения, характерные для публичных и газетных выступлений и воззваний Ленина в революционный период. Слова «задачи», «мирового масштаба» и «кратчайший срок» написаны по-русски латиницей.

К с. 449. Друшаутский портрет У. Шекспира в Первом фолио, 1623. Автор стихотворного обращения «К читателю» (слева) Бен Джонсон

К с. 377. Герб У. Шекспира

К с. 377. Двухтомное комментированное издание «Гамлета» (A New Variorum Edition of Shakespeare / Ed. by Horace Howard Furness. "Hamlet". Vol. I–I. Philadelphia & L., 1918) с гербом У. Шекспира на обложке

К с. 446–448. Титульный лист «Криптографии» («Cryptomenytices et Criptographiæ», 1624) Августа Младшего (Gustavi Seleni)

К с. 447. Титульный лист книги Э. Дернинга–Лоуренса «Бэкон это Шекспир» (1910)

Рисунок Набокова в рукописи романа (после с. 68). Предположительно, портрет Эмбера

Из рукописи романа, гл.15 и гл. 17 (страницы пронумерованы неверно)

К с. 373–374. Комикс о Супермене (№ 16, 1942 г.), начало истории мистера Синистера

К с. 373–374. Комикс о Супермене (№ 16, 1942 г.), окончание истории мистера Синистера. В нижнем левом квадрате Супермен произносит: «Там, где стоял мистер Синистер, ничего не осталось – только... тень»

К с. 550. Иллюстрация (1910) А. Рэкхема к опере Р. Вагнера «Валькирия»

“Гидра контрреволюции еще может поднять голову...” <...> у гидры ведь много голов... – «Гидра контрреволюции» – расхожее выражение революционной поры (к примеру, «Про гидру контрреволюции сегодня сказ» В. Маяковского, 1920), которое не раз высмеивалось в русской эмигрантской печати, в том числе Набоковым в рассказе «Дракон» (1924). В отношении курьезного использования метафоры источником Набокова могла быть «История русской революции» Л. Д. Троцкого, опубликованная в Берлине в 1931–1933 г., в то время, когда Набоков обдумывал «Дар»: «Враг неуловим. “Контрразведка дремлет, прокурорский надзор спит”. И этот умеренный из умеренных закончил угрозой: “если гидра контрреволюции поднимет свою голову, мы выступим и задушим ее своими руками”» (Троцкий Л. История русской революции. Берлин: Грани, 1933. Т. 2. С. 202). В рукописи фраза продолжается (перевожу): «...много голов. Это же не исток Нила, не гиппопотам, не так ли?»

С. 227. ...две пары глаз, смотрящие на сапог, видят один и тот же сапог, поскольку он одинаково отражается в обеих парах... – Схожим образом Набоков высмеивал в «Даре» наивно-материалистические рассуждения Н. Г. Чернышевского: «<...> Чернышевский объяснял: “мы видим дерево; другой человек смотрит на этот же предмет. В глазах у него мы видим, что дерево изображается точь-в-точь такое же. Итак, мы все видим предметы, как они действительно существуют» (Набоков В. Дар. С. 320).

С. 228. ...начало новой эры Динамичной Жизни. – Аллюзия на биодинамику, введенный Э. Геккелем в 1866 г. термин для обозначения физиологии – науки, описывающей и объясняющей жизнедеятельность организма. Повышенное внимание режима Падука к вопросам сельского хозяйства может указывать на более узкое направление биодинамического земледелия, основы которого в 20-х гг. XX в. заложил австрийский антропософ Р. Штейнер. Не случайно д-р Александер в романе назван «молодым биодинамиком». В романе, однако, под динамикой в отношениях людей понимается их взаимная проницаемость – линия, идущая от «Приглашения на казнь», где персонажи практически лишены личных свойств и независимого внутреннего «я».

...мечта Платона осуществилась в руках Главы нашего Государства... – 0 платоновском идеальном государстве см. коммент. к с. 233 и к с. 249–250.

С. 231. ориньякская культура – археологическая культура позднего палеолита, во время которой возникло искусство скальной живописи. Замечание о том, что Кругу «всегда хотелось побольше узнать» об этой культуре, напоминает деталь из рассказа «Истребление тиранов», в котором рассказчик, противостоящий диктатору, говорит о своей молодости: «О ту пору я слишком был поглощен живописью и диссертацией о ее пещерном происхождении <...>» (Набоков В. Полное собрание рассказов. С. 495).

...тех портретах необычных существ <...> обнаруженных испанским дворянином и его маленькой дочерью в расписной пещере Альтамиры. – В 1879 г. археолог-любитель М. де Саутуола вместе с девятилетней дочерью Марией случайно открыл на северных отрогах Пиренеев в окрестностях испанского города Сантандер пещеру с наскальными рисунками (бизонов, лошадей, кабанов и других животных), яркими образцами первобытного искусства. Под портретами необычных существ Набоков подразумевает человеческие фигуры со звериными головами, изображенные на сводах той же пещеры. Отсылкой к пещере Альтамиры заканчивается «Лолита»: «Говорю я о турах и ангелах, о тайне прочных пигментов <...>» (Набоков В. Лолита. С. 511). Создается впечатление, что Набоков в «Незаконнорожденных» стремился охватить всю историю искусства, от его зачатков и развития у античных поэтов до расцвета у Шекспира и позднего вырождения в идеологизированных или социальных сочинениях XX в. (так, в Предисловии он упоминает «клишированные опусы Оруэлла», а в самом романе высмеивает Верфеля, Шолохова, Ремарка, Митчелл).

...заняться какой-нибудь смутной загадкой викторианской телепатии (о случаях которой сообщали священники, истеричные дамы, полковники в отставке, служившие в Индии)... – Б. Бойд предполагает здесь отсылку общего характера к мистическому толку английской литературе конца XIX в., например, к романам М. Корелли (1855–1924) «Роман двух миров» и «Ардаф» (NaM, 691–692). Он упоминает, кроме того, ее книгу «Душа Лилит» (1892), в которой речь идет, однако, не о телепатии, а о случае возвращения мертвого к жизни: врачеватель-окультист Эль Рами воскрешает умершую девочку-сироту Лилит, держит ее в своем доме шесть лет и становится одержим ее красотой и желанием обладать ею. Этот источник тем более вероятен в свете сказанного нами про образ Лилит в романе Набокова, а также по той причине, что большая поклонница Шекспира Корелли начинает свою книгу с подробного описания постановки «Гамлета», «всегда озадачивающей пьесы Шекспира» (Corelli M. The Soul of Lilith. L.: Richard Bentley and Son, 1892. P. 1. Пер. мой). Корелли упомянута в книге воспоминаний Набокова «Другие берега»: «Помню еще ужасную старуху, которая читала мне вслух повесть Марии Корелли “Могучий Атом” – о том, что случилось с хорошим мальчиком, из которого нехорошие родители хотели сделать безбожника» (гл. 4, подгл. 4).

С. 232. мисс Биддер – английская писательница Мэри Биддер (1866–1938), в замужестве Портер, автор исторических романов.

...папирус, приобретенный неким Риндом <...> египетский земледел <...> использовал для своих неуклюжих расчетов. – Упомянутый Набоковым в письме к Э. Уилсону от 2 декабря 1944 г. папирус Ринда – древнеегипетское пособие по арифметике и геометрии, датируемое примерно II тысячелетием до н. э. и громко названное «Способы, при помощи которых можно дойти до понимания всех темных вещей, всех тайн, заключающихся в вещах». Папирус был переписан ок. 1650 г. до н. э. писцом по имени Ахмес и приобретен шотландским антикваром и археологом А. Г. Риндом в Луксоре в 1858 г.

Рамессеум – заупокойный храм фараона Рамсеса II (XIII в. до н. э.).

С. 233. ...строки из знаменитой американской поэмы <...> Краса несет мне лишь страданье... – В Предисловии Набоков раскрывает источник: «Случайная подборка ямбических строк, взятых из прозаических частей “Моби Дика” <...>». В романе (1851) американского писателя и поэта Г. Мелвилла (1819–1891) выбранные Набоковым строки имеют ямбический размер. Мы использовали перевод И. Бернштейн (Мелвилл Г. Моби Дик, или Белый кит. Повести. Рассказы. СПб.: Азбука, 2015), придав соответствующим местам несколько большую поэтичность в согласии с оригинальным текстом. Приведем текст Бернштейн с указанием главы романа Мелвилла:

О, что за зрелище – / Застенчивые эти китобои! – «Удивительное зрелище – эти застенчивые медведи, эти робкие воины-китобои!» (гл. 5).

Но вот настал прилива час, / Швартовы отданы... – «Но вот наступило время прилива; отданы швартовы...» (гл. 9).

На картах этот остров не означен, – / Надежных мест на картах не сыскать. – «На карте этот остров не обозначен – настоящие места никогда не отмечаются на картах» (гл. 12). У Набокова «It is not shown on any map; / True places never are», тогда как у Мелвилла «It is not down in any map; true places never are» (Melville H. Moby-Dick or The Whale / Introduction and Notes by D. Herd. Ware: Wordsworth Classics, 2002. P. 48). В рукописи романа «It is not down on any map».

Сей свет небес не для меня, / Краса несет мне лишь страданье... – «Этот небесный свет не для меня. Красота причиняет мне только страдание» (гл. 37).

...то место о сладкой смерти сборщика меда из Огайо... – Комментаторы романа не обратили внимание на то, что здесь продолжается ряд аллюзий к «Моби Дику», в гл. 78 которого описывается, как индеец Тэштиго упал внутрь головы кашалота, где содержится ароматный спермацет, добываемый китобоями. Об этом происшествии на китобойном судне в конце главы рассказано так: «Ну а если бы Тэштиго нашел свою погибель в этой голове, то это была бы чудесная погибель: он задохнулся бы в белейшем и нежнейшем ароматном спермацете; и гробом его, погребальными дорогами и могилой были бы святая святых кашалота, таинственные внутренние китовые покои. Можно припомнить

один только конец еще слаще этого – восхитительную смерть некоего бортника из Огайо, который искал мед в дупле и <...> перегнувшись, сам туда свалился и умер, затянутый медвяной трясиной и медом же набальзамированный. А сколько народу завязло вот таким же образом в медовых сотах Платона и обрело в них свою сладкую смерть?» (Мелвилл Г. Моби Дик, или Белый кит. Повести. Рассказы. С. 424). Упоминание Платона, на наш взгляд, и привлекло внимание Набокова. В конце предыдущей главы «Незаконнорожденных» Платон возникает в подготовленной для Круга речи в связи с утопической идеей совершенного государства, якобы воплощаемой Падуком («Мы будем учить, и прежде всего познаем, что мечта Платона осуществилась в руках Главы нашего Государства...»), и, следовательно, слова Мелвилла в «Моби Дике» о народе, нашедшем в «медовых сотах Платона» свою смерть, экстраполируются на описываемое в романе общество, поверившее посулам очередного диктатора. Источник метафоры Мелвилла следует, вероятно, искать в легенде, по которой пчелы собирали мед с уст Платона, когда он был ребенком (Riginos A.S. *Platonica. The Anecdotes Concerning the Life and Writing of Plato*. Leiden: E. L. Brill, 1976. P. 17).

...забавы ради я сохраню слог, которым однажды поведал его в Туле в праздном кругу моих русских друзей... – Еще одно предположительно испорченное при перепечатке место: в рукописи эти слова взяты в кавычки и сказано, что они принадлежат «самому автору поэмы» (т. е. Мелвиллу). Действительно, это измененные слова из гл. 54 «Моби Дика», названной «Повесть о “Таун-Хо”». Как она была рассказана в Золотой гостинице». В опубликованном тексте у Набокова так: «that bit about the delicious death of an Ohio honey hunter (for my humor’s sake I shall preserve the style in which I once narrated it at Thula to a lounging circle of my Russian friends)». В рукописи (с. 159): «that bit about the delicious death of an Ohio honey-hunter for, as the author of the poem himself put it: “For my humor’s sake I shall preserve the style in which I once narrated it at Lima Thula to a lounging circle of my Spanish Russian friends”». У Мелвилла: «For my humor’s sake, I shall preserve the style in which I once narrated it at Lima to a lounging circle of my Spanish friends, one saint’s eve, smoking upon the thick-gilt tiled piazza of the Golden Inn» (Melville H. *Moby-Dick or The Whale*. P. 202). Приведем перевод И. Бернштейн: «Мне почему-то захотелось сохранить тот стиль, в котором однажды, в канун дня какого-то святого, я рассказал ее в Лиме, в кругу моих испанских друзей, когда мы, развалившись, курили на украшенной щедро позлащенными изразцами веранде Золотой гостиницы» (Мелвилл Г. Моби Дик, или Белый кит. Повести. Рассказы. С. 306). Заменяв Лиму на Тулу («Thula» в оригинале одновременно указывает на русскую Тулу и на Thule – Туле или Фула, легендарный остров на севере Европы), а испанских друзей на русских, Набоков придал цитате из Мелвилла автобиографичность и связал ее со своим незавершенным романом «Solus Rex», в первой главе которого, опубликованной в 1942 г. под названием «Ultima Thule», рассказывается о смерти жены героя. В предисловии к английскому переводу двух глав из «Solus Rex» Набоков заметил: «Фрейдистов, судя по всему, поблизости нет, поэтому мне не нужно предупреждать их, чтобы они не трогали мои круги своими символами. С другой стороны, хороший читатель, безусловно, различит искаженные отзвуки этого

моего последнего русского романа в моих английских вещах – “Под знаком незаконнорожденных” (1947) и особенно в “Бледном огне” (1962) <...>» (Набоков В. Волшебник. Solus Rex. С. 85–86. Пер. мой).

Труганини, последняя представительница аборигенов Тасмании, умерла в 1877 году... – Труганини (1812–1876) часто называли последней чистокровной представительницей аборигенов Тасмании (в некоторых источниках год ее смерти – 1877).

...хромиды и усачи, хотя в Рафаэлевой интерпретации чудесного улова... – «Чудесный улов» (1515–1516) – картина Рафаэля Санти (1483–1520) на библейский сюжет. Хромиды, согласно энциклопедическому словарю Брокгауза и Ефрона, относятся к сростноглоточным (отряд костистых рыб).

С. 233–234. Говоря о римских венациях (представлениях с травлей диких зверей) <...> этого самого Орфея изображал преступник, и представление завершалось тем, что медведь убивал его... – В римских венациях (от лат. venatio – охота) наряду с так называемыми бойцами–бестиариями с дикими животными (часто экзотическими) сражались приговоренные к смерти преступники, которых выпускали на арену без оружия и нередко без одежды. Такой вид смертной казни назывался *damnatio ad bestias* (предание зверям). Здесь Набоков с изменениями и дополнениями цитирует книгу британского зоолога Дж. Дженнисона (1872–1938) «Звери для представлений и развлечений в Древнем Риме» (1937): «Медведи использовались для казни преступников. <...> сцена с лесом и скалами была устроена так, чтобы она могла подниматься из крипт под ареной с находящимся на ней Орфеем, окруженным зверями и птицами; но Орфея изображал преступник, и представление завершалось тем, что медведь убивал его» (Jennison G. *Animals for Show and Pleasure in Ancient Rome*. Manchester University Press, 1937. P. 74. Пер. мой).

С. 234. ...в окружении настоящих львов и медведей с позолоченными когтями <...> пока Тит, или Нерон, или Падук наблюдали за происходящим... – Набоковское добавление в приведенную выше цитату из книги Дж. Дженнисона о львах и золотых когтях медведей находит свое мотивное продолжение в упоминании золоченых стульев в кабинете Падука (гл. 11), «кроваво–золоченых ужасов мексиканских жертвоприношений» (в этой главе), «багряно–золотого тюрбана» на голове убитого ребенка (гл. 17) и в описании «львиного лапого стола» в зале Министерства юстиции (гл. 18).

Де Ситтер, человек досужий... – Нидерландский астроном В. де Ситтер (1872–1934) в том же 1917 г., когда А. Эйнштейн разработал свою модель, на основе тех же уравнений предложил другую модель расширяющейся, но лишенной материи Вселенной.

«Рим, которого никто не мог разрушить, даже дикий зверь Германия с ее синеокими юношами, губит гражданская война». – Как отметил Б. Бойд, эти строки представляют собой парафраз начала стихотворения № 16 «Эподов» Горация: «Вот уже два поколения томятся гражданской войною, / И Рим своей же силой разрушается / <...> – Рим, что сумел устоять пред германцев ордой синеокой, / Пред Ганнибалом, в дедах

ужас вызвавшим, / Ныне загубит наш род, заклятый братскою кровью,
– / Отдаст он снова земли зверю дикому! / Варвар, увы, победит нас
<...>» (Флакк Квинт Гораций. Оды. Эподы. Сатиры. Послания / Под ред.
С. Апта и др., коммент. М. Гаспарова. М., 1970. С. 237. Пер. А.
Семенова–Тян–Шанского).

С. 234–235. ...завидую Крукиусу, державшему в руках «бландинские
рукописи» Горация (уничтоженные в 1566 году, когда толпа разграбила
бенедиктинское аббатство св. Петра в Бланкенберге близ Гента). –
Якоб Крук или ван Крук, известный под латинизированным именем Якобус
Крукиус, а во французской литературе как Жак де Крук (до 1520–1584),
– фламандский гуманист и филолог. Крукиус вошел в историю благодаря
работам по изучению Горация на основе его рукописей, утраченных при
пожаре в 1566 г. В печатных изданиях романа год пожара ошибочно
указан как 1556, в рукописи же (с. 160) значится верная дата, на
основании чего мы вносим соответствующее исправление.

С. 235. ...путешествовать по Аппиевой дороге в большой четырехколесной
повозке для дальних поездок, известной под названием «реда»? – Rheda
– у римлян большая четырехместная повозка, служившая преимущественно
для путешествий. По наблюдению Б. Бойда, упоминается в
«Сатирах» (кн. I, 5) Горация (NaM, 692). Примечательно, что эта
повозка возникает у Горация в контексте, близком описанию плотского
томления Круга: «Здесь я обманщицу–девушку ждал, глупец, до
полночи; / Сон наконец сморил и меня, распаленного страстью. /
Навзничь я лег и заснул; но зуд сладострастных видений / Мне
запятнал в эту ночь и постельную простынь, и брюхо. / Двадцать
четыре потом мы проехали мили – в повозке, / Чтобы прибыть в городок
<...>» (Флакк Квинт Гораций. Оды. Эподы. Сатиры. Послания. С. 263.
Пер. М. Дмитриева).

Ивар Осен, норвежский филолог, 1813–1896, создавший язык. – Ивар А.
Осен (1813–1896), норвежский лексикограф, филолог и поэт, создавший
одну из письменных форм национального норвежского языка – лансмол
(нюнорск).

Доктор Ливингстон упоминает, что однажды, поговорив с бушменом о
Божестве, он обнаружил, что дикарь полагал, будто они говорят о
Секоми, местном вожде. – Б. Бойд указал на следующее место в письме
английского миссионера и исследователя Африки Д. Ливингстона (1813–
1873) к преподобному Дж. Дж. Фримену от 3 июня 1842 г.: «Их
представления о Божестве имеют самый расплывчатый и противоречивый
характер, и его имя не несет для них ничего, кроме идеи
превосходства. Поэтому они без колебаний применяют имя Бога к своим
вождям» (NaM, 692. Пер. мой). В том же письме упоминается Секоми,
вождь племени Бамангвато. В изданиях романа это имя печатается с
ошибкой – Сакоми; в рукописи (с. 161) написание правильное, на
основании чего мы вносим соответствующее исправление.

Муравей живет в мире запахов, имеющих форму, в мире химических
конфигураций. – После этого в рукописи (с. 161) с абзаца следует еще
одна вычеркнутая заметка (перевожу): «Мне приснился словарь. Он
лежал, раскрытый, на столе, и можно было прочитать: “дикий мельмот
[wild melmoth] и его толстая белая гусеница”. “Самое употребительное

слово в колонке “я” [me] было истолковано как “манданское слово, означающее [meaning] “сумасшедший” [madman]. То был сущий вздор, но непрерывный М-эффект почему-то пришелся мне [me] по душе». Набоков обыгрывает вторую часть имени героя романа Ч. Р. Метьюрина «Мельмот Скиталец» (1820): Melmoth – moth (мотылек, бабочка). Под «М-эффектом» он имел в виду мезомерный эффект сопряжения – резонансный эффект в химической связи (теория химического резонанса). Манданы – племя американских индейцев. «Непрерывность» состоит в том, что пять ключевых слов (melmoth, moth, me, Mandan, madman) начинаются буквой «m», а трижды возникающим «me» (melmoth, me, meaning) кончается эта заметка («somehow pleased me»).

С. 235–236. ...восемнадцать тысяч мальчиков Формозы младше девяти лет, чьи маленькие сердца были сожжены на алтаре по приказу лжепророка Салманазара – все оказалось европейской фальшивкой <...> восемнадцатого века. – Вымысел Набокова, отсылающий к фигуре авантюриста и мистификатора Дж. Салманазара (или Псалманазара, настоящее имя неизвестно, ок. 1679–1763), родившегося предположительно во Франции и выдававшего себя за уроженца о. Формоза. Салманазар выступал в Англии с выдуманными рассказами о традициях и быте жителей Формозы, о чем писал и в своих книгах («Описание острова Формозы», 1704). Число 18 000 соотнесено с XVIII в. (т. е. по одному замученному ребенку в год), а возраст мальчиков указывает на сына Круга Давида, которому восемь лет. Набоков, вероятно, совмещает образ мистификатора с жестоким ассирийским царем Салманасаром I (правил в 1274–1245 гг. до н. э.), повелевшим ослепить 14 400 вражеских воинов. «Салманасар сообщает в своей надписи, что он взял в плен 14 400 вражеских воинов и всех их ослепил. Здесь мы впервые встречаем описание тех свирепых расправ, которые с ужасающей монотонностью повторяются в последующие века в надписях ассирийских царей <...>» (История древнего мира. Ранняя древность / Под ред. И. М. Дьяконова и др. Изд. 3-е, испр. и доп. Кн. 1. М.: Наука, 1989. С. 206).

С. 236. долихоцефальный – удлинённый.

...щекотики (как мы говорили в детстве)... – Домашнее слово Набоковых, использованное позднее в «Аде». Ср. в письме Набокова к матери от 18 февраля 1928 г.: «Скажи мне, пожалуйста, я вчера, проходя мимо лавки рамочка, заметил страшно знакомую картину: Le <sic!> Rêve d'Amour, женщина на смятых подушках и рой купидонов. Где она у нас висела? Помнишь? Ужасные щекотики» (The New York Public Library. W. Henry & A. Albert Berg Collection of English and American Literature. Vladimir Nabokov Papers / Letters to Elena Ivanovna Nabokov).

С. 237. кусочек пазла. – Для англ. puzzle мы используем еще одно набоковское словцо, возникающее в гл. 2 «Защиты Лужина» («Но в тот год английская мода изобрела складные картины для взрослых – “пазла”, как их называли у Пето <...>»).

...страдающим разными мелкими хворями, то он, возможно, жил бы в большем согласии с собой. – В рукописи (с. 163) следует невычеркнутое продолжение: «со множеством первосортных прохладных идей [cool ideas], стоящих сияющими рядками внутри его ментального

рефрижератора».

...его тело слишком крупное и здоровое для него: если бы он был сморщенным и дряблым <...> то он, возможно, жил бы в большем согласии с собой. История барона Мюнхгаузена о декорпитации коня. – Комментаторы романа не объяснили, что значит «декорпитация» и каков источник этого слова. Б. Бойд ошибочно отнес это упоминание к истории Мюнхгаузена о том, как он, направляясь в Россию, ночью в деревне привязал коня к торчащему из снега пню, а утром оказалось, что конь на самом деле был привязан к флюгеру церковной колокольни и теперь высоко висит в воздухе, потому что толстый слой снега за ночь растаял (NaM, 693); на тот же рассказ и так же без каких-либо пояснений указал Р. Алладае (Ѣrc, 1601; в НСС примечание к этому месту отсутствует). На самом деле Набоков имел в виду другой рассказ о приключениях барона, причем источник редкого слова «decorpitation» и самого этого места в романе обнаруживается со всей определенностью.

В журнале «Канадский энтомолог» за 1895 г. в разделе «Корреспонденция» было опубликовано сообщение некоего Cimeх (псевдоним по латинскому названию рода клопов из семейства постельных клопов) под названием «Munchausen Substantiated» («Мюнхгаузен подтвержден»). Не лишенный остроумия и писательской жилки ученый привел любопытный факт из жизни насекомых, который мог привлечь внимание Набокова не только собственно занимательным энтомологическим наблюдением, но и его литературным контекстом, к примеру, упоминанием «экспертов по интерпретации скрытых смыслов у Шекспира»:

Мюнхгаузен подтвержден

Однажды, когда этот прославленный и правдивый путешественник, барон Мюнхгаузен, преследовал врага до ворот крепости, опускаемая решетка упала и отрезала заднюю часть его лошади. Разгоряченный битвой <...>, он подъехал к резервуару, чтобы напоить верное животное. Лошадь пила, как иссушенная земля после шестимесячной засухи, пока барон, наконец, не огляделся и не увидел расчленение, обнаружив, что с той же скоростью, с какой лошадь пила, вода вытекала из ее разрезанного тела, и что ее жажда, очевидно, никогда не будет утолена. <...>

Точно так же, как у нас есть исследователи и эксперты по интерпретации скрытых смыслов у Шекспира и Браунинга, а еще музыкальных драм Вагнера, почему бы не создать общество для исследования и истолкования Мюнхгаузена?

Все это, однако, говорится лишь теоретически <...> и в качестве введения к утверждению, что мне известна цепочка фактов, напоминающих историю разрезанной лошади Мюнхгаузена [«Munchausen's horse-decorpitation story» – эта фраза в точности повторена Набоковым в романе], и вкратце и без дальнейших пояснений эти факты таковы:

Существует маленькая мирная гусеница, которая в августе резвится среди листьев тенистых деревьев Вашингтона и которая в избранном

кругу известна как американская белая бабочка [Fall webworm]. Существует также предприимчивый зеленый клоп-щитник с хищническими инстинктами, которого называют жуком-солдатом [soldier-bug] и который, страдая такой же сильной жаждой, как полковник из Кентукки, постоянно стремится утолить ее, выпивая кровь гусеницы американской белой бабочки. Однако в этой кровавой погоне у клопа-щитника есть сильный соперник – колесный клоп [Arilus cristatus из семейства хищнецов, в оригинале автор пользуется народным названием wheel-bug], которого по силе жажды, если первого сравнивать с полковником из Кентукки, можно сравнить с судьей из Джорджии <...>. Интересы этих двух жизнерадостных созданий противоречат друг другу. Их кровожадные занятия приводят их на одни и те же охотничьи угодья, и порой гусениц на всех не хватает. <...> клоп-щитник <...> находит одинокую гусеницу американской белой бабочки, вонзает свой клюв в извивающееся тельце (как со всего маху опускают соломинку в бренди) и начинает сосать. В этот момент колесный клоп находит эту пару и вонзает свой клюв в спину клопа-щитника и тоже принимается сосать.

Клоп-щитник оказывался в положении лошади Мюнхгаузена. Едва он успевал высосать кровь из гусеницы, как ее высасывал из него колесный клоп. Сочувствие наблюдателя к гусенице замещается восхищением отвагой клопа-щитника и грустью по поводу его затруднительного положения – пока восхищение и грусть не одолеваются блестящей мыслью о том, что этим наблюдением подтверждается рассказ Мюнхгаузена (Cimex. Munchausen Substantiated // The Canadian Entomologist / Ed. by C. J. S. Bethune. Vol. XXVII. № 3. London (March), 1895. P. 84–85. Пер. мой).

Термин «decapitation» образован по типу «decapitation» (декапитация) – обезглавливание, но вместо «capita» (голова) – «corpora» (туловище, тело). Определив источник Набокова, мы теперь можем резюмировать, что одну из выписок, приведенных в этой главе, Круг сделал из старого энтомологического журнала. Вероятной аллюзией на псевдоним автора этой заметки и на само ее содержание могут быть слова лавочника в разговоре с Кругом во второй главе романа: «Знаете, вы не поверите, но один заслуживающий доверия человек сказал мне, что в каком-то книжном магазине на самом деле есть книга, страниц в сто по меньшей мере, целиком посвященная анатомии клопов!»

Каким же образом история о рассечении лошади связана у Набокова с мыслями Круга о том, что его тело слишком крупное и здоровое для него? Приведем часть этого рассказа барона по русскому изданию:

В ожидании я направил своего тяжело дышавшего коня к колодцу на базарной площади, чтобы дать ему напиться. Он пил и пил без всякой меры и с такой жадностью, словно никак не мог утолить жажду. Но дело, оказывается, объяснялось очень просто. <...> Всей задней части моего бедного коня как не бывало: крестец и бедра – все исчезло, словно их начисто срезали. Поэтому вода вытекала сзади по мере того, как она поглощалась спереди, без всякой пользы для коня и не утоляя его жажды. <...> Короче говоря, задняя половина моего чудо-коня за эти короткие мгновения успела завязать близкое знакомство с кобылами, носившимися по лугу, и, предавшись наслаждениям со своим гаремом,

по-видимому, забыла все перенесенные неприятности. Голова при этом, правда, столь мало принималась в расчет, что жеребята, обязанные своим существованием этому времяпрепровождению, оказались негодными ублюдками: у них не хватало всего того, чего недоставало отцу в момент их зачатия (Бюргер Г. А., Распе Р. Э. Приключения барона Мюнхгаузена / Изд. подг. А. Н. Макаров. М.: Наука, 1985. С. 37–40).

Можно предположить, что потаенной предпосылкой мысли Круга, обладающего необыкновенной мужской силой и мучимого соблазном доступности Мариетты, служит именно этот пример удивительно любвеобильной задней части ополовиненного коня, предавшейся безудержным наслаждениям: с одной стороны, будь Круг менее страстен, он жил бы в большем согласии с собой, а с другой стороны, «головная» часть Круга, подобно баронскому коню, никак не может утолить своей рассудочной жажды.

С. 238. *Femineum lucet per bombycina corpus.* – Точнее, «*Femineum lucet sic per bombycina corpus*» – «Светятся так сквозь шелка очертания женского тела» (пер. Ф. А. Петровского). Из эпиграммы Марка Валерия Марциалла «*Qui Corcyraei vidit romaria regis...*» («Эпиграммы», книга 8, LXVIII).

С. 240. ...со своим братом Мироном одна из его бывших учениц, Клара Зеркальски. – В рукописи брат Клары носит имя Макс, замененное, по-видимому, ради созвучия с англ. *mirror* – зеркало. Именем Клара (от лат. *clarus* – ясный, светлый) у Набокова названа героиня предыдущего романа, подруга писателя Найта (Клара Бишоп), в то время как мотив зеркального отражения реальности будет развит в более позднем романе Набокова «Бледный огонь», в котором сам язык вымышленной Земблы (имеющей немало общего с государством Падука) назван «языком зеркал».

...Давид уже стал великоват для него, хотя по-прежнему любил ползать по туннелям. – В рукописи (с. 165–166) имеется невычеркнутое продолжение: «Зеркальские учили его правописанию, начаткам арифметики и немного английскому, которым сами занимались в видах путешествия в Америку – это намерение почему-то так и осталось неосуществленным».

С. 242. Дважды в неделю по вечерам она была свободна от домашних дел, и все это время, вероятно, посвящала фавнам, футболистам и матадорам. – Упоминание футболистов отсылает читателя к сцене в конце гл. 4, в которой на крыльце дома Круга девушка («предвещающая Мариетту», как сказано Набоковым в Предисловии) целовалась с игроком в американский футбол. «Матадоры» напоминают о героине повести П. Мериме «Кармен», с которой девушка сравнивалась в том же месте («в последнем безвыходном положении со схематической маленькой Кармен»). В рукописи после этих слов следует вычеркнутое продолжение: «И что она делала, и где она это делала, и как часто – *satan wiz* [Бог знает]. Судя по лиловым теням у нее под глазами и по ленивому покачиванию ее совсем еще юных, но уже томных бедер, – со многими фавнами, и у каждого фавна тоже было много свирелей» (с. 168). В этом месте примечательна инверсия значений англ. *Satan* (сатана), написанного со строчной буквы, и англ. *Lord* (Бог, Господь),

написанного с заглавной и данного в квадратных скобках для перевода «местного» выражения. Видимо, в этом ключе следует интерпретировать и слово «wiz» – как намек на нем. Witz (шутка, карикатура). В поздней «Аде» схожим образом выражение «thank God» в мире Антитерры превращается в «thank Log» – «слава Логу» (от Логоса).

13

С. 245. ...согласно статье 521 нашей Конституции, народ обладает следующими четырьмя свободами <...> общественных зданий и широких улиц. – В обратном порядке указан номер соответствующей статьи Сталинской Конституции 1936 г., в которой ст. 125 гласит: «В соответствии с интересами трудящихся и в целях укрепления социалистического строя гражданам СССР гарантируется законом:

- а) свобода слова,
- б) свобода печати,
- в) свобода собраний и митингов,
- г) свобода уличных шествий и демонстраций.

Эти права граждан обеспечиваются предоставлением трудящимся и их организациям типографий, запасов бумаги, общественных зданий, улиц, средств связи и других материальных условий, необходимых для их осуществления».

С. 246. ...в других странах газеты являются откровенно коммерческими предприятиями, фирмами, продающими свою печатную продукцию публике (и по этой причине делающими все возможное, чтобы привлечь внимание общественности броскими заголовками и пикантными историями)... – Для этой части романа Набоков, по всей видимости, воспользовался советскими газетными передовицами, широко освещавшими подготовку и принятие Сталинской Конституции. В одном из сборников, составленном по материалам печати (статьи из «Правды», «Известий» и журнала «Большевик»), в разделе «Свобода слова и печати» находим схожие высказывания и утверждения: «Печать в капиталистических странах принадлежит только капиталистам. <...> Зато нет ничего запретного, интимного, защищенного в области личных, семейных отношений обывателя. Газеты грубо вторгаются в частную жизнь, они живут сенсациями, развращают читателей уголовщиной, порнографией» (0 проекте Конституции СССР. Л.: Ленинградское областное издательство, 1936. С. 81–82).

С. 247. О да, в других странах много толкуют о свободе, но на самом деле нехватка средств не всем позволяет пользоваться печатным словом. – «В капиталистических странах у рабочего класса нет средств на свои собственные большие типографии, на свои большие бумажные фабрики. <...> Буржуазия превратила свободу печати в обычный вид промышленности. Она торгует словом, как торгует алкоголем или наркотиками. <...> Печать в капиталистических странах принадлежит

только капиталистам. Но они всего меньше нуждаются в свободе печати, хотя и кричат о ней очень громко» (О проекте Конституции СССР. С. 81).

С. 249. «Вечерний звон» – название популярной русской песни на стихи И. Козлова. В декабре 1917 – январе 1918 г. под таким названием в Петрограде выпускалась ежедневная общественно-политическая газета, в которой печатались З. Гиппиус, Д. Filosoфoв, А. Ремизов, Н. Тэффи и другие известные литераторы. Вполне возможно, что в системе мотивов романа это название имеет отношение к двум его гротескным персонажам – Глории Беллхаус и Конкордию Колокололштейншикову.

С. 249–250. ...Круг испытал смутное «лакедемонское» ощущение: кнуты и розги; музыка; и странные ночные ужасы. Он немного знал автора статьи – гнусного старикашку, который под псевдонимом Панкрат Цикутин много лет тому назад редактировал погромистический журнал. – То есть Круг испытал ощущение связанности, общности настоящего и прошлого: Лакедемон – официальное название античной Спарты, общественное устройство которой повлияло на платоновскую концепцию идеального государства. Режим Падука реализует некоторые принципы этой концепции, главным из которых было подчинение личных интересов интересам целого, что фактически позволяло оправдать любое насилие государства над гражданами. По всей видимости, само настойчивое стремление Падука привлечь Круга на свою сторону призвано указать на Платона, полагавшего, что государством должны управлять философы, к каковым, очевидно, Падук, развивавший идеи Скотомы, относил и себя, вещая на всю страну о том, что «блуждающие индивидуальности станут взаимозаменяемыми, и, вместо того, чтобы пресмыкаться в тюремной камере нелегального эго, обнаженная душа соприкоснется с душой любого другого человека на земле» (гл. 6). Лучший философ страны, презрительно отвергающий предложение новой власти о сотрудничестве (ради платоновского «общего блага»), таким образом, подрывал саму ее идейную основу. Не случайно псевдоним журналиста Панкрат Цикутин намекает на суд и тюремное заключение Сократа (тема притеснения философа) и на его смерть от яда цикуты (точнее, от ядовитого сока болиголова); имя Панкрат (Панкратий) греческого происхождения, означающее «всевластный» (в рукописи указана лишь вторая часть псевдонима – Tzikutin, имя было добавлено позднее).

«Погромистический журнал» связывает черносотенные погромы в России начала XX в. с популярным в то же время увлечением мистикой – XX в. вновь соотносится с далеким прошлым. В рукописи иной, более замысловатый неологизм, характеризующий направление журнала: «anthropodtheophysocophic journal» (с. 175). Он намекает на модное в первой половине XX в. религиозно-мистическое учение антропософии, комично и уничижительно соединенное с антропологией и антроподами (членистоногими).

С. 250–251. отряды сторонников («backergrupps») – от англ. backers (сторонник) и нем. Gruppe (группа, отряд).

С. 252. glockenmetall [bronzо da campane], geschützbronze [bronzо da canoni] <...> blasebalgen'ов [воздуходувные меха] – отсылка к указу Петра I, изданному в 1701 г. в начале Северной войны, переплавить церковные колокола на пушки. Не случайно длинный ряд изделий и

товаров в этом пассаже кончается пояснением в скобках «воздуходувные [т. е. кузнечные] меха», в оригинале написанным по-русски латиницей: изделия гражданского назначения при изоляционном режиме Падука с исторической неизбежностью сменяются военными.

С. 252. коллективные огородники намекают на советские колхозы.

...резкие акценты в напечатанных en escalier стихах (что, между прочим, утраивало построчный гонорар), посвященных Падуку... – В стихотворении «0 правителях» (1944), написанном во время сочинения романа, Набоков схожим образом указывает на манеру В. Маяковского: «Покойный мой тезка, / писавший стихи и в полосу, / и в клетку на самом восходе / всесоюзно-мещанского класса <...>» (Набоков В. Стихи. С. 349). Еще раньше он имитировал резкие акценты и эксцентричные рифмы Маяковского в стихах «лучшего поэта» в рассказе «Истребление тиранов» (1938), описывая мещанскую диктатуру: «Шли мы тропиной исторенной, / горькие ели грибы, / пока ворота истории / не дрогнули от колотыбы! // Пока, белизною кительной / сияя верным сынам, / с улыбкой своей удивительной / Правитель не вышел к нам!» (Набоков В. Полное собрание рассказов. С. 502).

14

С. 253. Его никогда не занимали поиски Истинной Субстанции, Единого, Абсолюта... – Подразумевается онтологическое понимание субстанции как предельного основания бытия (Ф. Бэкон, Б. Спиноза, Г. В. Лейбниц). Ключевой категорией метафизики субстанция становится в философии Спинозы, где она отождествляется как с Богом, так и с природой и определяется в качестве причины самой себя (causa sui). См. также коммент. к гл. 15 относительно трактовки субстанции в лекциях С. Александера.

...если бы Вещь можно было постичь <...> феномен утратил свои локоны, свою маску, свое зеркало и стал лысым ноуменом? – И. Кант сочетал признание объективной реальности «вещи в себе» (ноумена) с отрицанием ее познаваемости; феномен, напротив, – явление, постигаемое в чувственном опыте. Локоны, маска и зеркало вновь отсылают к проблеме Друшаутского портрета Шекспира (см. коммент. к с. 167).

С. 254. пэпер-чэс. – Бумажная погоня (англ. paper chase). Набоков в собственном переводе «Лолиты» оставил это название игры, в которой «охотники» преследуют «зайцев», двигаясь по следам, оставляемым бумажными обрывками, без перевода: «Вероятно, я пропустил некоторые пуанты в этом криптографическом пэпер-чэсе» (Ч. II, гл. 23).

...босоногая Материя все-таки догоняет Свет. – Основная идея специальной теории относительности состоит в недостижимости для

материального тела скорости света (ничто, имеющее массу, не может достичь скорости света или превысить ее). Кроме отсылки к проблеме новой физики, здесь еще усматривается намек на апорию Зенона «Ахиллес и черепаха», согласно которой быстроногий Ахиллес никогда не догонит черепаху, если в начале движения последняя находится впереди него.

...различные системы отчета пульсируют Фицджеральдовыми сокращениями. – Имеется в виду ирландский физик Дж. Ф. Фицджеральд (1851–1901), выдвинувший гипотезу о сокращении размеров движущихся тел по направлению движения (сокращение Лоренца – Фицджеральда). В 1911 г. А. Эйнштейн опроверг эту гипотезу.

Сколь многие из нас брались строить заново или полагали, что строят заново! Потом они обозрели свои построения. И глядите-ка: Гераклит Плакучая Ива серебрился у двери, а Парменид Дымный валил из трубы <...> – Трудно сказать, кого именно из философов имел в виду Набоков. Он мог подразумевать так называемый «коперниканский переворот» И. Канта, положивший начало философии Нового времени, и с тем же успехом диалектический метод Гегеля (по аналогии с гегелевской триадой Набоков рассматривал в «Других берегах» периоды собственной жизни), восходящий к учению Гераклита (отсюда, возможно, – возвращение к античной философии). В 1931 г. вышел французский перевод знаменитых «Картезианских размышлений» (1929) основоположника феноменологии Э. Гуссерля, первая часть которых, названная «Картезианский переворот и ведущая финальная идея обоснования науки», начинается с отбрасывания всех прошлых идей и представлений, могущих нарушить чистоту познания, со стремления «вывести прежде всего из игры все до сих пор значимые для нас убеждения, а вместе с ними и все наши науки» (Гуссерль Э. Картезианские размышления / Ред. А. Я. Слинин. М.: Наука, 2001. С. 57. Пер. Д. В. Складнева).

С. 256. ...шахматный Мефисто, сокрытый в cogito... – В 1870-х гг. лондонский гомеопат Ч. Гюмпель создал шахматный автомат «Мефисто», который в 1878 г. выиграл турнир-гандикап, успешно провел сеанс одновременной игры на двадцати досках. Автоматом руководил один из сильнейших шахматистов своего времени И. Гунсберг (1854–1930). Гюмпель не скрывал, что игра велась «шахматистом-невидимкой», который будто бы находился не внутри автомата, а в соседней комнате. Это утверждение проверить не удалось: после выступления в Париже (1889) «Мефисто бесследно исчез» (Шахматы. Энциклопедический словарь. М.: Советская энциклопедия, 1990. С. 9).

Суть набоковского сопоставления шахматного автомата, названного по имени злого духа Мефистофеля, с картезианской философией состоит в том, что Декарт уподоблял человеческое тело машине, искусно созданной Богом (идея, которую Лейбниц позднее развил и обогатил новым смыслом): «Будем рассуждать так: тело живого человека так же отличается от тела мертвого, как отличаются часы или иной автомат (т. е. машина, которая движется сама собой), когда они собраны и когда в них есть материальное условие тех движений, для которых они предназначены, со всем необходимым для их действия, от тех же часов или той же машины, когда они сломаны и когда условие их движения

отсутствует» (Декарт Р. Соч.: В 2 т. М., 1989. Т. 1. С. 484). Так мыслящее «я», заключенное в теле-машине, сравнивается Набоковым с шахматистом, спрятанным в автомате или руководящим его игрой.

С. 257. ...надежду и ужас столь же легко можно нанести на карту, как мысы и заливы, названные этими словами... – Подразумеваются мыс Доброй Надежды и залив Страха (Terror Bay, как F. McClintock назвал залив на севере Канады в память о пропавшей экспедиции Джона Франклина 1845 г.).

...Нил раскрыт... – Отсылка к знаменитой телеграмме английского путешественника и исследователя Африки Дж. Х. Спика (1827–1864), посланной из Хартума в Королевское географическое общество Великобритании 27 марта 1863 г. с сообщением о совершенном им открытии истоков Нила.

...«предположим, что лифт – » – Отсылка к главе «Вне и внутри лифта» в работе А. Эйнштейна и Л. Инфельда «Эволюция физики» (1938): «Представим себе огромный лифт на башне небоскреба, гораздо более высокого, чем какой-либо из действительно построенных. Внезапно канат, поддерживающий лифт, обрывается, и лифт свободно падает по направлению к земле. Во время падения наблюдатели в лифте производят опыты. <...> Один из наблюдателей вынимает платок и часы из своего кармана и выпускает их из рук. Что происходит с этими предметами? Для внешнего наблюдателя, который смотрит через окно лифта, и платок, и часы падают по направлению к земле с одинаковым ускорением. <...> Для внутреннего наблюдателя оба тела остаются точно там же, где они были в тот момент, когда наблюдатель выпустил их из рук. Внутренний наблюдатель может игнорировать поле тяготения, так как источник последнего лежит вне его системы координат. Он находит, что никакие силы внутри лифта не действуют на оба тела, и, таким образом, они остаются в покое, как если бы они находились в инерциальной системе. Странные вещи происходят в лифте!» (Эйнштейн А. Собрание научных трудов: В 4 т. / Под ред. И. Е. Тамма и др. М.: Наука, 1967. Т. 4. С. 493–494. Пер. С. Г. Суворова). Далее авторы представляют себе «поколение физиков, рожденное и воспитанное в лифте», которое «относило бы все законы природы к своему лифту». «Для них, – заключают авторы, – было бы естественным считать свой лифт покоящимся и свою систему координат инерциальной» (там же. С. 495). Как заметила М. Гришакова, эта отсылка может иметь отношение к истории барона, поселившегося в неработающем (покоящемся) лифте: «У Набокова лифт просто вынимают из шахты и <...> увозят вместе с “наблюдателем”» (Гришакова М. О некоторых аллюзиях у В. Набокова // Культура русской диаспоры. Владимир Набоков – 100. Материалы научной конференции (Таллинн – Тарту, 14–17 января 1999) / Ред. И. Белобровцева и др. Таллинн, 2000. С. 124).

На наш взгляд, однако, история барона у Набокова в первую очередь развивает его давний мотив тела-тюрьмы (а также времени-тюрьмы) и «освобождения духа из глазниц плоти»: увезенный солдатами в кабине лифта барон так и остается пленником собственной внутренней несвободы и страха, в отличие от непокорных Цинцинната и Круга. Неподвижный лифт становится в романе прообразом тюремной камеры и – шире – сознания, ограниченного рамками непосредственного восприятия

вещей и явлений. В «Даре» метафора тела–дома приписана вымышленному философу Делаланду (его же афоризм служит эпиграфом к «Приглашению на казнь»): «Опять же: несчастная маршрутная мысль, с которой давно свылся человеческий разум (жизнь в виде некоего пути), есть глупая иллюзия: мы никуда не идем, мы сидим дома. Загробное окружает нас всегда, а вовсе не лежит в конце какого-то путешествия. В земном доме вместо окна – зеркало; дверь до поры до времени затворена; но воздух входит сквозь щели. “Наиболее доступный для наших домашних чувств образ будущего постижения окрестности, долженствующий раскрыться нам по распаде тела, это – освобождение духа из глазниц плоти и превращение наше в одно свободное сплошное око, зараз видящее все стороны света, или, иначе говоря: сверхчувственное прозрение мира при нашем внутреннем участии” <...>» (Набоков В. Дар. С. 403). Подр. о этом см.: Бабинов А. Образ «дом–время» в произведениях В. Набокова: способ построения и композиционное значение // Культура русской диаспоры. Владимир Набоков – 100. С. 91–98.

С. 258. Некоторые мысленные образы настолько искажены понятием «время», что мы начинаем верить в реальное существование постоянно движущейся яркой щели (точки восприятия)... – В этих рассуждениях можно усмотреть влияние русского эзотерического философа и путешественника П. Д. Успенского (1878–1947) о времени и «щелевом» восприятии действительности: «Время – это самая большая и самая трудная загадка, которая стоит перед человечеством. <...> Действительность непрерывна и постоянна. Но мы для того, чтобы иметь возможность воспринимать ее, должны расчленять ее на отдельные моменты, т. е. представлять ее себе в виде бесконечного ряда отдельных моментов, из которых для нас всегда существует только один. Иначе говоря, мы воспринимаем действительность как бы через узкую щель. И то, что мы видим в эту щель, мы называем настоящим, то, что видели, а теперь не видим, – прошедшим, а чего совсем не видим, но ожидаем, – будущим. <...> Но наше представление о нашем “бытии во времени” у нас до невероятия спутанное и неясное» (Успенский П. Д. *Tertium Organum*. Ключ к загадкам мира. Изд. 2-е, доп. Пг., 1916. С. 28). На возможное влияние Успенского (без связи с «Незаконнорожденными») указал В. Е. Александров в своей известной книге «Набоков и потусторонность» (1991), в которой он заметил: «Некоторые переключки между Успенским и Набоковым наблюдаются и в рассуждениях по поводу сознания в его отношении к движению, пространству и времени. В книге мемуаров Набоков говорит, что процессы, формирующие жизнь, есть источник переживания времени и что через космическую синхронизацию подлинный художник может достичь вневременного пространства: превозмочь время и уловить мерцание того, что, возможно, лежит за пределами смерти. Это напоминает мысль Успенского об отношении “четвертого измерения” к времени и движению <...>. Наконец, размышления Успенского по поводу “протяжения во времени”, которое есть “распространение в сторону неведомого пространства, в результате чего время становится четвертым измерением пространства”, находят отклик в набоковской идее, связанной с отношениями времени, пространства, мысли и высших измерений бытия» (Александров В. Е. Набоков и потусторонность / Пер. Н. А. Анастасьева. СПб.: Алетейя, 1999. С. 273–274). Проблема времени и отделения времени от пространства Набоков посвятил

отдельную часть в «Аде» (трактат Вана Вина «Текстура времени»).

...золотая секунда не хранится в ящичке в Париже... – Одна секунда – общепринятый эталон единицы времени. Набоков обыгрывает так называемый эталон метра, отлитый из платины французскими учеными в 1799 г. Более точный международный эталон метра был изготовлен из сплава платины и иридия в 1889 г.

15

С. 260. Генри Дойл. <...> по отношению к идее субстанции: «Когда все тело сладкое и белое, движения белизны и сладости повторяются в разных местах и смешиваются...» – На наш взгляд, здесь не имеется в виду американский филолог и испанист Генри Граттан Дойл (1889–1964), как предположили комментаторы романа (НСС, 600; Ёгс, 1603). Под этим именем, как отметил Д. Уайт в работе «Nabokov and His Books» (2017), Набоков вывел британского философа–неореалиста С. Александра (1859–1938), что становится ясно из приведенной цитаты, взятой из сборника лекций Александра «Пространство, время и божество» (1920). Цитата осталась нераспознанной комментаторами романа, хотя эту же книгу Набоков процитирует в «Аде», где Александр назван прямо (условное имя Генри Дойл, в котором могут быть зашифрованы Генри Джеймс и Артур Конан Дойл, увлекавшиеся спиритизмом, Набоков использовал, очевидно, с целью избежать сравнения цитируемого автора с отталкивающим персонажем романа «биодинамиком» д-ром Александером). В гл. 6 кн. II («Категории»), рассуждая о субстанции, Александр писал: «Различия между сладостью и белизной заключаются не только в том факте, что движения, соответствующие этим качествам, происходят внутри контура субстанции, но и в том, что эти движения происходят в разных местах. Свойства субстанции не взаимопроникают друг в друга. Можно только предположить, что они взаимопроникают, если рассматривать качества как ментальные творения или идеи, и, поскольку они являются таковыми, каким-то образом рассматривать их как находящиеся вне пространства или времени. Но, во всяком случае, движения, соответствующие качествам, отделены друг от друга и расположены по-разному. Они кажутся взаимопроникающими только потому, что не различаются нашим восприятием. Движение белизны (которая для нас и есть белый цвет), по нашему грубому восприятию, может находиться в том же месте, что и сладость; и мы можем сказать, что сахар весь белый и сладкий. Но два разных движения, если они не объединены в единое результирующее движение, не занимают в точности одного и того же места. Одно может происходить как бы в промежутках между другим и быть для нас неразличимым по локальности. Когда все тело сладкое и белое, движения белизны и сладости повторяются в разных местах и смешиваются, как синие и красные точки могут быть разнесены по странице, одна группа среди другой» (Alexander S. Space, Time and Deity. The Gifford Lectures at Glasgow. 1916–1918. L.: Macmillan and Co, 1927. Vol. I. P. 275. Пер. мой).

Б. Бойд отметил, что Набоков в поздние годы в одном из изданий своего романа изменил это место: слово «motion» (движение) исправил на более естественное «notion» (понятие). Это исправление Бойд учел

в тексте романа, изданном под его редакцией (NaM, 308). Правка, однако, была вызвана ошибочным решением Набокова, что он пропустил опечатку, так как у С. Александера использован именно термин «motion», которому он посвятил пространное объяснение в предисловии к лекциям. Александер признавал субстанцией не материю, а движение. «Вещество мира, которым является Пространство–Время, – писал он, – я также описал как Движение, то есть чистое Движение, до того, как в нем возникла материя. Мне могут задать вопрос, чем же в таком случае является локальное движение или перемещение (locomotion), то, что мы знаем как движение материи? <...> Мой ответ заключается в том, что частицы материи это не точки, а сами по себе движения или группы движений (например, очень простой субстанцией была бы вспышка света), что нет никакой “вещи”, которая движется, а есть только определенные движения (покамест я лишь повторяю знаменитое высказывание г-на Бергсона об изменении), каковые движения на самом деле являют или конституируют вещь» (Alexander S. Space, Time and Deity. P. xi–xii. Пер. мой). В рукописи романа в этом месте (с. 234) написано верное слово «motion».

Последнее упоминание проблемы субстанции в романе возникает в конце гл. 17, где появляется столь же условный, как «Генри Дойл», безымянный «американский профессор философии, сухопарый седой человек с впалыми щеками, который проделал долгий путь из своей далекой страны, чтобы обсудить с Кругом иллюзорность субстанции». В этом месте философская проблематика соотнесена уже с художественным миром романа, сновидческая подоплека которого с неизбежностью подразумевает иллюзорность как самих предметов, так и всего происходящего. «Истинной» субстанцией должен был бы стать мир Автора, возникающий в самом конце книги как оппозиция иллюзорному миру романа, если бы не те осложнения, о которых мы подробно говорим в статье «Адамово яблоко».

Da mi basia mille. – Целуй меня тысячу раз (лат.). Из стихотворения Гая Валерия Катулла «Жить и любить давай, о Лезбия, со мной...». В переводе А. А. Фета: «Сто раз целуй меня, и тысячу, и снова...» (Стихотворения Катулла. В переводе и с объяснениями А. А. Фета. 2-е изд. СПб.: Издание А. Ф. Маркса, 1899. С. 31).

С. 261. ...в Будафоке <...> где-то в Центральной Европе. – Будафок – район современного Будапешта, в XIX в. отдельная винная деревня. Венгерское значение имени Эмбера соотносится с этим упоминанием.

С. 262. «Брик–а–брак» – от фр. bric-à-brac – собрание всякого рода редкостей, предметов искусства, мебели.

Питер Квист. – Фамилия намекает на фр. qui est (кто такой) и англ. quest (поиски, искомый предмет).

С. 263. ...вместе с двумя юношами, которых он подкупил (дав каждому по десять крун)... – Здесь, по-видимому, одна из ошибок перепечатки текста рукописи, в которой не «ten kruns» (десять крун), а «two kruns» (две круны). Набоков сначала написал «five» (пять), затем «ten» и затем, вычеркнув оба слова, написал «two». С точки зрения стоимости предметов в романе, десять крун каждому попутчику слишком

высокая плата: элегантная Линда говорит, что купила брошку за «три с полтиной» (гл. 16).

С. 265. «Librairie Hachette» – название (с 1919 г.) французского издательства «Hachette et Cie», основанного в 1826 г. «Ашеттовские» издания были среди любимых детских книг Набокова.

С. 268. ...“cette petite Phryné qui se croit Ophélie”... – Между прочим сказанная фраза («эта маленькая Фрина, решившая, что она Офелия») посредством упоминания Офелии связывает эту сцену в лавке агента-provokatora со сценой ареста Эмбера. Фрина – афинская гетера IV в. до н. э., натурщица Праксителя и Апеллеса. Аллюзия как на Мариетту, которая была натурщицей до появления в квартире Круга, так и на Падука, поскольку Фрина не настоящее имя, а прозвище, означающее «жаба». Что Мариетта служит в тайной полиции Падука, окончательно станет ясно в следующей главе.

...fruntgenz [пограничные гуси], а не turmbrokhen [беглые колодники]... – Первое слово образовано от устар. рус. «фрунт» и нем. gans (гусь); второе слово от нем. Turm (ист. тюрьма в башне), brechen (ломать) и англ. broken (сломанный) на основе англ. выражения prison breaker (беглец из тюрьмы).

С. 273. ...в светлую мглу немислимых Каролин. – В оригинале «incredible Carolinas», что отсылает к «Пьяному кораблю» (1871) А. Рембо, переведенному Набоковым в 1928 г.: «Уж я ль не приставал к немислимой Флориде <...>» (пер. Набокова). У Рембо «d’incroyables Florides» – немислимые Флориды. Множественное число в случае этого места романа объясняется тем, что существует Южная и Северная Каролина (вероятно, еще один намек на отличное знание новоиспеченным американским гражданином Набоковым истории и географии США).

16

С. 276. ...в одном из тех сказочных угловых «аптекарских магазинов» <...> на высоком вращающемся табурете у стойки молочного бара и тянущим шею к сиропным помпам. – Ср. в рассказе Набокова «Быль и убыль» (1945), созданном во время сочинения «Незаконнорожденных», описание «молочного бара» (как Набоков называл «drugstore» в своем переводе «Лолиты»): «В недавней и все еще ходкой пьеске о причудливой Америке “Стремительных Сороковых” годов особенным ореолом окружена роль Продавца Шипучей Воды, но его бакенбарды и крахмальная манишка нелепо анахроничны, да и не было в мое время этого непрерывного, неистового верчения на высоких грибовидных табуретах, которым злоупотребляют исполнители. Мы вкушали свои скромные смеси (через соломинки, которые на самом деле были куда короче тех, какими пользуются на сцене) с видом угрюмой алчности. Помню нехитрую прелесть и мелкую поэзию ритуала: обильную пену, образовавшуюся над затонувшим комом синтетических мороженных сливок, и коричневую слякоть “молочно-шоколадного” сиропа, которым поливали его арктическую макушку. Латунь и стекло поверхностей, стерильные отражения электрических ламп, стрекот и переливчатое

мрение пропеллера, посаженного в клетку, плакат из серии “Мировая война”, на котором изображался Дядюшка Сэм со своими усталыми и синими, как у Рузвельта, глазами, или девица в нарядном мундире, с гипертрофированной нижней губой (эта выпуклость губ, этот надутый ротик–капкан, были преходящей модой женского обаяния с 1930 до 1950 года), и незабываемая тональность какофонии дорожного шума, доносящегося с улицы, – эти вот образы и мелодические фигуры, рациональное изучение которых только время может предпринять, почему–то связывали понятие “молочный бар” с миром, где люди терзали металл, и он им за это мстил» (Набоков В. Полное собрание рассказов. С. 591. Пер. Г. Барабтарло).

Набокову могла быть известна книга путевых очерков И. Ильфа и Е. Петрова «Одноэтажная Америка» (1936), в которой есть похожее описание: «И теперешняя американская аптека представляет собой большой бар с высокой стойкой и вертящимися рояльными табуретками перед ней. За стойкой суетятся рыжие парни в сдвинутых набок белых пилотках или кокетливые, завитые на несколько лет вперед девицы, похожие на очередную, только что вошедшую в моду кинозвезду. <...> Девушки сбивают сливки, пускают из никелированных кранов шумные струи сельтерской воды, жарят кур и со звоном кидают в стаканы кусочки льда» (Ильф И., Петров Е. Собр. соч.: В 5 т. / Под ред. А. Г. Дементьева и др. М.: ГИХЛ, 1961. Т. 4. С. 98).

С. 278. конгестия – медицинский термин, прилив крови к какой–либо части тела.

С. 282. ...этот néant никаких ужасов не содержит. <...> наполнить благополучно пройденную нами бездну ужасами, позаимствованными из бездны, лежащей впереди... – Схожими рассуждениями о двух идеально черных вечностях, обрамляющих жизнь человека, и о «преджизненной бездне» Набоков начинает книгу воспоминаний «Другие берега». Французский термин néant (небытие) указывает на Б. Паскаля, использовавшего его в близком контексте в заметке «Несоразмерность человека»: «Кто задумается над этим, тот устрашится самого себя, и, сознавая себя заключенным в той величине, которую определила ему природа между двумя безднами – бесконечностью и ничтожностью [deux abîmes de l’infini et du néant], – он станет трепетать при виде этих чудес <...> Равным образом [человек] не способен понять небытие, из которого он извлечен, и бесконечность, которую он поглощается» (Паскаль Б. Мысли. С. 133).

С. 283. кобольды – в мифологии Северной Европы – домовые; в германской мифологии – особый вид эльфов или альвов, а также духи – хранители подземных сокровищ.

рутбир (корневое пиво) – популярный с конца XIX в. сладкий североамериканский безалкогольный газированный напиток, традиционно изготавливавшийся с использованием коры корня сассафрасового дерева или лозы сарсапариллы.

С. 285. денарий – название римской серебряной монеты времен Республики и первых двух веков Империи.

С. 286–287. ...старого латинского поэта. *Brevis lux. Da mi basia mille.* – «Краткий свет. Целуй меня тысячу раз» – строка Катулла из уже звучавшего в предыдущей главе стихотворения. Согласно пояснению А. А. Фета: «словами *brevis lux*, краткий свет, он хочет сказать: по окончании краткой жизни успеем налегаться в земле, а теперь целуй меня» (Стихотворения Катулла. В переводе и с объяснениями А. А. Фета. С. 32). Фраза напоминает, кроме того, крылатое выражение «*Vita brevis, ars longa*» («жизнь коротка, искусство продолжительно»), восходящее к афоризму Гиппократ.

С. 290. *schlapp* [неудачник] – немецкое прилагательное, означающее «вялый», «слабый», «мягкотелый».

С. 293. «Кто-нибудь знает, чего ему от меня надо?» – спросила Мариетта. – В рукописи (с. 216) вместо нейтральной реплики Мариетты экспрессивный выпад по-французски (текст не вычеркнут): «*Comprends tu l’Espagnol? – вмешалась Мариетта. – Eh bien! Écoute. Le feu qui me consume c’est bien toi qui la allumé, mais hélas il ne brule plus pour toi. Je viens de tombé follement amoureuse de ton beau geôlier. Désormais j’apparteins a sette homme sombre et vigoureux. Ne me renifle plus, vieille ganache*» («Ты понимаешь по-испански? <...> Ну что ж! Послушай. Огонь, охвативший меня, зажег именно ты, но, увы, он больше не горит для тебя. Я только что безумно влюбилась в твоего красавца-тюремщика. Отныне я принадлежу этому мрачному и мощному мужчине. Больше не обнюхивай меня, старый хрыч»). Последние слова хотя и звучат комично, но на самом деле отвечают упоминаниям стойкого каштанового запаха Мариетты и ее «дешевых мускусных духов». Неожиданный переход Мариетты на французский объяснялся, по-видимому, ее стремлением оставить содержание этих слов недоступным для Мака (нечто похожее происходит с Густавом, не владеющим английским, в сцене ареста Эмбера).

С. 295. ...позвонить Шамму (один из членов Совета старейшин)... – Фамилия образована от нем. *Scham* (стыд, срамная часть тела) и намекает на англ. *sham* – подделка, притворство, мошенник. Из финала романа следует, что Шамм – бывший одноклассник Круга, один из двух неназванных заик в школьной свите Падука.

С. 296. Им удалось найти рукоятку. – Д. Б. Джонсон заметил, что в фамилии Круга обыгрывается нем. *Krug* – кружка, кувшин.

С. 297. «О, Мак, это божественно... Я бы хотела, чтобы здесь был биллион ступенек!» <...> «Держи его прямо, детка», – пробасил Мак, дыша несколько прерывисто, его громадная грубая лапа неуклонно слабела <...> из-за ее разгоряченной розы. – Мотив лестницы, спуска или подъема по лестнице (парадной или черной), один из самых стойких в романе, при этом он дважды несет смутно-эротическое содержание, более явно выраженное в этой сцене и менее явно в гл. 5: «Когда звонил звонок, Падук <...> тихо поднимался по лестнице, поглаживая перила слипшейся ладонью. Круг, убравший мяч (под лестницей стояла большая коробка для игровых принадлежностей и поддельных драгоценностей) и потому задержавшийся, обогнал его и на ходу ущипнул за пухлую ягодицу». Легкий эротический налет окрашивает и первое знакомство Круга с Мариеттой: «Ни румяна, ни пудра не

касались ее удивительно бескровных, ровно просвечивающих щек. Она носила длинные волосы. У Круга возникло смутное ощущение, что он ее уже где-то видел, возможно, на лестнице» (гл. 10). Особое значение, каким в романе наделены лестницы, вновь, очевидно, как и в случае образов шляпы, пистолета, туннеля и др., призвано иронично указать на «Толкование сновидений» Фрейда, рассматривавшего сны о лестницах в сексуальном ключе и утверждавшего, что «лестница и восхождение по ней символизируют почти всегда coitus» (Фрейд З. Толкование сновидений / Пер. с третьего дополненного немецкого издания М. К. С. 228).

С. 301. «Тебе правда не холодно, Син?» <...> он назвал ее тайное уменьшительное имя, никому не известное, каким-то образом угаданное им. – Читателю, в свою очередь, следует угадать, что «Син» образовано от англ. Cinderella (Золушка), с которой в романе сравнивается Мариетта (см. также коммент. к гл. 11 относительно туфельки с беличьим мехом).

17

С. 303. ...схватили оцепенело откинувшегося назад Круга (все еще находившегося в стадии личинки)... – Поскольку гусеницы выходят из зимнего оцепенения перед тем, как разорвать кокон, уточнение в скобках может намекать на конечную метаморфозу Круга по аналогии с жизненным циклом бабочек, который состоит из четырех стадий: яйцо, личинка (или гусеница), куколка и взрослая особь (имаго).

С. 304. ...вроде прозрачных инфузорий; впрочем, долой эти мрачные суеверия. – В рукописи (с. 228) конец предложения после точки с запятой изложен иначе и содержит примечательную цитату: «but let us not frigten the children, you, children, you, kholod i mrak griadushchkh dney, though of course I cannot prevent that horrible hopeless shudder from running down your brittle spines, dieti, vy». Перевожу: «впрочем, давайте не будем пугать детей, вы, дети, вы, холод и мрак грядущих дней, хотя, конечно, я не могу помешать этой ужасной безысходной дрожи пробежать по вашим хрупким позвоночникам, дети, вы». В рукописи предложение кончается словами «but let us not frigten the children», остальная часть вычеркнута. Русские слова, в рукописи выделенные подчеркиванием, взяты из апокалиптически-пророческого стихотворения А. Блока (1880–1921), одного из любимых поэтов Набокова, «Голос из хора» (1914). Этим стихотворением завершался раздел «Страшный мир» в выходявших при жизни Блока собраниях его стихов. «Голос из хора» начинается так: «Как часто плачем – вы и я – / Над жалкой жизнью своей! / О, если б знали вы, друзья, / Холод и мрак грядущих дней!». Слова «дети, вы» взяты из концовки этого стихотворения: «Будьте ж довольны жизнью своей, / Тише воды, ниже травы! / О, если б знали, дети, вы, / Холод и мрак грядущих дней» (Блок А. Полное собр. соч. и писем: В 20 т. М.:

Наука, 1997. Т. 3. С. 39–40). Оставленные без перевода и пояснения, эти (лишенные даже кавычек) русские фразы представляют собой чужеродные интервенции в английский текст, своего рода авторские ассоциативные перебивки (элемент потока сознания) в ровном течении повествования. Слова «children, you» могут выступать и как перевод блоковского «дети, вы», и как независимая (авторская) фраза, в то время как русские слова должны были бы восприниматься англоязычным читателем как еще один образчик темного местного диалекта. «Страшный мир» поэзии Блока и «синистральный» мир романа имеют немало общего, их объединяют мотивы зеркал, сна, смерти, сумасшествия, детских страданий. Исключение поэтической цитаты диктовалось, по-видимому, стремлением Набокова на более поздних этапах подготовки книги снять слишком явные указания на авторское присутствие и снизить автобиографическую составляющую в фигуре Автора, что особенно заметно по сокращениям в рукописи первой главы романа.

С. 305. Конкордий Филадельфович Колоколотейщиков. – Имя чиновника содержит ряд замысловатых аллюзий на американскую историю, не отмеченных комментаторами романа. Конкордий отсылает к г. Конкорд (от англ. concord – соглашение, договор) в штате Массачусетс, ставшему отправной точкой Американской войны за независимость, чему Р. У. Эмерсон посвятил стихотворение «Гимн Конкорду» (1837). 19 апреля 1775 г. на Северном мосту Конкорда около пятисот американских ополченцев разбили три роты британской королевской армии. Во время сочинения романа Набоков жил в г. Кембридж (Массачусетс) на улице Крейги–Сёркл рядом с Concord avenue (проспект Согласия упоминается в рукописи первой главы романа). Отчество Филадельфович указывает на место принятия Декларации независимости США, состоявшегося 4 июля 1776 г. в первой столице США Филадельфии, а фамилия – на Колокол Свободы (Liberty Bell), один из главных национальных символов США, создавший жителей Филадельфии на оглашение Декларации независимости. Вторая часть длинной фамилии (–лтейщиков) тоже несет соответствующее теме содержание: изначальный колокол, изготовленный в Лондоне, после доставки в Филадельфию раскололся во время пробного удара, поэтому местные мастера Пасс и Стоу отлили его заново (Rosewater V. The Liberty Bell. Its History and Significance. New York & London, 1926. P. 10–12). Колокол вновь треснул в первой половине XIX в. и с тех пор оставлен в таком состоянии. Библейская надпись на Колоколе Свободы «И объявите свободу на земле всем жителям ее» в тюремном контексте сцены приобретает особое значение.

В иронично зашифрованных в этом нелепом имени отсылках проявляется усилившееся к концу романа авторское вмешательство Набокова, принявшего во время его сочинения американское гражданство и выдержавшего положенный экзамен на знание английского языка и американской истории. Имя было придумано на поздних стадиях подготовки книги, поскольку в рукописи (с. 229) чиновника зовут Bob Blank (Боб Бланк – с очевидным намеком на канцелярский бланк), однако он рекомендуется Кругу все же по-русски, «следователем» («I'am the sledovatel'»). Другая отсылка к экзамену на гражданство США возникнет в последней главе романа в английской фразе, о которой Набоков в Предисловии заметил, что это «обычная фраза, используемая для проверки способности претендента на американское гражданство читать» (см. коммент. к соответствующему

месту гл. 18).

С. 306. витализм – устаревшее учение о наличии в живых организмах нематериальной сверхъестественной силы, управляющей жизненными явлениями, – т. н. «жизненной силы».

С. 310. ...la grâce в религии. Откровение. <...> кто не испытал этого внезапного ослепительного удара истины. – Новое предвосхищение финального откровения и ниспосланной Кругу «благодати».

трубно-блудные звуки – в оригинале каламбур trumpety – strampety – от англ. trumpet (труба) и strumpet (блудница).

С. 311. «Geographical Magazine», «Столица и усадьба», «Die Woche», «The Tatler», «L'Illustration» – «Географический журнал» – британский журнал, выходящий с 1935 г. (современное название «Geographical»); «Столица и усадьба» – петербургский журнал (1913–1917), посвященный светской жизни, спорту, охоте, коллекционерству и русской усадьбе; «Неделя» – немецкий иллюстрированный еженедельный журнал (1899–1944); «Татлер» – британский журнал о моде и светской жизни (выходит с 1901 г.); «Иллюстрация» – французский еженедельник, выходивший под этим названием в 1843–1944 гг.

«Маленькие женщины» (1868–1869) – популярный роман американской писательницы Л. М. Олкотт (1832–1888).

...модель двигателя Стефенсона. – Паровой двигатель Дж. Стефенсона (1781–1848). Здесь продолжается связанная с Давидом и его игрой в поезд тема поездки по железной дороге. Набоков написал фамилию как Stevenson вместо Stephenson (намек на писателя Р. Л. Стивенсона?).

С. 314. was ver a trum! [что за сон!] – от нем. was für ein Traum! (какой сон!).

С. 317. ...доктор Амалия фон Витвиль, одна из самых очаровательных дам, которых можно встретить, аристократка... – Фамилия единственной из трех сестер Баховен, состоящей в браке (Wytwyl), по-видимому, образована от англ. wit (ум) и will (воля), но может подразумеваться и нем. Wut (ярость, злоба) в русле обычной у Набокова игры слов в фамилиях психоаналитиков, имеющих у него, как правило, немецкое происхождение (д-р Бианка Шварцман и д-р Мелани Вейсс в «Лолите», д-р Эрих Винд в «Пнине», д-р Зиг Хайлер в «Аде» и др.). Вместе с тем указание на аристократизм фон Витвиль может намекать на известную светскую красавицу своего времени баронессу Амалию фон Крюденер (в русских источниках Амалия Максимилиановна Криднер, урожд. графиня Лерхенфельд, 1808–1888), которая родилась от внебрачной связи и в которую был влюблен Ф. Тютчев, посвящавший ей стихи.

С. 318. ...«ячесть» эго выходит «ouf» (вон)... – В оригинале игра слов с фрейдистской терминологией строится на созвучии «эго» с англ. egg (яйцо); «ouf» – искаженный немецкий предлог auf (на, в, за) смешан с англ. out (вне, вон).

С. 319. frishtik [легкий завтрак] – фриштык – от нем. Frühstück

(завтрак).

Королевское Ущелье, одно из чудес природы, за несколько геологических эр прорезанное насыщенными песком водами бурной реки Сакры... – Здесь вновь проявляются реалии из набоковского (авторского) мира: Королевское ущелье (the Royal Gorge) – каньон реки Арканзас к западу от Каньон-Сити, Колорадо; название реки (Sakra) – неполная анаграмма реки Арканзас (Arkansas). В свете авторского (божественного) присутствия в романе Сакра может намекать на «сакральность».

ранчо «Невестина фата» («Bridal Veil Ranch») отсылает к часто используемому названию водопадов, один из самых известных находится в Йосемитском национальном парке (Калифорния).

С. 319–320. Кристалсен, лишенный чувства прекрасного, остался внутри <...> даже у этих стальных людей случаются семейные неприятности. – Аллюзия не только на Сталина, но и на популярного героя американских комиксов Супермена, одно из имен которого «The Man of Steel» (Человек из стали). Кристалсен, по аналогии и по этимологии его имени, – «Человек из кристалла». В 1942 г. Набоков сочинил стихотворение «Жалобная песнь Супермена», выведя непобедимого супергероя в образе несчастного одиночки, не решающегося сделать предложение Лоис Лейн (подр. см.: Бабинов А. Возвращение «Супермена» Набокова // Набоков В. Поэмы 1918–1947. Жалобная песнь Супермена / Сост., статья, пер., коммент. А. Бабинова. М.: АСТ: Corpus, 2023. С. 183–209). Л. Токер обратила внимание на то, что Kristalsen, как в русской транслитерации пишется имя секретаря Совета старейшин, напоминает о нем. Kristallnacht – Хрустальной ночи, скоординированном нацистами еврейском погроме в Германии в ноябре 1938 г. (Toker L. The Mystery of Literary Structures. Ithaca & L.: Cornell University Press, 1989. P. 183–184).

С. 320. Это продолжалось так долго, что наконец один из солдат со смехом заметил: «Podi galonishcha dva vysvital za-noch» [Поди, галлонича два высвистал за ночь]. Здесь она попала в аварию. – Просторечная фраза солдата напоминает слова анонимного подвыпившего рассказчика в 12-м эпизоде «Улисса» Джойса: «gob, must have done about a gallon» («ну сила не меньше галлона напрудил» – в переводе В. Хинкиса и С. Хоружего). В этом эпизоде аноним рассказывает о том, как в кабаке Барни Кирнана собралась патриотическая компания, к которой присоединился и Леопольд Блум, но которого, как еврея, собравшиеся недолюбливают и считают чужаком. Возникший вскоре конфликт кончается тем, что Блум садится в кэб, а один из самых ярых патриотов, называемый Гражданином, запускает в него жестяную банку. Эта сцена повторяется уже в гл. 6 романа Набокова, в конце которой Круг, повздоровший с деревенскими полицейскими в участке, садится в повозку, провожаемый насмешками: «Один из крестьян с рассудительным видом слегка постучал себя по виску, и его приятель кивнул. Стоявший за открытым окном молодой полицейский нацелился огрызком яблока в спину Круга, но его остановил более степенный товарищ. Повозка тронулась». В «Улиссе» приведенные слова звучат, пока рассказчик справляет малую нужду, однако мысли его бродят вокруг разных тем: «пока выпускал свой заряд я себе говорю я ж замечал ей-ей что его

(две пинты от Джо и у Слэттри одна) его так и тянет куда-то смыться <...> а когда они жили в (темная лошадка) Сикун рассказывал как бывало сидят за картами а они представляются будто ребенок болен (ну сила не меньше галлона напрудил) и эта его вислозадая половина сообщает по внутреннему телефону мол ей лучше <...>» (Джойс Дж. Дублинцы. Улисс. С. 631. Курсив Джойса). Здесь обращает на себя внимание упоминание жены и больного ребенка – и схожим образом мысли Круга во время поездки и в придорожной сцене обращены к его сыну, а о жене он вспоминает сразу же после грубой фразы солдата.

В статье «О некоторых анаграммах в творчестве Владимира Набокова» А. А. Долинин сделал попытку интерпретировать слова солдата как зашифрованное «письмо» Ольги, адресованное Кругу. Приведем его аргументы: «<...> после того, как мотив письма в загробный мир или письма из загробного мира (недешифруемого письма) уже развит, появляется, как я думаю, и сама анаграмма. В очень важной сцене. Сын Круга убит. Круг об этом еще не знает. Его везут в санаторий <...> где произошло это ужасное происшествие. По дороге машина с Кругом останавливается в горах на том самом месте (место маркировано), где Круг и его жена попали в автомобильную аварию <...>. Сопровождающий Круга начальник тайной полиции Кристалсен читает в этот момент длинное письмо личного свойства (опять мотив письма). Круг выходит из машины и долго стоит у скалы. Один из солдат, наблюдающих за Кругом, произносит странную фразу <...>. Фраза как бы мотивирована на уровне материально-телесного низа, по выражению М. М. Бахтина, так как солдат думает, что Круг стоит у скалы и мочится, потому что выпил два галлона пива. Но сразу обращает на себя внимание некоторая странность этой фразы. Мы никогда не используем увеличительный суффикс с мерой объема. Кроме того, интересно, что слово “галлон” написано в этой фразе с одним “л” (во всех других случаях романа <sic!> оно написано с двумя). Сама фраза, начинающаяся со слова “поди”, кажется искусственной. В ней сразу обращают на себя внимание две вещи. Анаграмма имени мертвой жены Круга (“галон – Ольга”) и анаграмма имени убитого уже к тому времени мальчика, сына его, Давида (“поди... два”). В самом начале этой фразы мерцают два имени убитых героев книги. Если это мотив письма, то это некое письмо от убитых, письмо, посланное из другого мира с позиции полного авторского знания о том, что было, о том, что есть, и о том, что будет. Можно ли расшифровать эту анаграмму? Она очень длинная, в ней тридцать три буквы. <...> Ясно, что в этой фразе <...> прочитываются некоторые ключевые слова романа. <...> Таким образом, здесь анаграмма – это некое сообщение о том, что и Ольга, и Давид просто вышли из этого жуткого, жестокого, чудовищного мира в некоторый иной мир, в “счастливую ночь”, как в конце романа бабочки входят в ночной и счастливый мир автора. Единственный вариант, который у меня получился и который полностью соответствует всем буквам, – это письмо следующего содержания: “Наш Давид выполз в ночь счастья. Ольга”. Это не самое удовлетворительное решение, но, однако, мотивированное. Оно мотивировано темой выползания через туннель (напомню, что любимая игра мальчика Давида – это ползать через туннель)» (Культура русской диаспоры. Владимир Набоков – 100. С. 105–106).

Сделанный из этого набора искаженных деталей и прямых ошибок (Круга

везут вовсе не в «санаторий», у Кристалсена должность секретаря Совета старейшин, а не «начальника тайной полиции», Ольга не была убита, а бабочка в конце романа только одна – душа Ольги, на что указывает Набоков в Предисловии) вывод о том, что фраза является «письмом» Ольги, нам представляется неубедительным.

Прежде всего, слабым местом долининской интерпретации оказывается уже само стремление строить именно русскую анаграмму из этой фразы, то есть исходить из того, что анаграмма не только есть, но и что автор предназначил ее русскоязычному читателю, тогда как роман был написан для читателя англоязычного и издан в Америке. Фраза написана латиницей, что позволяет англоязычному читателю, подозревающему в ней шифрованное сообщение, искать английские слова и выражения (к примеру: «a long day» – «долгий день», «last day» – «последний день», «against all odds» – «вопреки всему», «goal» – «гол», «цель») или имена («I. V. Stalin» и даже «A. A. Dolinin»).

Во-вторых, анаграмма у Набокова всегда выразительна, экономна и точна, как шахматная задача (к примеру, дешифрованная Г. Барабтарло псевдоитальянская фраза в «Приглашении на казнь» «Mali è trano t'amesti» – «Смерть мила – это тайна» или раскрытая нами анаграмма в имени кровавого вождя бунтовщиков в «Трагедии господина Морна»: Тременс – Смертен), однако слово «наш», которым Долинин начинает свою версию, оказывается попросту лишним (чей же еще может быть Давид в послании жены к мужу, к тому же сообщающей свое имя?). Ничто не мешало Набокову, если бы он строил фразу-анаграмму, обойтись без этой «пассивной пешки», добавленной ради исправления «наспех состряпанной шахматной задачи» (как сказано в гл. 6 романа по другому поводу).

В-третьих, выражение «выполз в ночь счастья» (по-видимому, должно быть «счастия», так как в разбираемой фразе три буквы «и», а в версии Долинина только две, считая с «ы») представляется до того неуклюжим и нелепым, что само по себе нуждается в дешифровке и «переводе» на литературный язык, даже без анаграмматического препятствия. К тому же «ночь счастья» (или счастия) звучит плоско и двусмысленно, и если любимой игрой Давида, как пишет Долинин, было ползание по туннелям (хотя в последних главах он предпочитал играть в поезд), то после смерти «выползти» он должен был к свету, а не обратно в ночь (лучи света из мира автора озаряют последние страницы романа, к свету, льющемуся из комнаты автора, летит бабочка).

В-четвертых, в рукописи романа (с. 250), к которой Долинину стоило обратиться, первое слово фразы написано как «Podee», а не как «Podi» – изменение было сделано уже за пределами рукописи на более поздних стадиях унификации и уточнения транслитерации. Это означает, что никакого целостного анаграмматического содержания фраза не предусматривала, поскольку «ее» вместо «i» совершенно меняет общий набор букв и возможных буквенных комбинаций. Само же начало фразы со слова «поди», употребляемого для выражения удивления (как разговорное «gob» в приведенной фразе Джойса), не кажется нам искусственным, в литературе немало примеров такого рода зачинов, причем именно с использованием числительных, например: «Поди два доллара стоит, ваше благородие?!» (К. М. Станюкович, «Василий

Иванович», 1866); «Поди, семь раз на дню яичным мылом моешься?» (Ф. К. Соллогуб, «Творимая легенда», часть первая, 1905).

В-пятых, логично предположить, что в финале романа, в котором то и дело обнаруживает свое присутствие автор-создатель, зашифрованное послание или сообщение (не «письмо», разумеется, как пишет Долинин), тем более на русском языке, должно скорее принадлежать ему. Если идти по пути поиска именно русской, а не английской анаграммы, связывающей трагический контекст книги (смерть Ольги, страдания Давида и отчаяние Круга) с идеей неявного авторского утешения героя, то с тем же успехом мы можем предложить собственную версию авторского послания: «Olga, David schastlivy, poznavshi noch'. A.». Эта версия, может быть, менее вычурная и неловкая, чем у Долинина, но столь же искусственная и маловыразительная, мотивирована не только ключевой темой авторского присутствия и вмешательства, но и крайне важными в философии романа паскалевскими рассуждениями Круга о том, что «этот néant [небытие] никаких ужасов не содержит. То, что мы безуспешно пытаемся сделать, это наполнить благополучно пройденную нами бездну ужасами, позаимствованными из бездны, лежащей впереди <...>» (гл. 16). Составленное нами послание прямо подтверждает эту его догадку. И все же по своей функциональности оно не идет в сравнение с уже разобранный нами фразой Ольги в гл. 3 романа «togliwn ochnat divodiv [ежедневный сюрприз пробуждения]», предположительно содержащей предостережение («go not to lawn, D[a]vid» – «не ходи на лужайку, Д[а]вид»), но оставляющей надежду («сюрприз пробуждения»), что смерть все же может быть «мила».

Что касается слова «галонища», с одним «л», в чем Долинин видит знак скрытого смысла, утверждая, что якобы «во всех других случаях романа оно написано с двумя» (других случаев нет, слово встречается только один раз), то о нем следует сказать подробнее. По нашему мнению, никаких особых указаний его написание не несет, это, судя по всему, обычная опечатка, коих немало в книге: в рукописи романа слово написано правильно, с двумя «l», и следов конструирования анаграммы там нет (притом что вся страница представляет собой черновик с обильной и разнообразной правкой). Слово «gallon» во фразе солдата потребовалось Набокову, на наш взгляд, не в анаграмматических целях, а ради возможности его прочтения англоязычным читателем (и вот почему Набоков утяжелил его увеличительным суффиксом – чтобы простое английское слово предстало в том же искаженном местным наречием виде, в каком в романе даются многие иностранные слова и гибридные формы), ради отсылки к похожей сцене в «Улиссе» и ради гротескно-шуточной семантической связи с двумя эпизодическими персонажами. Дело в том, что в рукописи романа имя начальника экспериментальной станции не Хаммеке, а «Dr. Gallon» (д-р Галлон), при этом в невычеркнутом пояснении в скобках сказано, что Галлонов в романе два, как два Круга (Адам и Мартин), – второй Галлон – владелец магазина в озерном городке, где Давид купил игрушечный автомобиль (гл. 6). Именно в гл. 6 и происходит приведенный нами эпизод с отъездом Круга от полицейского участка, напоминающий отъезд Блума от дублинского кабака, а следовательно, два галлона в словах солдата по первоначальному замыслу Набокова должны были связать обе сцены (покупка игрушечного автомобиля перед арестом Максимовых и остановка в горах перед посещением экспериментальной станции) не только между

собой, но и с соответствующим местом «Улисса», где возникает и «галлон», и «больной ребенок», и «жена». В рукописи (на с. 250) пояснение в скобках написано так (перевожу): «Галлонов было два, как было два Круга, другой Галлон владел магазином игрушек в озерном городке, мы встречали его прежде». Изменение фамилии д-ра Галлона на д-ра Хаммеке (ради связи с вульгарным интерпретатором «Гамлета» проф. Хаммом) на более поздних стадиях подготовки книги привело к отказу от этой композиционной связки и к исключению пояснительного фрагмента о двух Галлонах.

«Доброе утро», – пробормотал тот, отставляя ногу. Затем он поднял голову, поспешно засунул письмо в карман и позвал солдат. – В рукописи (с. 250) имеется невычеркнутое продолжение, Кристалсен не просто «позвал солдат», но грубо поторопил их по-русски: «Yedree vashu dushu [чорт вас подери], – сказал он, – нам давно пора ехать». Похожее общенное выражение встречается в письме Набокова к Э. Уилсону от 16 июня 1942 г., в котором он рассказал о романе из советской жизни, написанном просоветским американским прозаиком Э. П. Колдуэллом: «Героя зовут Владимиром. Все крайне незамысловато. Сидящий во мне бес едва не побудил меня передать ему набор непристойных фраз, которые он мог бы использовать для выражений вроде “доброе утро” и “спокойной ночи” (например: “Razyebi tvoyu dushu”, – внушительно сказал В.)» (Dear Bunny, Dear Volodya. The Nabokov – Wilson Letters, 1940–1971. P. 72. Пер. мой). Речь идет о романе «All Night Long» («Всю ночь напролет», 1942), описывающем партизанское движение на оккупированных немцами советских территориях. К роману Колдуэлл приложил короткий список русских слов («da – yes», «khorosho – good» и т. д.), который, очевидно, и был предъявлен Набокову для проверки (Caldwell E. All Night Long. A Novel of Guerra Warfare in Russia. N. Y.: The Book League of America, 1942). Примечательно, что в этом списке есть и «kapusta», что, вполне возможно, побудило Набокова придумать с этим словом любимую поговорку д-ра Александра (см. коммент. к с. 74).

Заведовал ею д-р Хаммеке, приземистый, плотный, с густыми желтовато-белыми усами, с глазами навывкате и короткими толстыми ногами. – В «Даре» это же имя (Hammeske), но несколько иначе написанное, носит Хамекке, в прошлом фельдфебель, заведующий берлинской адвокатской конторой «Траум, Баум и Кэзебир» – «толстое, грубое животное, с вонючими ногами и вечно сочившимся фурункулом на затылке» (Набоков В. Дар. С. 254). В рукописи, как было сказано выше, этот персонаж назван д-р Галлон; замена была продиктована желанием Набокова связать его с тенденциозным шекспироведом проф. Хаммом (Hamm), автором труда «Истинный сюжет “Гамлета”» (гл. 7). О набоковской игре в романе с Hamm, Hamburger, ham/bacon, Hamlet и ham actor (плохой актер) см. коммент. к с. 170.

Фрунеризм. – В письме к Э. Уилсону от 9 февраля 1947 г. Набоков пояснил, что это слово – «сочетание фрейдового lapsus linguae [речевой ошибки, оговорки] и “спунеризма”» (Dear Bunny, Dear Volodya. The Nabokov – Wilson Letters, 1940–1971. P. 212). Под фрейдистским термином он, очевидно, подразумевал англ. frustration (фрустрацию), одно из ключевых понятий психоанализа.

С. 321. Молодой китаец принес отороченное мехом пальтишко Давида... – Китайское происхождение этого ассистента, немецкий персонал «экспериментальной станции» (на самом деле пыточного лагеря нацистского типа) и русскоязычные солдаты-эквилисты, прибывшие туда вместе с Кругом, у Набокова указывают на три диктаторских режима того времени – гитлеровскую Германию, сталинскую Россию и Китай под властью Чан Кайши.

С. 322. В интересах ануки. <...> А ну-ка потише... – Отмеченные в Предисловии Набокова спунеризмы; в оригинале: «In the interest of silence» – «В интересах молчания» (вместо «In the interest of science» – «В интересах науки») и «Science, please!» – «Наука, пожалуйста!» (вместо «Silence, please!» – «Прошу тишины!»).

С. 323. ...моменты яровизации эго. – Абсурдное совмещение понятий биологии и психоанализа. Яровизация (западный термин – вернализация) – понятие Т. Д. Лысенко (1898–1976), советского агронома и биолога, основателя псевдонаучного направления в биологии – мичуринской агробиологии, рассмотренное им в статье «Теоретические основы яровизации» (1935). Здесь использовано в значении: процесс перехода проросших семян озимых культур под влиянием холода в состояние развития. Эго же в психоанализе – это собственное «я», направленность на собственное «я»; «яровизация эго» в контексте сцены и по аналогии с реакцией растений на охлаждение при яровизации, приводящей к цветению и образованию семян, по всей видимости, означает плодотворный выход за пределы собственного «я» и образование групп, к чему стремятся сотрудники станции, поборники коллективизма и уравнилительной психологии.

...старинный боевой топор. – По сновидческой логике повествования «научный» фильм совмещается с изложенным в шекспировской главе замыслом экранизации «Гамлета», включающим сцену, в которой «могучий старый король Гамлет разит боевым топором поляков».

С. 325. «Yablochko, kuda-zh ty tak kotishsa? [Яблочко, куда ж ты так котишься?]>... – Народные куплеты «Яблочка» в годы Гражданской войны пелись и красноармейцами, и белогвардейцами в различных вариантах, среди которых, например: «Эх, яблочко, / Куда котишься? / В ВЧКа [или ГубЧК] попадешь, – / Не воротишься» (строчка вновь возникнет в романе «Взгляни на арлекинов!»).

С. 327. ...американское название похожего вида пихты, растущей в Скалистых горах. <...> «Дуглас»... – Дугласова пихта (*Pseudotsuga menziesii*), названная в честь шотландского биолога и ботаника Дэвида Дугласа (что завершает главу намеком на сына Круга Давида).

С. 328. Самим зданием, каким оно было задумано, но еще не построено <...> белый небоскреб, врезающийся, словно собор альбиносов, в морфяно-голубые небеса. – Вероятный намек на известный утопический проект здания Дворца Советов, высотой в 415 метров и со 100-метровой

статуйей Ленина, постройка которого велась в Москве в 1931–1941 гг. на месте взорванного храма Христа Спасителя.

...вследствие пожаров Юстиция и Образование делили отель «Астория»... – Еще один знак авторского присутствия: гостиница «Астория» в Санкт-Петербурге, открытая в 1912 г., находилась рядом с домом Набоковых на Большой Морской улице. Набоков не раз упоминал ее в своих произведениях, охарактеризовав в романе «Взгляни на арлекинов!» как «безобразную громадину, построенную, кажется, перед Первой мировой войной» (Набоков В. Взгляни на арлекинов! / Пер., статья, коммент. А. Бабикова. М.: АСТ: Corpus, 2023. С. 305). Замечание о том, что министерства разместились в гостинице, отражает революционную практику в России: с сентября 1918 г. национализированная «Астория» была превращена в «1-й дом Петроградского Совета», в котором останавливался Ленин, проводились собрания Петроградского комитета РКП(б) (Петроград на переломе эпох. Город и его жители в годы революции и Гражданской войны / Ред. В. А. Шишкин. СПб., 2000. С. 274). Об этой же гостинице, очевидно, идет речь в упомянутой в гл. 15 романа обратной метаморфозе – превращении учреждения в гостиницу: «<...> отправился в Министерство юстиции и потребовал аудиенции в связи с арестом его друзей, но постепенно выяснилось, что учреждение превращено в гостиницу и что человек, принятый им за высокопоставленного чиновника, был всего лишь метрдотелем». Еще раньше, в гл. 2, остановивший Круга на мосту солдат напоминает ему «Пьетро, метрдотеля в Университетском Клубе».

...морфяно-голубые... – Т. е. цвета бабочки рода Морфо.

С. 329. В нем упокоится ваш маленький Арвид, держа в руках любимую игрушку – коробочку оловянных солдатиков... – Любимой игрушкой Давида, как мы помним, был опаловый стеклянный шарик, к которому даже Круг «не смел прикоснуться».

С. 329–330. ...Кругу показали этих людей в их камерах смертников. <...> Мариетта сидела с закрытыми глазами в обморочном оцепенении... – Это место претерпело несколько стадий изменений в рукописи и сперва было изложено (на с. 264) так: «Жестоко избитый д-р Александер лежал на соломе, часто и тяжело дыша. Мак и Мариетта были арестованы в самый неловкий момент, и любовный замок заклинило. Поскольку их нельзя было разделить без хирургического вмешательства, их поспешно завернули в простыню, и так они и лежали, образовав единый сверток, с одними торчащими из него головами. Мак, с искаженным болью ртом, лежал с закрытыми глазами. Мариетта была без сознания в четвертый или пятый раз». Похожий скабрёзный случай Набоков включил в «Аду», приписав его древнегреческому поэту Героду: «Но один мой здешний приятель показал мне фрагмент из новонайденной рукописи <...> о двух детях, брате и сестре, которые делали это так часто, что в конце концов померли спаренными, и сколько их ни пытались разделить, ничего не выходило <...>» (Набоков В. Ада, или Отрада. С. 383). Вычеркнув это описание приговоренных к смерти участников ареста Круга, Набоков на отдельном листе (без номера) составил иное (невычеркнутое) описание, которое, однако, тоже не вошло в окончательную редакцию романа: «Мисс Баховен <Линда, средняя сестра, невеста д-ра Александера> была так основательно накачана

наркотиками, чтобы придать ей презентабельный вид, что выглядела не в фокусе, с несколькими дополнительными руками и ногами, выходящими из расплывчатой розовости ее нижнего белья. Чем меньше будет сказано о д-ре Александре, тем лучше. У Мака отсутствовали передние зубы. Мариетта с закрытыми глазами в обморочном оцепенении сидела на стуле с прямой спинкой, из-под ее сиденья сочилась кровь».

С. 332. «Идите вы – (три неразборчивых слова)»... – Здесь может подразумеваться русское выражение «к чортовой матери».

С. 333. ...сырой макадам в ночи. – Макадам – щебеночное покрытие дороги.

С. 334. «Тучи темны и становятся гуще и гуще. Скачет Ловец на страшном коне. Хо-йо-то-хо! Хо-йо-то-хо!» – Воспроизведен воинственный клич валькирий в опере Р. Вагнера «Валькирия» (1870) из цикла «Кольцо Нибелунга». В скандинавской мифологии девы-воительницы валькирии скачут на крылатых конях над полем битвы, выбирая, кому из павших попасть в небесный чертог Вальгаллу. Любимица верховного бога Вотана (Одина, хозяина Вальгаллы) Брунгильда в начале второго акта оперы поет: «Ho-yo-to-ho! Ho-yo-to-ho! / Heiaha! heiaha!» (Wagner R. The Valkyrie. Die Walküre / Ed. N. John. Paris et al., 1993. P. 68). Тучи и всадник на страшном коне – описание иллюстрации 1910 г. Артура Рэкхема (1867–1939) к этой сцене оперы «Полет Валькирий»: валькирии на устрашающих конях с оскаленными мордами появляются из густых туч.

С. 337. ...я почувствовал укол жалости к Адаму и скользнул к нему по наклонному лучу бледного света... – В оригинале «pale light» (бледный свет), что предвосхищает «Бледный огонь» («Pale Fire») Набокова, в котором тоже важна тема безумия героя (Кинбота / Боткина) и авторского присутствия. «Наклонный луч» повторяет геральдическую символику романа и его названия.

«The child is bold». – В Предисловии Набоков отметил, что это «обычная фраза, используемая для проверки способности претендента на американское гражданство читать», однако не сообщил, что столкнулся с ней, проходя экзамен на американское гражданство в 1945 г.: «12 июля Набоковы сдали экзамен на американское гражданство, их поручителями были Эми Келли и Михаил Карпович. Карпович предупреждал Набокова: “Послушай, я хочу тебя кое о чем попросить – не шути, пожалуйста, не шути с ними – это достаточно серьезно <...>”. Набоков согласился, но экзаменатор попросил его прочитать фразу “The child is bold” – “Ребенок смел”. Глупая фраза, подумал Набоков <...> и, представив себе безволосого младенца, прочитал “The child is bald” (“Ребенок лыс”). “Нет, тут не bald, а bold”. – “Да, но, согласитесь, у младенцев волос обычно негусто”. Экзаменатор – “очевидно, итальянского происхождения, судя по едва заметному акценту” – сразу же понял, что Набоков свободно владеет английским языком, и спросил его что-то по американской истории» (Бойд Б. Владимир Набоков. Американские годы. Биография. СПб., 2010. С. 106).

С. 342. Аст-Лагода. – Название реальной лыжной гостиницы «Альта-Лодж» («Alta Lodge»), где в 1943 г. останавливался Набоков (см.

коммент. к с. 178), совмещено с вымышленными горами Лагодан (упомянуты в гл. 16 и гл. 17), название которых образовано от старинного русского топонима и гидронима Ладога.

«Khoroshen'koe polozhen'itze» [красивое дело] – см. заметку «Русский текст в романе» в наст. изд.

С. 344. трубка Данхилл. – Курительные трубки фирмы «Danhill» производились в Англии с 1910 г., имели особую форму и конструкцию (с внутренним алюминиевым стержнем), позволявшую курить в автомобиле с откидным верхом во время движения. Отличительным знаком трубок Данхилл была белая точка на черном мундштуке. Гедрон описывается в гл. 4 как «костлявый человек с так называемыми британскими усами и трубкой в руке».

С. 345. Это был котиковый бонет маменькиного сынка. – Бонет (или боне, от фр. bonnet – шапка, шапочка) – как мужская (в том числе военная), так и женская шапка, колпак, берет или чепец. В англоязычной литературе «sealskin bonnet» (котиковый бонет) преимущественно детский головной убор. См. также коммент. к с. 166.

С. 347. ...за сетку, на ее ночной стороне, цеплялась мохнатыми лапками крупная ночница. Ее мрамористые крылья все еще подрагивали, глазки горели, как два миниатюрных уголька. Я только успел различить ее коричневато-розовое обтекаемое тельце и пару цветных пятнышек... – Бабочка уже была описана в гл. 9: «<...> ухватившись всеми своими шестью пушистыми лапками за подушечку твоего большого пальца, со слегка приподнятым кончиком мышино-серого тельца, короткими, красными, с голубыми глазками задними крылышками, странно выступающими из-под покатых передних – длинных, в мрамористых прожилках <...>». Затем, как заметил Д. Циммер, она возникает в гл. 15 в антикварной лавке Квиста: «Дивный эстамп из какой-то книги про насекомых, относящейся к началу XIX века, изображал глазчатого бражника [ocellated hawk moth] и его шагреневую гусеницу, льнущую к ветке и выгибающую шею». Она мелькает и в следующей главе в эротическом контексте во время близости Круга с Мариеттой: «Это полупрозрачная амфора, которую я медленно опускаю, держа за ручки. Это розовый мотылек, прильнувший –». В Предисловии Набоков отметил, что бабочка в конце романа – это «розовая душа Ольги, уже эмблематизированная в более ранней главе». Любопытно отметить, что глазчатый бражник (*Smerinthus ocellatus*, английское название eyed hawk-moth) широко распространен в Европе и особенно в Англии (действие романа происходит хотя и в вымышленной, но определенно европейской стране), но в США не встречается, что ставит под сомнение реалистичность финала, в котором Автор якобы находится в своей кембриджской квартире в штате Массачусетс.

С. 348. Покойная ночь для беспокойной ловитвы. – Заключительный каламбур романа «A good night for mothing» построен из соединения английского пожелания спокойной ночи, фразеологизма «good for nothing» (никчемный, ни на что не годный, бесполезный) с редким словом «mothing», представляющим собой старый энтомологический термин, означающий охоту или наблюдение за бабочками (moth-watching).

Русский текст в романе

Помимо написанных латиницей русских письменных или разговорных форм (например: «shto evo» вместо «что его»), сохраняющих, как позднее в «Аде», элементы дореволюционного правописания («za-noch», «kuda-zh»), в романе используются русские лексемы в гибридных словах и выражениях (например: «kwazinka» – «скважинка»; «sesamka» (сезамка); «vot est' oprosen» – «вот есть вопрос») и неологизмы («Mirokonzepcia»). После русских слов и выражений Набоков, как правило, приводит их английский перевод в квадратных скобках, однако экспрессия и колорит разговорных и просторечных выражений не передаются, например: «mila» («милай») переведено как «friend»; «kotishsa» («котишься») – как «rolling»; «liberalishki» («либералишки») оставлено без перевода. Выражение «Khoroshen'koe polozhen'itze» («Хорошенькое положение») намеренно переведено неверно как «a pretty business» (т. е. «красивое дело» – по другому значению слова «хорошенький» – красивый).

Наиболее длинные и не искаженные гибридными формами русскоязычные фрагменты содержатся в гл. 7 (от слов «Tam nad ruch'om» и до слов «a, sudar'?»») и в гл. 17 (от слов «Yablochko, kuda-zh ty tak kotishsa?» и до слов «i soobshchil im»).

Андрей Бабилов

Приложение

I

В. В. Набоков – Дональду Б. Элдеру [151]

Крейги-Сёркл, 8

Кембридж 38, Массачусетс

22 марта 1944 г.

Дорогой мистер Элдер,

наконец-то шлю вам краткое изложение оставшихся глав моего романа.

Содержание «Человека из Порлока»[152] нелегко передать в двух словах. Если я скажу, что сочинение романа требует усердного обращения к критическим и оригинальным исследованиям в таких далеко отстоящих областях, как шекспироведение (главным образом «Гамлет») и некоторые аспекты естествознания, то это лишь смутно обозначит границы данного вопроса. В этой книге я намерен обрисовать некоторые тонкие достижения современного сознания на тускло-красном фоне кошмарных притеснений и преследований. Филолог, поэт, ученый и ребенок – жертвы и свидетели того опасного уклона, который принял мировой уклад несмотря на то, что его украшают филологи, поэты, ученые и дети. Боюсь, я выражаюсь слишком прямолинейно, поскольку вообще трудно дать краткий обзор того, в чем ритм и атмосфера важнее физической схемы. И трудность усугубляется тем обстоятельством, что идея книги значительно шире, чем страдание, испытываемое свободными умами на худших поворотах ухабистого века; ее идея, по сути, является чем-то принципиально новым и посему требует трактовки, несовместимой с простым описанием общей темы. Хотя я и не верю в миссию «подающих надежду» книг, цель которых состоит в решении более или менее преходящих проблем человечества, я все же полагаю, что некое совершенно особое качество этой книги само по себе является своего рода оправданием и искуплением, по крайней мере, в случае мне подобных.

Как было показано в общих чертах в первых главах, герой книги, профессор Круг, – человек гениальных способностей, и тоталитарное правительство его страны изо всех сил стремится привлечь его на свою сторону. Я особенно доволен сценой, описывающей его разговор с Падуком, правителем государства, – Падуком, который был его одноклассником (описание их школьных лет дано в главе, следующей за уже представленной частью). Круг отказывается сотрудничать каким-либо образом, и следующим шагом правительства становится попытка выяснить, какими средствами его можно принудить к этому. В конце концов обнаруживается его слабое место, и это слабое место – его любовь к сыну. Мальчика у него забирают – и тот, кто раньше был отчужден и саркастичен в своих отношениях с властью, теперь соглашается подчинить свою философию и университетскую работу нуждам правительства. К несчастью (для правительства), ребенок по ошибке попадает в лагерь для дефективных детей (от которых государство стремится избавиться) и, будучи в это время больным, умирает[153]. Поскольку теперь Кругу терять нечего, он отказывается сотрудничать.

Сейчас мне трудно продолжать этот бесцветный пересказ. Как бы там ни было, проблема, стоящая теперь перед проф. Кругом, как полагает читатель, – это проблема ответственности, поскольку правительство предпринимает попытку сломить Круга, предлагая, в случае его подчинения, освободить всех его многочисленных коллег и друзей, которые были брошены в тюрьму (и позволить им оставаться на свободе все то время, пока он будет подчиняться). Однако Круга, который через несколько месяцев после смерти жены начал работать над книгой о смерти и воскрешении[154], тем временем посещает удивительное озарение (совпадающее с его заключением в тюрьму после смерти мальчика), озарение некоего великого понимания; это самая трудная

для объяснения часть, но, грубо говоря, он внезапно осознает присутствие Автора всего происходящего, Творца, создавшего его самого, его жизнь и все жизни вокруг него, – Автора, которым являюсь я, человек, пишущий книгу своей жизни. Этот своеобразный апофеоз (еще не применявшийся в литературе прием) являет собой, если хотите, своего рода символ божественной власти. Я, Автор, возвращаю Круга в свое лоно, и ужасы жизни, которые он пережил, оказываются художественным вымыслом Автора.

Конечно, в книге есть еще много всего, и эти сухие заметки совершенно недостаточны и недостойны ее. Когда в самой драматичной главе диктатор Падук собирает Круга и его друзей в старой классной комнате давно прошедших времен и друзья Круга умоляют его уступить и тем самым спасти их от расстрела, он пытается объяснить им, какое открытие он только что совершил – мое присутствие и полное исчезновение всех бед. И когда, наконец, Круга ведут через виноградники на холм, чтобы застрелить, и, в соответствии с местными представлениями, расстреливают, я, Автор, вмешиваюсь[155], – однако тот особый способ, которым я осуществляю это вмешательство, невозможно объяснить, не представив законченной рукописи книги, которая будет готова через несколько месяцев.

С искренним почтением,

В. Набоков

II

В. В. Набоков – М. А. Алданову[156]

8–XII–45

8, Craigie Circle

Cambridge, Mass.

Дорогой Марк Александрович,

благодарю вас за пересылку капланского[157] письма. Я принял его предложение. Знаете ли вы, как добыть гонорар из Европы? Кстати: с конца тридцатых годов и я не получал ни пфен<н>ига, ни сантима, ни пенни, ни цента от моих русских книг. Продавались они не Бог весть в каком количестве, но довольно постоянно; по капельке, но постоянно. За последнее время, как ни странно, эти капельки увеличились и участились. Между тем издательства и представительства, имевшие отношение к этим книгам, оказались подобны тихим зелено-розовым пузырям, едва успевающим отразить в малом виде окно, прежде чем лопнуть: они исчезли, – но книги мои продаются, кто-то что-то от них получает, – но кто, что, где? Где живут и работают мои (и, вероятно, ваши) агенты? Суммы всё пустяковые, но все-таки – с научной, с популярно-научной точки зрения – хотелось бы на них взглянуть одним ярким глазком. Хотелось бы отыскать застенчивых представителей моих

и взять меж своих их добрые руки. Каков ваш опыт в этом смысле?

Еще одна вещь меня интересует. Моя жена писала об этом Зензинову[158], но он не ответил. В Н.<овом> Р.<усском> Слове[159] было сообщение, что книги и т. д., забранные немцами в Париже, постепенно возвращаются своим владельцам. На квартире Ильи Исидоровича[160] я оставил сундук с книгами и манускриптами. Полагаю, что это было взято вместе с его библиотекой. Куда бы обратиться?

Мне совестно вас обременять этими вопросами. Живу в провинциальном уединении. С осени я в контакте с моими родными, живущими в Праге. Узнал от них, что брат мой Сергей был взят немцами и погиб в концентрационном лагере под Гамбургом. Говорят, живя в Берлине в 1943 году, он слишком откровенно выражался и был обвинен в англосаксонских симпатиях. Мне совершенно не приходило в голову, что он мог быть арестован (я полагал, что он спокойно живет в Париже или Австрии), но накануне получения известия о его гибели я в ужасном сне видел его лежащим на нарах и хватающим воздух в смертных содроганиях. Другой мой брат, Кирилл, служит переводчиком при американской армии оккупации в Германии.

Да, в Париже жутковато, судя по газеткам оттуда. Адамович[161], вижу, употребляет всё те же свои кавычки и неуместные восклицательные знаки («Не в этом же дело!»). Прегадок Одинец[162], и печальна сухая блевотина Бердяева[163]. Мучительно думать о гибели стольких людей, которых я знал, которых встречал на литературных собраниях (теперь поражающих – задним числом – какой-то небесной чистотой). Эмиграция в Париже похожа на приземистые и кривобокие остатки сливочной пасхи, которым в понедельник придается (без особого успеха) пирамидальная форма.

Занимаюсь тем же, чем занимался в прошлом году: энтомология, преподавание в Wellesley[164]. Медленно, но ровно подвигается мой английский роман[165]. Пишу его не то третий, не то четвертый год и перевалил недавно через срединный хребет. Бросил курить и чудовищно растолстел; особенно неожиданна молодая грудь. Не знаю, скоро ли посету N. Y[166].

Очень хотелось бы повидать вас, дорогой друг.

Крепко жму вашу руку, целую ручку Татьяне Марковне[167].

Ваш В. Набоков

III

А. И. Назаров

Отзыв о романе для радиостанции «Голос Америки» (1947)[168]

Сегодня я расскажу вам о романе Владимира Набокова «Под знаком

незаконнорожденных», который был недавно выпущен издательством «Хенри Холт» в Нью-Йорке и встречен очень благоприятно американской критикой. Но, прежде чем заняться рассмотрением этого романа, я остановлюсь на творческом пути, пройденном его автором.

Владимир Набоков, которого не следует смешивать с нашим комментатором по вопросам музыки, Николаем Набоковым[169], представляет собой чрезвычайно редкий, даже почти исключительный пример писателя–беллетриста, сменившего, так сказать, свою литературную национальность, то есть писавшего в течение многих лет на одном языке, а затем перешедшего на другой.

Набоков – русский по происхождению. Он начал свою литературную деятельность, более четверти века тому назад под литературным псевдонимом Сирин, именно как русский, то есть пишущий по–русски, беллетрист и поэт. В двадцатых и тридцатых годах, живя сначала в Германии, а затем, после прихода Гитлера к власти, во Франции, он достиг очень значительной известности. Его романы – особенно «Защита Лужина», «Камера обскура» и «Отчаянье» – не только читались русскими, жившими за пределами Советского Союза, но также были переведены на многие европейские языки и получили высокую оценку в общеевропейской критике.

Но в 1940 году нацистское нашествие на Францию заставило Сирина–Набокова, убежденного антифашиста, переселиться в Соединенные Штаты. Здесь и начался новый период его творчества: из писателя русского он обратился в писателя американского, пишущего по–английски.

Его первый роман, написанный по–английски, «Правда о жизни Себастьяна Найта», вышел уже в 1941 году. Затем Набоков выпустил критико–биографическую книгу о Гоголе и том переводов на английский язык – и при этом переводов очень выдающихся – лирических стихотворений Пушкина, Тютчева и Фета. Короткие рассказы и стихи Набокова появляются в различных передовых и важнейших, как «Нью–Йоркер», «Атлантик Монтли» и «Нью Републик», американских журналах. Теперь же, как я уже сказал, вышел его новый роман.

Дарование Владимира Набокова полностью определилось, еще пока он оставался русским писателем.

В большинстве своих романов Набоков не задается целью ни ставить, ни решать социальные, экономические или политические проблемы. Характер и «реакция на жизнь» индивидуального человека обычно интересуют его, как писателя, гораздо больше всех таких проблем. Более того, как это не раз отмечалось критикой, мир, который мы находим в романах Набокова, существенно отличается от того плотного и плотского, раз навсегда данного «мира постоянных величин», который обычно рисуют писатели–реалисты. Реальность, изображаемая Набоковым, и текучее, и сложнее, и разнообразнее; меняясь, в зависимости от того, чьи глаза, то есть глаза кого из его действующих лиц, на нее смотрят, эта реальность является больше отражением человеческого духа, чем чем–то определенным, существующим самим по себе.

Например, в романе «Защита Лужина», главным действующим лицом

которого является гениальный шахматист, остающийся в то же время наивным полуребенком в житейском смысле слова, мир показан – и при этом с поразительной для читателя убедительностью – преломленным через сознание этого шахматиста, каким-то разряженным и полуабстрактным, просвечивающим, так сказать, через шахматную доску, через ходы коня и пешки.

Европейская критика также давно отметила высокую литературную технику Набокова вообще, но особенно его своеобразное и характерное мастерство стиля.

Его стиль отличается быстрой и легкой динамичностью, безукоризненной отшлифованностью и вместе с тем насыщенностью нюансами и оттенками. У читателя получается впечатление, что автор, как бы шутя, забавляясь, едва скользит по поверхности жизни, едва до нее дотрагивается своими легкими, бегущими фразами – и однако же из этого скольжения, из намеков и полунанамеков и из быстрых, случайно брошенных штрихов рождаются зрительно яркие образы и сложные человеческие характеры, картина их взаимоотношений и жизненная атмосфера, их окутывающая.

Американская критика видит большое достижение Набокова в том, <что> ему полностью удалось переложить или перевоплотить этот свой стиль, являющийся инструментом чрезвычайно сложным и утонченным, с русского языка на английский, и сделать этот так, что скользкая насыщенность и меткость его рассказа ничего при этом не утратила. Уже в 1941 году известный американский критик Эдмунд Уильсон сравнивал Набокова с такими другими иностранцами, достигшими стилистического мастерства в английском языке, как Джозеф Конрад, поляк по рождению, ставший знаменитым английским романистом, и как Джордж Санта-яна, испанец по происхождению, который является одним из наиболее выдающихся поэтов и писателей <и> в то же время философов нашего времени.

Остановимся теперь на новом романе Набокова: «Под знаком незаконнорожденных».

Вопреки своему обыкновению, Набоков избрал для этого романа общественно значимую и весьма современную тему. Это жизнь культурного и умственно выдающегося человека в условиях тоталитарного государства.

Действие этого романа разворачивается в фантастической, несуществующей европейской стран<е>, где только что произошел государственный переворот, приведший к власти тоталитарную партию «эквилистов». В этой стране читатель находит характерные черты и нацистской Германии, и фалангистской Испании[170], и любой другой страны, где восторжествовавшая и осуществляющая диктатуру партия одна претендует на полное знание всей истины и доказывает идейную несостоятельность других, неудобных ей, истин посредством пули и концентрационного лагеря; где рабское прославление «вождя» в газетных статьях, на общественных собраниях и в ревуших голосах тысяч громкоговорителей обрело все черты идолопоклонства; где, одним словом, воцарилось то модернизированное и механизированное средневековое варварство, прикрываемое славословием «прогресса»,

которое нашему веку было суждено увидеть.

Главным действующим лицом романа Набокова является Адам Круг, профессор университета, всемирно знаменитый философ. Он – толст, неуклюж и рассеян; он подавлен только что постигшей его личной драмой – смертью жены. Он – уж во всяком случае не революционер, не человек, который мог бы принять участие в каком-либо активном сопротивлении победившим «эквилистам». Но он просто остается верным своим собственным моральным и умственным убеждениям и смотрит со спокойным, несколько удивленным презрением на ту убого-аляповатую «идеологию», которую эквилисты вдальблывают в головы своих подданных.

Попытки эквилистов и их вождя привлечь Адама Круга на свою сторону (влияние, которым он пользуется за границей, было бы им очень полезно); постепенное исчезновение, то есть аресты, его друзей, всех, кто ему был близок, когда выясняется, что ни подкуп, ни угрозы эквилистов на него не подействуют; жуткая пустота, вокруг него постепенно образующаяся; и, наконец, ночь, когда за ним приезжает грузовик с вооруженными людьми, когда его маленького сына, проснувшегося и со слезами бросившегося к отцу, вооруженные люди, не то по неосторожности, не то из озорства, убивают, его же самого увозят – такова в коротких словах драматическая ось повествования Набокова.

Как я уже сказал, отзывы американской печати о романе Набокова очень благоприятны. По словам еженедельного журнала «Тайм Магазин», этот роман является «одним из самых сильных и художественных изображений кошмара тоталитарной диктатуры в современной беллетристике». Критик другого еженедельного журнала «Нью-Йоркер», Хамилтон Бассо, находит, что Набоков разворачивает свою мрачную картину «с большой силой и убедительностью» и что в романе прекрасно передана атмосфера жуткого сна, каким-то злым чудом обратившегося в реальность[171].

Многие рецензенты, включая Хал Борланда, пишущего в газете «Нью-Йорк Таймс»[172], подчеркивают еще один элемент романа Набокова. По их словам, писателю удалось не только ярко нарисовать одну человеческую судьбу, один случай, но также дать художественное обобщение. Не один только профессор философии Адам Круг не смог ужиться с тоталитарным государством: под гнетом этого государства не может жить никакая крупная человеческая индивидуальность, никакая свободная мысль, никакая подлинная культура.

IV

Первая глава романа по тексту рукописи

В черновой рукописи романа первая глава (или, скорее, пролог, – деление на главы в рукописи появляется только начиная с третьей

главы), посвященная описанию вида из окна, намного пространнее и детальнее, чем в опубликованной редакции. Повествование в ней не обезличено («я»-рассказчик упоминает, к примеру, Санкт-Петербург своего детства, имя своего репетитора – Филипп Осипович, русское название для англ. sidewalk – «obochina» и т. п.) и, в отличие от опубликованной версии, ведется не в лаконичной манере, а длинными периодами с прихотливым ассоциативно-образным рядом. Существенно сократив текст первой главы на более поздних этапах работы, Набоков разделил его на фрагменты с междустрочными пробелами, которых в рукописи нет. Насколько нам известно, рукопись романа до сих пор не изучалась и не расшифровывалась, исключенные части не публиковались. Поскольку вычеркнутые отрывки важны для прояснения замысла романа (их содержание полнее корреспондируется с фигурой русского автора-энтомолога и с его реальностью в финале книги), приведем эту часть книги полностью в нашем переводе.

* * *

Продолговатая, сизого цвета лужа вправлена в грубый асфальт; диковинный след, до краев наполненный ртутью; выемка, через которую проглядывает нижнее небо. Она окружена черными щупальцами рассеянной влаги, в которой застряло несколько тусклых серовато-бурых мертвых листьев. Утонувших, мне стоит сказать, до того, как лужа уменьшилась до своих нынешних размеров. Она лежит в тени, но содержит образец яркости, находящейся за ее пределами. Присмотрись. Да, она отражает часть бледно-голубого неба – мягкий младенческий оттенок голубого, – вкус молока у меня во рту, потому что у меня в детстве была кружка такого цвета. Кроме этого в ней отражается сплетенье голых веток и коричневая фистула более толстой ветви, обрезанной краем лужи, и еще поперечная полоса ярко-кремового цвета. Полоса относится к залитому солнцем кремовому дому по ту сторону. Когда у ноябрьского ветра случается его повторяющийся ледяной спазм, зачаточный водоворот ряби заглушает яркость лужи; два листка, два трискелиона, похожие на двух дрожащих трехногих купальщиков, бросающихся в воду, стремительностью своего порыва переносятся прямо на середину лужи, где с внезапным замедлением они начинают плыть совершенно ровно и безрадостно. Двадцать минут пятого. Вид из окна госпиталя.

Окружение лужи – высокие тополи; они целиком озарены холодным ярким солнцем с их ярко-серой, богато изрезанной бороздами корой (те два, что растут прямо из асфальта, залатаны цементными квадратами) – похожий на метлу бесконечно замысловатый изгиб голых, почти золотых веток – оттенок старых икон – там, на значительной высоте от земли, где им достается больше фальшиво-сочного солнца. Поражает их неподвижность, контрастирующая с судорожной рябью вставного отражения, – потому что видимая эмоция дерева – это масса его листьев, а их сбереглось едва ли больше тридцати семи или около того – тут и там на одной стороне дерева. Они лишь слегка мерцают, неопределенного цвета, но отполированы солнцем до того же тона, что и замысловатые мириады веток. Обморочная синева неба пересечена бледными неподвижными клочьями наслоенных друг на друга облаков – не назвать даже облаками – просто рассеянная борозда, никоим образом не мешающая четырехчасовому зареву. Полоса, похожая на тени двух ближайших деревьев между оградой и лужей, пересекает ярко-серый

асфальт по направлению к низкому тройному гаражу с тремя его белыми воротами, занимая всю его лицевую сторону (обрамленную темно-красным кирпичом, обведенным мелово-розовым цветом), которая образует поверхность ее наклонной части, где она уходит в тень параллельно тополиным теням. Эти теневые полосы разрываются и поднимаются по кремовым воротам с лиловым оттенком – в отличие от грубой черноты их первого плоскостного отрезка и в тот момент, когда солнце получает возможность озарить очень белую вывеску между одной из теней и краем совершенной тьмы рядом с ней; не поднимай лай перед этими гаражами – не имея в виду, я думаю, колли, с ее шерстяным жабо и заостренной мордой, которая проходит мимо, останавливается с поднятой передней лапой, оглядывается и молча продолжает идти дальше.

Аспидный фасад дома, в сияющем холоде возвышающийся на солнце за низкой изгородью в обрамлении двух своих кремовых боковых пилястров, и широкий, пустой, бездумный карниз, такой же белый, как глазурь на залежавшемся в лавке торте. Неудавшийся триптих каждого из тринадцати окон этого дома состоит из зеленых ставней, распахнутых как бесполезные крылышки, и двадцати квадратов оконных рам, обрамленных тонкой белизной: черное стекло – черное стекло окон дневного света, – с двумя другими, муслиново-белыми крылышками, окружают их и отделяют, как фалды пожилого джентльмена девятнадцатого века, когда он собирается сесть – и все это (за исключением, возможно, все усиливающегося сверкания солнечного света здесь и там на решетке) так же покорно и тонко и каким-то образом принадлежит чужому измерению (несмотря на их верный размер относительно тополей – сумеречно горящих сейчас – день долго не продлится), как кукольный домик. Два вьющихся стебля какого-то ползучего растения, один короче, другой длиннее, оба тянущиеся вправо и формой чем-то напоминающие Матта и Джеффа[173], попутно делают все, что могут, чтобы украсить центральный балкон, балансирующий на двух кремовых колоннах крыльца, где целый кусок действительно совершенно золотого (сейчас) света окаймляет зеленую дверь позади. Я подразумеваю решетчатое французское окно с <оставлено место для архитектурного термина> и другим декоративным набором малюток-пилястров (их не видно, потому что мешают два тополя, растущие перед зданием), и балюстраду, которая выглядит как что-то в конце дорожки для боулинга – но только из штукатурного гипса. О, в рассеченной на квадраты тьме одного из окон задвигалась фигура – нейтрального цвета домохозяйка – открой пошире, как говаривал мой дантист в Санкт-Петербурге, мистер Уоллисон, всюю занимаясь мятным полосканием в рубиново-красном – отворяет окно, вытряхивает тряпку или что-то еще, и теперь можешь прикрыть. Все здание – аспидно-черное, зеленое и кремовое (и еще темно-красные дымоходы-близнецы с чем-то между ними, что кажется отдельным, не имеющим окон краснокирпичным и совсем маленьким домиком, растущим из плоской крыши его тринадцатиглазой матери).

Но другой дом – справа, за выступающим гаражом – сейчас совсем золотой. Ветвистые тополи отбрасывают на него алембики восходящих теневых полос промеж собственных раскидистых и изогнутых, до черноты отполированных ветвей. Но все это блекнет, блекнет, она любила, устроившись в поле, рисовать закат, который никогда не остановится, – и крестьянский ребенок, очень маленький, тихий и робкий при всей

своей мышиною настойчивости, стоял подле ее локтя и смотрел на мольберт, на краски, на ее мокрую акварельную кисть, занесенную над рисунком, как жало змеи, – но солнце уже исчезло, как Чеширский кот[174], оставив лишь беспорядочную грудку багрянистых остатков дня, наваленных как попало, – руины, хлам – и цвет чешуйчатой крыши, низко спускающейся на фасад с тремя окнами (два на отступающей стене, параллельно кирпичной стене низкого гаража) – и затем вдоль крапчатой поверхности того другого дома, имеющего более привлекательную лестницу, – а мансардное окно, от которого она спускается, стало таким же ярким, какой была лужа – лужа, которая теперь просто тусклая жидкая белизна и мертвая чернота, как бесцветная фотография той же вещи, нарисованную копию которой я видел.

Я, верно, никогда не забуду тусклую зелень узкой лужайки перед первым домом, к которому тот дом, что был золотым, обращен боком – одновременно растрепанной и лысоватой лужайки с асфальтовым пробором посередине и сплошь усыпанной бледно-бурыми листьями – с короткой коричневой дымкой каких-то кустов в одном углу (возле гаража, но за оградой, которая прибрала целую кучу мертвых листьев к своим сороконожковым ножкам – тавтологический шут ограды). В просветах между двумя домами и в просвете между вторым домом (сейчас мертвым, с одним лишь последним отсветом в окне, к которому все еще ведет лестница дня) и с правым краем моего собственного окна – ты можешь видеть – зоркий ты – близкий друг автора – это тоже многоочитое слово[175] – ты можешь видеть довольно далеко направо от моего узкого проулка до самых двух отрезков проспекта Согласия[176]. Однако *le ciel me demande*[177] – потому что оно сейчас как потолок Ватто[178] или его имитация – клочья облаков делаются мягкими, телесно-розовыми, а мириады веточек становятся необыкновенно отчетливыми, – и вот внизу больше не осталось красок: дома, лужайка, изгородь, просветы – все приобрело какой-то рыжевато-серый тон, – о, стекло лужи стало ярко-лиловым!

В просвете между двух домов – бледно-коричневое открытое пространство, игровая площадка школы на проспекте, названная теми, кто хорошо осведомлен, Дальним Полем. В просвете справа – лужайка, скорее рыжевато-каштановая, чем зеленая – в комнате становится темно, мое перо движется, как медленный велосипедист в сумерках – если я зажгу свет, то стану тем дурнем из сказки, который пнул льва, умирающего льва, льва этого ноябрьского дня – он не умел кататься на велосипеде, но привез его с собой, потому что его жена сняла *dachu* в пяти милях от усадьбы, где он давал мне частные уроки и трижды в неделю (они оба были очень молодыми, и он был толстым и неуклюжим, с эспаньолкой и бритой головой) укатывал в сумерках на *dachu*, совершая свой ужасно извилистый путь вдоль тропы, отделенной глубокой канавой (мы называли эти тропы, которые сопровождают деревенские дороги и шоссе по всей России – гусеница и змея – мы называли их *obochina* – обочина), и в эту канаву Филипп Осипович беззвучно ухнул по меньшей мере раза четыре или пять за время своих медленных и нерешительных любовных экскурсий – и однажды ночью он вернулся пешком с велосипедом на руках, и никто не знал, что случилось с колесами, виляющими колесами.

В здании, где я нахожусь, зажгли свет, и вид в окне померк – снаружи все стало чернильно-черным, а небо приобрело бледно-синий чернильный цвет – «отливают синим, пишут черным», как сказано на том пузырьке чернил, – но нет, вид из окна так не пишет, и деревья с их триллионом ветвей чертили тушью лучше, и все прочее черно – с двумя асимметричными окнами, которые по щелчку внезапно вспыхнули электрическим светом. Я все еще могу видеть трамвай и автобус – самца и самку, принадлежащих одному виду – по природе оранжевого окраса – сейчас голубых в сумеречном свете, с красной раной заднего рубина – я все еще могу видеть их, пересекающих две мои тускло-черные аллеи – и автомобили с лучистыми фарами, – но я хотел разглядеть кого-нибудь из тех маленьких людей, которые проходят там, когда день ярк – и сейчас я не могу их видеть.

Одно, во всяком случае, ясно – что нам известно значение этого, а космосу-отцу нет. Как-то утром я повстречал на альпийском лугу Б. [179], и он спросил, чем я там занимался с сеткой в руках. Очень доброжелательный и, конечно, отвечающий за общее устройство, но слабо знакомый с нашими приспособлениями и маленькими удовольствиями.

«Вот как, понимаю. Это, должно быть, весело. И что же вы с ними потом делаете?»

Примечания

1

«Послеполуденный отдых фавна» (фр.). (Здесь и далее – примеч. пер.)

2

Ребенок смел (англ.); произносится почти как «the child is bald» (ребенок лыс).

3

Шутники, проказники (фр.).

4

Сожалю (фр.).

5

Это просто, как здасьте (фр.).

6

При условии, что он не задаст мучительного вопроса (фр.).

7

Это мои коллеги, и старик, и вся тележка (фр.). Последнее слово – неологизм от фр. *trimbalage* – таскать за собой.

8

Добрый вечер, коллега. Они вытащили меня из постели, к большому неудовольствию моей жены. А как поживает ваша? (фр.)

9

«У бедных мертвецов, увы, свои печали, – / И в дни, когда октябрь уныло шелестит...» (из стихотворения Ш. Бодлера «Служанка скромная с великою душой...»).

10

Заброшенные участки (архитектурный термин) (фр.).

11

Шаровары (фр.).

12

Мы подотрем зад этому молодчику (игра слов: *torch*er le derrière – подтирать зад / смеяться над чем-нибудь) (фр.).

13

Глава (фр.).

14

В свое время (фр.).

15

Закуски, которые съедаются за раз, например, тарталетки (фр.).

16

«Все же им не откажешь в дерзости» (фр.).

17

Бедные дети (фр.).

18

Образ жизни (лат.).

19

В качестве детских воспоминаний (фр.).

20

Коробка в виде книги (псевдолатынь).

21

Наедине (лат.).

22

Хорошие манеры, обходительность (фр.).

23

Сами по себе (лат.).

24

Которые меня пугают, Блез (фр.).

25

Собачий ошейник (фр.). Обыгрывается фр. *collier* – кольцо, ожерелье.

26

В уродливой версии (фр.).

27

Ужасный ребенок (букв.), человек, не стесняющий себя ни светскими правилами, ни приличиями (фр.).

28

Бывший (фр.).

29

«Рыдание, которым я все еще был пьян» (фр.). Строка из эклоги С. Малларме «Послеполуденный отдых фавна» (1876).

30

Я буду хранить молчание (фр.).

31

Счастливого пути! (фр.)

32

Вчерашняя газета (фр.).

33

Чернила – снадобье (англ.).

34

Слово без прикрас (лат.).

35

Внутренний разлад, смута (нем.).

36

Словом, человек, о котором идет речь (фр.).

37

«Погребальное шествие» (фр.).

38

Основное блюдо (фр.).

39

Ятрышник мужской (лат.).

40

Русалка летейская (лат.).

41

«В зеленовато-розовом трепещущем наряде / Студеная заря...»

42

Слова, слова, слова (нем.).

43

Скулеж собачонки (фр.).

44

«Покаранное братоубийство» (нем.).

45

«Перережу ли я ему глотку или нет? Вот настоящий вопрос. / Не благороднее ли само по себе все-таки терпеть / И дротики, и огонь сокрушительной судьбы...» (фр.)

46

Бог знает что (нем.).

47

И так далее (нем.).

48

«Этот идиот пришел тебя арестовать».

49

«Но это же наверняка ошибка. С какой стати кому бы то ни было меня арестовывать?»

50

«Марш на выход, любезный» (нем.).

51

Остроты, шуточки (нем.).

52

«Вот так... вот я стою... Бедняга, которого тащат в тюрьму. <...> Я болен, я в беде. <...> Государственный переворот» (фр.).

53

Милый (нем.).

54

«Он пьян» (фр.).

55

«Он совершенно пьян» (фр.).

56

Старорежимный (фр.).

57

Лиловая комната (фр.).

58

«Мысли» (1670) Б. Паскаля.

59

Украдкой, крадучись; букв.: поступью волка (фр.).

60

...на закуску. А именно большая светлая комната (фр.).

61

Лесной царь (нем.).

62

Вполголоса (ит.).

63

Гипнагогические галлюцинации (фр.).

64

Человек–гражданин... [человек] разумный (лат.).

65

Маленькое скрытое чихание (фр.).

66

Светятся сквозь шелка очертания женского тела (лат.).

67

Колокольная бронза (нем., ит.).

68

Пушечная бронза (нем., ит.).

69

Лесенкой (фр.).

70

Летающие мушки (фр.). От *muscae volitantes* (лат.) – чешуйки стекловидного тела.

71

Мыслю (лат.).

72

Целуй меня тысячу раз (лат.).

73

До чего же безвольным я был (фр.).

74

«Библиотека Ашетт» (фр.).

75

«Эта маленькая Фрина, решившая, что она Офелия» (фр.).

76

Хорошо (ит.).

77

Агент-provokator (фр.).

78

Привет из Падукбада (нем.).

79

«Въезд на велосипедах запрещен» (англ.).

80

Душа (уменьш. от лат. anima).

81

Знамо дело, старина! (фр.)

82

Небытие (фр.).

83

Крест (лат.).

84

Девочка (лат.).

85

Краткий свет. Целуй меня тысячу раз (лат.).

86

Говорит (лат.).

87

Моя девочка, девочка моя (лат.).

88

Мастерство (фр.).

89

Благодать (фр.).

90

«Географический журнал» (англ.), «Неделя» (нем.), «Татлер» (англ.),
«Иллюстрация» (фр.).

91

Та же игра (фр.).

92

Смотри (лат.).

93

Уютный (нем.).

94

«У моей тетки есть виза. Дядя Саул хочет повидать дядю Сэмюеля. Ребенок смел» (англ.).

95

Экскременты (лат.).

96

Это трагедия уборных (фр.).

97

Это мучительно (фр.).

98

Набоков В. Переписка с Михаилом Карповичем 1933–1959 / Предисл., сост., примеч. А. Бабилова. М.: Литфакт, 2018 (Библиотека «Литературного наследства». Вып. 2). С. 47. Бабилов А. Прочтение Набокова. Изыскания и материалы. СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2019. С. 389–390.

99

Набоков В. Переписка с сестрой. Ann Arbor: Ardis, 1985. С. 18.

100

Там же. С. 39.

101

Dear Bunny, Dear Volodya. The Nabokov – Wilson Letters, 1940–1971 / Ed. by S. Karlinsky. Berkeley et al.: University of California Press, 2001. P. 95.

102

5 июня 1944 г. Набоков писал жене из Кембриджа (Массачусетс): «Душенька моя, я провел два дня, не выходя, пиша, питаюсь рокфором и апельсинами. Написал одиннадцать страниц романа. Если продлится инспирация, окончу его до вашего возвращения» (Набоков В. Письма к Вере / Предисл. Б. Бойда, коммент. Б. Бойда и О. Ворониной. М.: АСТ: Corpus, 2024 (Набоковский корпус). С. 409).

103

Dear Bunny, Dear Volodya. The Nabokov – Wilson Letters, 1940–1971. P. 136. Пер. мой.

104

Ibid. P. 210.

105

Само имя героя Набоков мог произвести от названия улицы, на которой жил в Кембридже (Массачусетс) во время сочинения романа: Крейги-Сёркл (букв. Круг Крейги).

106

«Рай», песнь 33, пер. М. Лозинского. Попутно отметим соединение лика Божьего с кругом («l'ímago al cerchio») и геометрическую метафору.

107

Schuman S. Nabokov's Shakespeare. New York et al.: Bloomsbury, 2014. P. 54.

108

Акт V, сц. 2. Пер. М. Лозинского. Курсив мой.

109

Набоков В. Приглашение на казнь / Заметка, примеч. А. Бабикова. М.: АСТ: Corpus, 2021 (Набоковский корпус). С. 219.

110

Набоков В. Волшебник. Solus Rex / Заметка, статья, примеч. А. Бабикова. М.: АСТ: Corpus, 2022 (Набоковский корпус). С. 116.

111

Набоков В. Дар / Заметка, примеч. А. Бабикова. М.: АСТ: Corpus, 2023 (Набоковский корпус). С. 406.

112

Набоков В. Дар. С. 417–418.

113

Схожая конструкция в более позднем «Пнине» (1957), герой которого так и не сходится с «я» романа, самим Владимиром Н. (американским профессором и известным писателем), несмотря на все усилия последнего. Этот В. В., излагающий множество подробностей о жизни незадачливого Тимофея Пнина и о встречах с ним в прошлом, при всем своем автобиографическом оснащении не тождествен реальному Набокову. Как заметил Г. Барабтарло, «Перволичный повествователь, то более, то менее назойливое присутствие которого дает о себе знать с самого начала книги, в известном смысле вытесняет собою своего героя в последней главе, резко смещая фокус повествования, – повествователь этот действительно близко подводится к точке совпадения со своим создателем, так соблазнительно близко, что нетрудно, обознавшись, принять одного за другого» (Барабтарло Г. Разрешенный диссонанс // Набоков В. Пнин / Пер. Г. Барабтарло при участии Веры Набоковой, статья, послесл., примеч. Г. Барабтарло. М.: АСТ.: Cor– pus, 2023 (Набоковский корпус). С. 257).

114

Декарт Р. Сочинения: В 2 т. / Сост., ред., прим. В. В. Соколова. М.: Мысль, 1994. Т. 2. С. 20. Пер. С. Я. Шейнман–Топштейн.

115

Nabokov V. Strong Opinions. N. Y.: Vintage, 1990. P. 11. Пер. мой. Задолго до этого, в письме к Э. Уилсону от 27 ноября 1946 г., Набоков, дописав «Незаконнорожденных», сделал еще более откровенное признание: «Чем дольше живу, тем глубже убеждаюсь в том, что единственное, что имеет значение в литературе, это (более или менее иррациональное) shamanstvo [шаманство] книги, то есть, что хороший писатель – прежде всего чародей» (Dear Bunny, Dear Volodya. The Nabokov – Wilson Letters, 1940–1971. P. 203. Пер. мой).

116

Хороший тому пример рассказ «Облако, озеро, башня» (1937), в котором Набоков, в отличие от «Незаконнорожденных», допускает свидание автора–божества со своим героем–представителем Василием Ивановичем, жестоко избитым группой немецких обывателей во время увеселительной поездки: «По возвращении в Берлин он побывал у меня. Очень изменился. Тихо сел, положив на колени руки. Рассказывал. Повторял без конца, что принужден отказаться от должности, умолял отпустить, говорил, что больше не может, что сил больше нет быть человеком. Я его отпустил, разумеется» (Набоков В. Полное собрание рассказов / Предисл. Д. Набокова, сост., пер., коммент. А. Бабикова, пер., примеч. Г. Барабтарло. М.: АСТ: Corpus, 2023 (Набоковский корпус). С. 480).

117

Шмеман А., прот. Дневники. 1973–1983 / Сост. У. С. Шмеман, Н. А. Струве, Е. Ю. Дорман. М.: Русский путь, 2009. С. 27–28.

118

Варшавский В. Незамеченное поколение / Сост. О. Коростелева и М. Васильевой. М.: Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына; Русский путь, 2010. С. 185–186.

119

Бойд Б. Владимир Набоков. Американские годы. Биография. СПб.: Симпозиум, 2010. С. 117.

120

Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней: В 4 т. / Пер. С. Мальцевой. СПб., 1997. Т. 4. С. 387.

121

Эткинд А. Толкование путешествий. Россия и Америка в травелогах и интертекстах. М.: НЛО, 2001. С. 384.

122

Хоружий С. «Улисс» в русском зеркале // Джойс Дж. Собр. соч.: В 3 т. М., 1994. Т. 3. С. 422.

123

Там же. С. 431.

124

Joyce J. Finnegans Wake. L.: Faber & Faber, 1939. P. 628; p. 3.

125

См. в наст. изд.: Приложение, II.

126

Russian Scientist-Writer Began Career Because of Family Envy // The Rotunda. 1942. Dec. 9. P. 3.

127

Поток сознания (англ.).

128

Т.е. Э. Уилсону.

129

Друзья, бабочки и монстры. Из переписки Владимира и Веры Набоковых с Романом Гринбергом (1943–1967) / Вступ. ст., публ. и коммент. Р. Янгирова // Диаспора [Вып.] I. Новые материалы / Отв. ред. В. Аллой. Париж, СПб.: Athenaeum – Феникс, 2001. С. 496–497.

130

Nabokov V. Strong Opinions. N. Y.: Vintage, 1990. P. 71. Пер. мой.

131

Лакиер А. Б. Русская геральдика. СПб., 1855. С. 35.

132

Parker J. A Glossary of Terms Used in Heraldry. A New Edition. Oxford & L., 1894. P. 55. Пер. мой.

133

Nisbet A. A System of Heraldry, Speculative and Practical. Vol. I. Edinburg, 1816. P. 26. Пер. мой.

134

O'Shea M. J. James Joyce and Heraldry. Albany: State University of New York, 1986. P. 179.

135

The Works of Laurence Sterne. Vol. I. The Life and Opinions of Tristram Shandy Gentleman. L.: Grant Richard, 1903. P. 284.

136

Стерн Л. Тристрам Шенди / Пер. И. М-ва. СПб.: Издание редакции журнала «Пантеон литературы», 1892. С. 280–281.

137

Джонсон Д. Б. Миры и антимирy Владимира Набокова / Пер. Т. Стрелковой. СПб.: Симпозиум, 2011. С. 262.

138

Подр. см.: Бабилов А. Возвращение «Супермена» Набокова // Набоков В. Поэмы 1918–1947. Жалобная песнь Супермена / Сост., статья, пер., коммент. А. Бабилова. М.: АСТ: Corpus, 2023 (Набоковский корпус). С. 183–209.

139

В этом смысле удачным решением стало название итальянского перевода романа: «Un mondo sinistro» («Зловещий / Левый мир»), подготовленного Франкой Пече.

140

Набоков В. Соглядатай. Повесть. Рассказы / Заметка, примеч. А. Бабилова. М.: АСТ: Corpus, 2021 (Набоковский корпус). С. 80.

141

Пер. К. Бальмонта.

142

Кольридж С. Т. Стихотворения / Сост., предисл. А. Горбунова. М.,

2004. С. 223–225.

143

Bowie R. "Bend Sinister" Annotations: Chapter Seven and Shakespeare // The Nabokovian. 1994 (Spring). № 32. P. 40–41.

144

Joyce J. Finnegans Wake. L.: Faber & Faber, 1939. P. 384.

145

Текст отзыва см. в наст. изд.: Приложение, III.

146

A New Variorum Edition of Shakespeare / Ed. by Horace Howard Furness. "Hamlet". Vol. I–II. Philadelphia & L., 1918.

147

Эту линию Дж. Б. Фостер метко назвал элементом «гипотетической автобиографии» в романе, заставляющим представить возможные страшные последствия пребывания Набокова во Франции с маленьким Митей и женой–еврейкой при гитлеровской оккупации (Foster J. B., Jr. "Bend Sinister" // The Garland Companion to Vladimir Nabokov / Ed. by V. E. Alexandrov. N. Y. & L.: Routledge, 1995. P. 30).

148

Parker S. J. Some Nabokov Holdings in the Library of Congress // The Vladimir Nabokov Newsletter. 1979. № 3. P. 16, 19. Слово «vortex» (вихрь, водоворот) возникает в начале и в конце романа. Д. Б. Джонсон установил, что «Game to Gun» это название десятого тома Британской энциклопедии – по первой и последней статье: «Game» и «Gunmetal» – «"игра" мысли поглощается насилием, на которое указывает "пушечная бронза"» (Джонсон Д. Б. Миры и антимирy Владимира Набокова. С. 272).

149

См.: Набоков В. Ада, или Отрада. Семейная хроника / Пер., коммент. А. Бабилова. 2-е изд., уточн. М.: Corpus, 2023 (Набоковский корпус). С. 343; коммент. на с. 737.

150

Подр. см.: Бабилов А. Сквозняк из рая // Набоков В. Сквозняк из прошлого / Пер., статья, коммент. А. Бабилова. М.: Corpus, 2023 (Набоковский корпус). С. 175.

151

Перевод выполнен по изданию: Nabokov V. Selected Letters 1940–1977 / Ed. by D. Nabokov and M. J. Bruccoli. San Diego et al., 1989. P. 48–50. Дональд Б. Элдер – редактор американского издательства «Doubleday».

152

Одно из ранних рабочих названий романа.

153

Как отсюда следует, замысел в отношении обстоятельств смерти Давида изменился на более поздних стадиях работы над книгой.

154

И в этой части замысел романа претерпел изменения, поскольку начатую Кругом перед арестом философскую книгу нельзя определить таким образом.

155

Здесь любопытно то, что Набоков, находясь на середине работы над романом, еще не намеревался сводить Круга с ума и предполагал вмешательство Автора лишь на самой последней стадии действия, во время расстрела героя (такая нереализованная развязка ближе сцене казни Цинцинната и самому финалу «Приглашения на казнь»). Судя по этому письму к издателю и по замечанию Э. Уилсона (в письме к

Набокову от 30 января 1947 г.), сожалевавшему о том, что Набоков отказался от мысли столкнуть Адама Круга с его создателем, замысел состоял в том, чтобы закончить книгу такой невозможной встречей. Круг получил бы ответы на все свои вопросы в отношении онтологического (и гносеологического) статуса реальности. Возможно, в этом случае тема внезапного безумия героя (в земных терминах) приобрела бы совсем иное значение.

156

Columbia University. The Rare Book and Manuscript Library / Bakhmeteff Archive of Russian and East European Culture / Mark Alexandrovich Aldanov Papers.

157

Михаил Семенович Каплан (1894–1979), издатель и редактор, владелец книготоргового предприятия «Дом книги» в Париже.

158

Владимир Михайлович Зензинов (1880–1953), парижский друг Набокова, публицист, этнограф и журналист.

159

«Новое русское слово» – старейшая русская эмигрантская газета, выходившая в Нью-Йорке.

160

И. И. Фондаминский (псевд. Бунаков, 1880–1942), парижский друг и покровитель Набокова, редактор журнала «Современные записки», публицист.

161

Георгий Викторович Адамович (1892–1972), ведущий эмигрантский критик, поэт, эссеист.

162

Дмитрий Михайлович Одинец (1883–1950), историк, общественный и политический деятель русского зарубежья, с 1945 г. ответственный редактор парижской газеты «Советский патриот», один из известных «возвращенцев».

163

Николай Александрович Бердяев (1874–1948), религиозный и политический философ, социолог. Был выслан из СССР в 1922 г.; в 1946 г. получил советское гражданство.

164

Женский колледж Уэллсли.

165

«Bend Sinister».

166

Нью-Йорк.

167

Т. М. Ландау (урожд. Зайцева, 1893–1968), жена М. А. Алданова.

168

Отзыв прозвучал в программе «Weekly Cultural Review» (еженедельный обзор культурной и художественной жизни Америки) 6 сентября 1947 г. Машинопись в вашингтонском архиве Набокова (The Library of Congress. Collection of the Manuscript Division / Vladimir Nabokov Papers. Box 1, reel 1). Публикуется впервые с исправлением опечаток, восстановлением в угловых скобках пропущенных букв и слов и приведением орфографии и пунктуации к современным нормам. Особенности транслитерации Назарова («Нью Републик», «Уильсон» и т. п.) оставлены без изменений.

169

Кузен Набокова, композитор и мемуарист Н. Д. Набоков (1903–1978).

170

Фалангизм — политическая идеология испанской консервативной националистической партии (Испанская фаланга), образованной в 1933 г.

171

Имеется в виду рецензия: Basso H. Hands Across the Sea // New Yorker. 1947. Vol. XXIII. June 14. P. 86–87. Занятно, что в романе, как заметила С.Э. Свини, пес Бассо шутиливо назван по имени этого критика, упомянутого Набоковым в письме к Уилсону в 1945 г.

172

Borland H. Strategy of Terror // New York Times Book Review. 1947. June 15. P. 10.

173

Герои популярного американского комикса (по всей видимости, первого в истории регулярно печатавшегося газетного комикса), созданного Б. Фишером в 1907 г. и выходившего в различных исполнениях до 1980-х гг. Неразлучная и несуразная пара, необыкновенно высокий Мэтт и коротышка Джефф (изначально завсегдатаи скачек и азартные игроки в тотализатор), настолько полюбились читателям, что комикс впервые был экранизирован уже в 1911 г. Комикс упоминается в сатирическом романе С. Льюиса «Бэббит» (1922), герой которого, по нашему мнению, повлиял на набоковского Этермона. См. коммент. к с. 128.

174

Это сравнение, отсылающее к «Алисе в Стране чудес» Л. Кэрролла, — еще один знак авторского присутствия: Набоков перевел эту сказку в Берлине в 1922 г. (под названием «Аня в Стране чудес»).

175

По-видимому, обыгрывается «oo» в англ. boon и многозначность использованного здесь выражения boon companion (закадычный друг, веселый собутыльник, приятный собеседник, хороший товарищ).

176

Concord avenue – реальный проспект в г. Кембридж (Массачусетс). Во время сочинения романа Набоков жил на улице Крейги-Сёркл, действительно очень близко расположенной от этого проспекта.

177

Небо призывает меня (фр.).

178

Жан-Антуан Ватто (1684–1721) – французский галантный живописец и рисовальщик, выдающийся колорист.

179

Перед этим вымарано трехбуквенное слово (легко догадаться, какое) и заменено на англ. G.